

ВРЕМЯ ШЛМБТ 95 1987



ДЕМОКРАТИЯ В РОССИИ?

ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Тринадцатый год издания.

Выходит один раз
в два месяца

**95
1987**

НЬЮ-ЙОРК — ИЕРУСАЛИМ — ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" — 1987

ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ВАГРИЧ БАХЧАНЯН	ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН
ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ	ИЛЬЯ СУСЛОВ
ДЖОН ГЛЭД	МОРИС ФРИДБЕРГ
АРОН КАЦЕНЕЛИНБОГЕН	ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
ЛЕВ НАВРОЗОВ	ЕФИМ ЭТКИНД
ГРИГОРИЙ ПОЛЯК	

Израильское отделение журнала "Время и мы"
Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu, 92800
PUTEAUX, FRANCE

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Генри МИЛЛЕР
Тропик рака (с предисловием Нормана Мейлера) 5

Давид ФРИДМАН
Мендель Маранц 50

ПОЭЗИЯ

Альберт ЛЕИН
Черные клавиши, белые клавиши 97

Александр ЛАЙКО
Преображение 103

Инна КЛЕМЕНТ
Сквозь памяти песочные часы 108

ПУБЛИЦИСТИКА. КРИТИКА. ИСТОРИЯ

Валерий ЧАЛИДЗЕ
Демократия в России? 114

Владимир СОЛОВЬЕВ
История одной скверности 122

Михаил ЛЕМХИН
Кто же они, кумиры? 136

Евгений МАНИН
Парадокс еврейского гетто 150

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

А.БЕЛИНКОВ
Страна рабов, страна господ 165

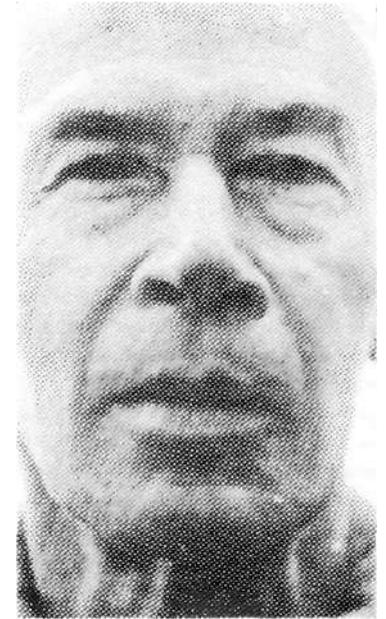
Наталья БЕЛИНКОВА-ЯБЛОКОВА
Любовь и ненависть Аркадия Белинкова 207

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Аркадий РУМАНОВ
Штрихи к портретам: Витте, Распутин и другие 212

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Александр ЩЕДРИНСКИЙ
Мастерство и вкус художницы 234



Генри МИЛЛЕР

ТРОПИК РАКА

СИМБИОЗ ЛИТЕРАТУРЫ И СЕКСА*

Из предисловия к русскому изданию романа

История оказалась на стороне Миллера. Двадцатый век уходил из мира индивидуалистических подвигов, спиртного и трагических ран в городскую помойку ушибов, головной боли, наркотиков, амнезии, нелепых сношений и рака. А Миллер шалил и развлекался внизу, в выгребных ямах жизни, где вызревал рак, и без конца говорил: "Смотрите, необязательно умирать от всей этой гадости. Ее можно вдыхать, есть, лизать, е...ть, а на следующий день вскакивать живым и здоровым. В нас есть что-то неоценимое, если мы можем вынести эту вонь".

Миллер произошел из такой среды, где за честность нечего было ждать наград. Его родители постоянно ссорились, и окружение, где он рос в Бруклине в начале века, было чуждо самой идее литературы.

Его отец — мужской портной, не менее джентльмен, чем те, на кого он шил, элегантный немецкий мастер, — с возрастом все более предавался предвечерним мечтаниям, которые одолевают после долгих часов питья с деловыми приятелями в затянувшийся допоздна обеден-

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции

© "Время и Мы"

ISSN 0737 7061

* Заголовок редакции

Russian Copyright 1987 0 by Silver Age Publishing

ный перерыв. После обеда ресторан, куда ходят выпить приличные люди, — это Валгалла для человека среднего достатка, не ладящего с женой.

Мать Миллера тоже была немка, настоящий юнкер по сравнению с отцом, который рядом с нею казался человеком венского духа. Волевая, угрюмая, нетерпимая немка, мать была безупречно бережлива и безнадежно враждебна любой идее, которую ей ни твердили день за днем последние сорок лет. Единственное, что у нее общего с мужем — это глубокий антисемитизм. Во всех произведениях Миллера нет ни одного намека на то, что от нее в семейном кругу исходили хоть какие-нибудь вибрации чувственности.

"Домашние мои были людьми совершенно нордического склада, иными словами — идиоты. Нет на свете такой ложной идеи, которой они бы не исповедовали. В том числе — идеи чистоплотности, не говоря уж о добродетели. Они были болезненно чистоплотны. Но зловоние было у них внутри. Они никогда не открывали дверей своей души, никогда не мечтали о том, чтобы вслепую прыгнуть в темноту. После обеда посуду немедленно мыли и составляли в буфет; прочтя газету, ее аккуратно сворачивали и клали на полку; постирав одежду, ее сразу утюжили, складывали и упрятывали в комод. Все оставляли на завтра, но это "завтра" так никогда и не наступало. Настоящее было всего лишь мостом, и так они до сих пор и стонут на этом мосту, как стонет весь мир, — и ни одному идиоту не придет в голову взорвать мост".

(“Тропик козерога”)

Когда Миллеру было уже тридцать пять лет, когда он был во второй раз женат и настолько нищ, что ему и второй жене пришлось разойтись, чтобы жить, не платя за квартиру, у своих родителей, Миллер, пытаясь писать, вынужден был выслушивать от своей матери такое: "Если кто-нибудь придет, соседи или знакомые, убери машинку и спрячься в стенном шкафу. Не надо, чтобы они знали, что ты здесь". Материнский стыд! "Иногда мне приходилось по часу и дольше стоять в стенном шкафу, задыхаясь от нафталина. ... Она так и не могла примириться с мыслью, что я — писатель".

У него была умственно отсталая сестра. В детстве соседние ребята прозвали ее "полоумная Лоретта". Восьмидесятилетний Миллер так вспоминает мать и сестру:

"... Моя сестра была такая отсталая, что не могла ходить в школу. Так вот, моя мать решила, что сама будет ее учить. Моя мать совершенно не годилась в учительницы. Ужас какой-то. Она ее ругала, шлепала, выходила из себя. Она спрашивала: "Сколько будет дважды два?", и моя сестра, понятия не имевшая, какой правильный ответ, говорила: "Пять... нет, семь... нет, три". Просто так, что на ум придет. Бац! Еще шлепок. А потом мать оборачивалась ко мне и говорила: "За что мне такой крест? Чем я заслужила такое наказание?" Это она меня, маленького мальчика спрашивала: "З а что мне Бог послал т а к о е н а к а з а н и е?" Сами видите, что она была за женщина. Дура? Гораздо хуже. ... Я никогда не видел от нее тепла. Она никогда ме-

ня не целовала, не обнимала. Я ни разу не помню, чтобы я подошел ее обнять. Я даже не знал, что матери так делают, пока один раз не побывал дома у приятеля. Нам было по двенадцать лет. Я пошел с ним домой из школы и услышал, как его встречала мать. Она ему: "Джеки, Джеки, ну как ты, мой родной, как у тебя дела?" и обнимает его и целует. Я в жизни не слышал таких слов, даже такого тона. Для меня все это было ново. Конечно, в нашем районе были одни тупые немцы с железной дисциплиной, настоящие звери".

(Моя жизнь и времена)

Какая при подобной жизни может быть первая любовь? Подростком Миллер был "безумно, страстно влюблен в девочку из школы". В девятнадцать лет он знакомится с "привлекательной вдовой", по возрасту годившейся ему в матери, и у него завязывается первый роман. Некоторое время он даже живет с этой вдовой и ее ребенком. Он поступает в Сити-Колледж, но через два месяца бросает занятия. Следующие семь лет он усердно, по-германски закаляет свой организм, и в это нетрудно поверить, когда начинаются его сексуальные подвиги: после целой ночи питья и трех-четырёх оргазмов с какой-нибудь женщиной он будет приходить домой, исполнять супружеские обязанности с женой и, урвав часок сна, утром идти на работу — он служит начальником курьеров в телеграфной компании "Вестерн Юнион". Дело в 1920 году, ему уже под тридцать. Выходит в печати "По эту сторону рая". А Миллер — на третьем десятке своей жизни — странствовал по американскому западу, работал батраком на ранчо, работал в ателье у отца, в 1917 году женился, произвел на свет дочь, десять раз устраивался на работу, потому что еще десять раз мечтал писать, и не решался, вместо этого гуляя с друзьями и неустанно изменяя своей первой жене.

Умри он, не дожив до тридцати, его бы помнили соседи как местного остроумца, хорошего пианиста, ненадежного должника, неунывающего жеребца, бывшего "трамвайного кондуктора, мусорщика, библиотекаря, страхового агента, книготорговца" и помощника редактора на фирме, выпускавшей каталоги для почтовых заказов. В его жизни не было никакого направления. Он был блестящим собеседником, но "поскольку я произошел от бруклинских родителей, не имевших дела с творческими людьми, то я таких людей и не встречал. Я изо всех сил старался познакомиться с кем-нибудь, обладавшим хоть какой-то культурой. Для меня быть писателем было все равно, что сказать: "Я хочу быть святым, мучеником, богом. Нечто столь же великое, столь же отдаленное, столь же недоступное". Ему почти тридцать. Через несколько лет Хемингуэй напишет "Фиесту", а Фицджеральд "Великого Гэтсби", — оба писателя так много уже совершили к тридцати годам. А Миллеру удалось добиться того, чтобы наконец устроиться на постоянную работу менеджером на телеграфе.

Тем не менее, именно тут по-настоящему начинается его литературный путь. И его сексуальный путь. Никогда еще не бывало подобного симбиоза между литературой и сексом. Миллер, может быть, единственный писатель из всех когда-либо живших, о котором можно предположить, что, если бы не его сексуальные чудеса, он не смог бы произвести, пожалуй, и литературных чудес. И если бы не его успешная лите-

ратурная деятельность, неизвестно, сохранилась ли бы у него так долго такая сексуальная жизнеспособность.

* * *

На долю Миллера досталось немало похвал, в том числе от таких маргардажей литературы, как Т.С.Элиот, Эзра Паунд, Эдмунд Уилсон. Паунд ограничился замечанием, шедшим в самый корень: "Вот неприличная книжка, заслуживающая того, чтобы ее читать". Элиот, который даже в Шелли видел сатанинское начало, тем не менее стал горячим поклонником Миллера и даже послал автору письмо (если и не выступил публично). Уилсон написал одну из первых хвалебных (и накрахмаленных) рецензий на "Тропик Рака". Джордж Орвелл написал в своем прекрасном очерке: "Это — роман человека, который счастлив," — а для Орвелла счастье было едва ли не первой добродетелью. И далее: "Это единственный оригинальный прозаик из всех, за последние несколько лет появившихся в англоязычных странах, представляющий собой какую-то ценность".

Норман МЕЙЛЕР

ТРОПИК РАКА

Фрагменты из романа

Я живу в Вилле Боргези. Кругом — ни соринки, все стулья на местах. Мы здесь одни и мы — мертвецы.

Вчера вечером Борис обнаружил, что на нем вши. Я должен был побрить ему подмышки, но чесотка не прекратилась. Как это можно так обовшиветь в таком чистом месте? Без этих вшей мы с Борисом не узнали бы друг друга так близко.

Борис только что преподнес мне короткую сводку своих взглядов. Он — предсказатель погоды. По его мнению, плохая погода будет продолжаться. Будут потрясения, будут убийства и еще более глубокое отчаяние. Ни малейшего показателя на улучшения где бы то ни было. Рак времени продолжает разъедать нас. Все наши герои или поубивали себя или убивают себя сейчас. Следовательно, настоящий герой это даже не время, а Отсутствие Времени. Нам надо идти в ногу, точно и бодро, по дороге в тюрьму смерти. Рассчитывать не на что. Погода не переменится.

Сейчас — осень моего второго года в Париже. Я никогда не мог понять зачем меня сюда принесло.

У меня ни денег, ни запасов, ни надежд. Я — счастливейший человек в мире. Год тому назад, даже полгода, я думал, что я — художник. Сейчас я уже так не думаю, я просто знаю, что я — художник. Все, что было связано с литературой, отвалилось от меня. Слава Богу, писать книг больше не надо.

В таком случае как же рассматривать это произведение? Это — не книга. Это — клевета, издевательство, пасквиль. Это не книга в точном смысле этого слова. Нет! Это — затычное оскорбление, плевок в морду Искусству, пинок в задницу Богу, Человеку, Судьбе, Времени, Любви, Красоте... всему, чему хотите. Я буду для вас петь, слегка не в тоне, но все же петь. Я буду петь, пока вы будет сдыхать; я буду танцевать над вашим грязным трупом...

Чтобы петь, надо сначала открыть рот. Надо пару легких и некоторое знание музыки. Не нужно ни гармошки, ни гитары. Важно желани е петь. Поэтому это — песнь. Я пою.

Я пою это для тебя, Таня. Мне хотелось бы петь получше, мелодичнее, но тогда ты, вероятно, не стала бы меня слушать. Ты слыхала, как пели другие, и это тебя не затронуло. Они пели или слишком хорошо, или недостаточно умело.

Сейчас двадцать-какое-то октября. Я перестал следить за числами. Может быть, ты назовешь это моим сном, оставшимся с четырнадцатого ноября прошлого года. Есть пробелы, но это пробелы между снами, и в них не остается сознания. Мир вокруг меня растворяется, оставляя тут и там островки времени. Мир — это сам себя пожирающий рак... Я думаю, что когда на все и всех сойдет великая тишина, музыка, наконец восторжествует. Когда все опять всосется в матку времени, хаос вернется на землю, а хаос — это партитура, на которой написана действительность. Ты, Таня, — мой хаос. Поэтому-то я и пою. Даже, собственно говоря, не я, а умирающий мир, с которого слезает кожа времени. Я сам пока еще жив, барахтаюсь в твоей матке, действительность, на которой можно еще писать.

Дремлю... Физиология любви. Отдыхающий кит со своим двухметровым членом. Летучая мышь — *penis libre*. Животные с костями в членах. Следовательно, "к о с т о с т о й". "К счастью, — говорит Гурмон, — костлявая структура исчезла в человеке". К счастью? Конечно, к счастью. Представьте себе человечество, ходящее с костяными эрекциями. У кенгуру — два члена; один для будних дней, другой для праздников. Дремлю... Письмо от женщины, спрашивающей меня, нашел ли я название для моей книги. Название? Конечно: "Прекрасные Лесбиянки".

Ваша анекдотическая жизнь. Это — фраза господина Боровского. Я завтракал с ним в среду. Его жена, высохшая корова — на председательском месте. Она сейчас учит английский. Ее излюбленное слово — "филтси", что значит "грязно". Вам не надо много времени, чтобы представить себе, что за язвы на заднице эти Боровские. Но это еще не все

Боровский носит плисовые костюмы и играет на гармошке. Непобедимая комбинация, особенно если принять во внимание, что он неплохой художник. Он говорит, что он поляк, но это, конечно, не так. Он — еврей, этот Боровский, и его отец был коллекционером марок. По правде сказать, весь Монпарнас — евреи. Или полуевреи, что даже хуже. И Карл, и Паула, и Кронстадт и Борис, и Таня и Сильвестр, и Молдорф и Люсилль. Все, кроме Филлмора. Генри Джордан Освалд тоже оказался евреем. Люи Николе — еврей. Даже Ван Норден и Шери — евреи. Франсес Блэйк — еврей, вернее еврейка. Титус — еврей. Я завален евреями, как снегом. Я пишу это для своего приятеля Карла, отец которого еврей. Это все необходимо понять.

Из всех этих евреев самая очаровательная — это Таня, и для нее я бы сам стал евреем. А почему бы и нет? Я уже говорю, как еврей. Я — сам безобразен, как еврей. Кроме того, кто ненавидит евреев больше, чем еврей?...

Пища — одна из вещей, которая дает мне огромное удовольствие. А в нашей великолепной Вилле Боргези никогда нет даже признаков пищи. Временами это положительно ужасно. Я много раз просил Бориса заказывать хлеб к утреннему завтраку,

но он всегда забывает. Он, очевидно, завтракает вне дома. Когда он возвращается, он ковыряет в зубах, и на его бороде остатки яйца. Он ест в ресторане из деликатности ко мне. Он говорит, что ему тяжело уписывать сытный завтрак, пока я, голодный, смотрю на него.

Мне нравится Ван Норден, но я не разделяю его сомнений. Я не считаю, например, что он или мыслитель или философ. Он просто человек, помешанный на манде. И из него никогда не выйдет писателя. Сильвестер тоже никогда не будет писателем, даже если бы его имя сияло на красной электрической рекламе в 50.000 свечей. Единственные писатели, которых я признаю, — это Карл и Борис. Они — чем-то одержимые. Они горят внутри жгучим белым огнем. Они — сумасшедшие, но у них нет слуха. Они — мученики.

Молдорф, который тоже по-своему страдает, однако, далеко не сумасшедший. Молдорф — словесный пьяница. У него — ни кровеносных сосудов, ни сердца, ни почек. Он — чемодан, состоящий из бесконечных ящичков и на ящичках ярлыки, написанные белыми, черными, лиловыми, коричневыми и синими чернилами, шафраном, лазурью, бирюзой, кораллом, бисером, киноварью, ярью-медянкой, охрой, ониксом, хенной, канителью, селедкой, сыром-гарганзолой, вином Анжу...

Я перенёс пишущую машинку в следующую комнату, где я могу смотреть на себя в зеркало, пока я пишу...

... С первого взгляда, Молдорф — карикатура на человека. Глазки — щитовидные железы. Губы — шины Мишелен. Голос — гороховый суп. Под своим жилетом он носит маленькую грушу вместо сердца. С какой бы стороны вы на него ни посмотрели, вид одинаковый — вычурная табакерка, набалдашник слоновой кости, шахматная фигурка, барельеф старого храма, веер. Он до такой степени перебродил внутри, что потерял всякую форму и значение. Он — дрожжи без витаминов, горшок без резинового в нем растения.

Женщины по-настоящему оплодотворялись дважды в девятом столетии и еще раз во время Ренессанса. Молдорфа носили через исторические эпохи рассеяния в желтых и белых животах. Задолго еще до Великого Исхода в его кровь плюнул и татарин.

Проблема Молдорфа — это проблема каждого карлика. Через свои выпученные глазки он видит силуэт, спроектированный на экране гигантской величины. Его голос, который вполне соответствует его настоящим размерам ублюдка, опьяняет его. Он слышит рев, когда все остальные слышат только писк.

Посмотрим теперь на его мозг. Это амфитеатр, на котором искусный актер играет много ролей. Молдорф точно и безошибочно проходит через свои многообразные роли клоуна, жонглера, акробата, священника, сладострастника, жулика. Амфитеатр для него слишком мал. Он взрывает его динамитом. Публика наэлектризована, и он добивает ее.

У меня о нем были самые разнообразные мнения, и я их все выбросил. Сейчас у меня другие, и я вношу в них постоянные поправки. Я нанизал его на иголку и только тут понял, что у меня на иголке не жук-навозник, а стрекоза. Он часто оскорбляет меня грубостью, а потом уничтожает вежливостью. Он может болтать, пока вы не начинаете задыхаться, а потом сделаться тихим, как Иордан.

Когда он трусит по направлению ко мне, распростерши свои лапки, и мигая своими потными глазками, мне кажется, что навстречу мне идет... Нет, все это не так надо описывать!

"Comme un oeuf dansant sur un* jet d'eau"

У него всего лишь одна тросточка. В кармане у него рецепты Мировой Скорби. Он сейчас вылечился, и маленькая девочка, которая мыла ему ноги, ходит сейчас с разбитым сердцем. Он как "Господин Ничтожество", который сует вам в нос словарь языка Гужурати. "Необходимо всем", другими словами, — "без этого нельзя обойтись культурному человеку". Боровский не понял бы всего этого. У Боровского специальная тросточка для каждого дня недели и еще одна для Пасхи.

Я много раз старался подойти к Молдорфу, но это как подойти к Богу. Молдорф — это Бог, и он никогда не был ничем другим. Я просто пишу пустые слова.

Вместе с тем, у нас так много общих черт, что, когда я смо-

*В написании этого слова не уверен, в оригинале плохо пропечатано. Д. Т.

трю на него, мне кажется, что я вижу самого себя в кривом зеркале.

Я просмотрел свои рукописи — страницы, покрытые корректурными каракулями. Страницы литературы. Это меня немного пугает. Это очень уж похоже на Молдорфа. Только я не еврей, а у неевреев специальный способ страдать. Неевреи страдают без неврозов, а, как говорит Сильвестр, человек без неврозов не понимает настоящего страдания.

Я помню, как я получил удовольствие от своих страданий. Это как брать медвежонка с собой в кровать. Иногда он цапнет вас когтями и вы испугаетесь. Но настоящего страха нет. Вы всегда знаете, что вы можете выкинуть его вон или отрубить ему голову.

У некоторых людей — непобедимое желание влезть в клетку с дикими зверями и искалечиться. Они влезают туда даже без револьвера или хлыста. Страх делает их бесстрашными. Так и с евреями. Для еврея мир — клетка, наполненная дикими зверями. Дверь закрыта, и он внутри — без револьвера или хлыста. Его храбрость настолько велика, что он даже не слышит запаха дерьма, лежащего в углу. Зрители ему аплодируют, но он не слышит и этого. Он думает, что вся драма разворачивается внутри клетки. Он думает, что клетка — это весь мир. Стоя там, одинокий и беззащитный, он думает, что львы понимают его язык. Ни один лев никогда не слышал о Спинозе. Спиноза? Да в него нельзя даже вонзить зубы! "Дайте нам мяса!" — рычат они, а он стоит там окаменелый от ужаса, с замороженными мыслями и без возможности дотянуться до своей трапеции "Weltanschauung". Один удар лап зверя, и вся его всечеловечность разлетится вдребезги...

Что все это имеет общего с Молдорфом? Слово в человеческом рту — это анархия. Скажи его, Молдорф, я жду. Никто не знает, что за реки протекают через наш пот, когда мыжимаем руки. Пока Молдорф формулирует свои слова, с открытыми губами и слюной, kloкочущей за его щеками, я переносюсь полпути через Азию. Если бы я взял его тросточку и проткнул бы ему бок, я набрал бы достаточно материала, чтобы наполнить Британский Музей. Мы стоим пять минут и

за это время пожираем столетия. Молдорф — сито, через которое я просеиваю свою анархию и превращаю ее в слова. За словом стоит хаос. Каждое слово — это струна, но нет и не будет никогда достаточно слов для того, чтобы сплести сеть.

Пока меня не было дома, повесили новые шторы. Они похожи на тирольские скатерти, смоченные лизолом. Комната сверкает. Я сажусь на кровать в растерянности, думая о человеке, каким он был до моего рождения. Внезапно начинают бить колокола — странная, неземная музыка, переносщая вас в степи Центральной Азии. Некоторые колокола звонят протяжно, другие — пьяно и сентиментально. Потом снова тишина, за исключением последней ноты, которая только царапает слегка тишину ночи — умирающий вздох гонга, потушенного как огонь.

Я заключил договор с самим собой: не менять ни строчки из того, что пишу. Я не хочу приглаживать свои мысли или мои поступки. Рядом с совершенством Тургенева я ставлю совершенство Достоевского. (Есть ли что-нибудь более совершенное, чем "Вечный муж"?) Значит существуют различные совершенства, в одном и том же искусстве. Но в письмах Ван Гога совершенство еще более высокое. Это — победа личности над искусством.

Только одна вещь интересует меня особенно жгуче сейчас — это записать все, что было опущено в других книгах. Никто, насколько я вижу, не старается использовать те элементы в воздухе, которые дают нашей жизни направление и смысл. Только убийцы получают некоторое удовлетворение от жизни за то, что они в нее вкладывают. Наша эпоха требует интенсивного действия, а все, что мы получаем, это маленькие взрывчики. Революции или удушаются в зачатке, или слишком быстро приходят к успешному завершению. Страсти быстро гаснут. Люди возвращаются к старым идеям, "somme d'habitude". Не появляется ничего нового, что могло бы заинтересовать человечество даже на двадцать четыре часа. Мы проживаем миллионы жизней в каждом поколении, но мы получаем больше от энтомологии, изучения океанов и структуры клетчатки, чем от самой жизни.

Телефонный звонок прерывает эти размышления, которые я все равно не довел бы до конца. Кто-то хочет прийти посмотреть квартиру.

Похоже на то, что моя жизнь в Вилле Боргези подходит к концу. Ну что ж, я возьму эти листы и пойду дальше. Жизнь будет продолжаться, все пойдет своим чередом. Что-то всегда случается. Куда бы я ни пошел, везде будут люди со своими драмами. Люди, как вши, — они забираются под кожу и остаются там. Вы чешетесь и чешетесь, до крови, но освобождения от вшей нет. Куда бы я ни сунулся, везде люди, делающие ералаш из своих жизней. Это сейчас у всех в крови — несчастье, тоска, грусть, самоубийство. Воздух насыщен катастрофами, неудовлетворенностью, бессмыслицей. Чешись, сколько хочешь, пока не сдерешь кожу. На меня все это производит бодрящее впечатление. Вместо того, чтобы стать подавленным или разочарованным, я получаю от этого некоторое удовольствие. Мне хочется новых аварий, новых потрясающих несчастий и еще более ужасающих неудач. Мне хочется, чтобы весь мир пошел кувырком, чтобы все люди зачесались насмерть.

Я живу сейчас таким бурным темпом, что мне даже трудно делать эти отрывочные заметки. После телефонного звонка явился какой-то господин со своей женой. Я пошел вверх и прилег там, пока происходили переговоры. Я лежал и думал, что теперь делать дальше? Не идти же назад в кровать к этому педерасту и вытряхивать крошки хлеба пальцами ног. Какой тошнотворный маленький сукин сын! Если в мире есть что-нибудь хуже педераста, это — скряга. Запуганный маленький ублюдок, постоянно живущий под страхом остаться без денег — может быть, к восемнадцатому марта, и уж, наверное, к двадцать пятому мая. Кофе без молока и сахара. Хлеб без масла. Мясо без соуса или вообще без мяса. И без этого и без того. Грязный, паршивый выжига. Я однажды открыл его шкаф и нашел там деньги, запрятанные в носок. Более двух тысяч франков плюс еще неизменные чеки. Я бы простил даже это, если бы не кофейная гуща на моем берете, отбросы на полу, всякая мерзость, не говоря уже о банках с помадами,

сальных полотенцах и вечно забитых сортирных трубах.

Я уверяю вас, что от этого маленького подлеца шел смрад пока он не обливался одеколоном. У него были грязные уши, грязные глаза, грязная жопа. Он весь — расхлябанный, астмичный, вшивый, мелкокалиберный пакостник. Я бы ему простил все, если бы он давал мне приличный завтрак! Но человек, у которого запряганы две тысячи франков в грязном носке и который отказывается носить чистую рубашку или помазать хлеб маслом, такой человек не только педераст и скряга, но к тому же и слабоумный кретин.

Однако довольно распространяться насчет педераста. Я слушаю, что происходит внизу. Там какой-то господин Рен и его жена. Они пришли снимать квартиру. Они говорят о ней; слава Богу, пока только говорят. У госпожи Рен развинченный смех. Это обычно означает, что будут затруднения. Сейчас говорит господин Рен. У него скрипучий, нудный, но громкий голос, тупое оружие, с которым он влезает в ваше тело, кости и хрящи.

Борис зовет меня вниз, чтобы представить им. Он потирает руки, как жуликоватый лабазник. Они обсуждают сейчас рассказ, написанный господином Реном о шпатоватой лошади.

"Я думал, что господин Рен — художник..."

"Это совершенно верно, — говорит Борис, подмигивая мне, — но в зимние месяцы он пишет и пишет удивительно неплохо".

Я стараюсь втянуть господина Рена в разговор, все равно о чем, даже о хромых лошадях. Но господин Рен почти косноязычен. Когда он говорит о месяцах, проведенных с пером в руке, его трудно понять. Он говорит, что проводит целые месяцы в раздумьи перед тем, как коснуться бумаги. (А в зиме всего три месяца!). О чем он может думать все эти месяцы? Хоть убей меня, я не верю, что он писатель. Однако госпожа Рен утверждает, что когда он, наконец, начинает писать, из него просто так и льется талант.

Разговор не клеится. За господином Рен трудно следить, он ничего толком не говорит. Он, видите ли, "думает во время разговора", как уверяет госпожа Рен. Госпожа

Рен говорит о господине Рен с благоговением, "Он думает пока он говорит..." Очень, очень мило, как сказал бы Боровский, но также и затруднительно. Особенно ввиду того, что этот великий мыслитель — стреноженная лошадь.

Борис дает мне деньги, чтобы купить выпивку. Я пьянею уже пока я иду за ней. Я знаю точно, что я скажу, когда вернусь. Пока я иду по улице, во мне булькает приготовленная речь, вроде разболтанного смеха госпожи Рен. Мне кажется, что она уже слегка подвыпивши. Когда она выпивши, она, вероятно, хорошо слушает собеседников. Выходя из винной лавки, я слышу звук текущей мочи. Весь мир — в текущем движении. Мне хочется, чтобы госпожа Рен меня выслушала.

Борис все еще потирает руки. Господин Рен все еще косноязычит. У меня между ног бутылка, и я в нее ввинчиваю штопор. Рот госпожи Рен выжидательно полуоткрыт. Вино течет мне на брюки, солнце струится через фонарное окно, и по моим жилам льются и бурлят тысячи диких мыслей, которые начинают выливаться из меня, как из лопнувшей трубы. Я говорю им все, что приходит мне в голову, все, что было закупорено там долгое время и что разболтанный смех госпожи Рен каким-то образом оттуда откупорил. С бутылкой между ног и солнцем, плещущим через окно, я переживаю опять прелесть тех первых тяжелых дней, когда я попал в Париж в первый раз, растерянный и нищий, и бродил по парижским улицам, как неприкаянное приведение на веселом пиру. Все внезапно всплывает в памяти: неработающие уборные, князь, чистящий мои сапоги, кинематограф "Сплэндид", где я спал на чужих пальто, решетки на окнах, чувство удушья, жирные тараканы, пьянство и куролесничество между всем этим. Танцы на улицах на пустой желудок и иногда визиты к странным людям, вроде мадам Делорм, например.

Как я попал к мадам Делорм, я сейчас даже не могу себе представить. Но как-то я пролез и через лакея у дверей, и через горничную в кокетливом белом передничке и вперся прямо во дворец в своих плисовых штанах и охотничьей куртке и без одной пуговицы на ширинке брюк. Даже и сейчас я чувствую золотую атмосферу этой комнаты, где мадам Делорм

восседала на троне в своем по-мужски скроенном костюме; золотые рыбки в бассейне, карты старинного мира, великолепно переплетенные книги; даже и сейчас я чувствую ее тяжелую руку на моем плече, которая поразила меня своим жестким лесбиянским зажимом. Но насколько приятней было болтаться в человеческой похлебке, льющейся мимо вокзала Сан Лазар — бляди в подворотнях; зелтерские бутылки на всех столах; густые струи похотливого семени, льющиеся по сточным канавам. Нет ничего приятнее, чем болтаться в этой толпе между пятью и семью вечера, преследуя ножку или крутой бюст, или просто плывя по течению с головокружением в мозгу. Странное самоудовлетворение было у меня в те дни: ни свиданий, ни приглашений на обед, ни расписаний, ни гроша в кармане. Золотое время, когда у меня не было ни одного друга. Каждое утро — безнадежная прогулка в "Америкэн Экспресс банк" и каждое утро — неизбежный ответ от чиновника там. Я ползал тогда по городу, как клоп, собирая окурки, иногда застенчиво, а иногда и нахально, сидел на садовых скамейках, поджимая живот, чтобы остановить там нытье, или бродил по паркам, смотря на голые статуи и вызывая этим эрекцию... Ходил вдоль реки Сены по ночам, ходил и ходил, сходя с ума от ее красоты, с ее деревьями, наклонившимися над водой и их разбитыми отблесками на текшей реке под красными фонарями мостов... Женщины, спящие в подворотнях на старых газетах, под дождем и повсюду; заплесневевшие ступени соборов, и нищие, и вши, и старухи, полные пляски святого Вита; тачки, сложенные штабелями, как винные бочки; запах ягод на закрытом базаре и старая церковь, окруженная зеленью и синими огнями; водосточные каналы, полные отбросов; и шикарные женщины, ступающие по скользкой грязи и пакости в сатиновых туфельках, возвращаясь после всенощной попойки... Площадь святого Сюльписа, заброшенная и безлюдная, куда около полуночи каждый день приходила женщина со сломанным зонтиком и сумасшедшей вуалью. Тут она и спала всегда под своим раздрызганным зонтиком со свисающими ребрами, в платье, позеленевшем от старости, со своими скрюченными пальцами и запахом гнили,

исходящим от ее тела... Тут и я сидел по утрам, дремля на солнце, мысленно проклиная сволочных голубей, повсюду собирающих крошки...

Всего только год раньше Мона и я бродили ночами по улице Бонапарта, каждый вечер, после того как мы расставались с Боровским. Святой Сюльпис не имел для меня особого значения тогда, как и ничто в Париже. Я отупел от разговоров и от человеческих лиц, меня тошнило от соборов, площадей, зоологических садов и прочей дребедени. Я поднимал книгу в красной спальне, сидя в неудобном плетеном кресле, я изнывал от сидения на жопе целыми днями, смотря на красные обои и слушая непрерывный говор вокруг меня... Я помню эту красную спальню и всегда открытый сундук с ее платьями, разбросанными повсюду в кошмарном беспорядке. Красная спальня с моими галошами и тростями, и записными книжками, которых я даже не касался, и холодными мертвыми рукописями... Париж! Это был Париж кафе "Селект", кафе "Дом" знаменитой "блехатой барахолки", "Америкэн Экспресса"...Париж Боровского с его тросточками, его шляпами, его акварелями, его доисторическими рыбами и доисторическими анекдотами.

Из всего этого Парижа двадцать восьмого года только один вечер остался отчетливо в моей памяти, вечер, когда я уезжал в Америку. Удивительная ночь, с подвыпившим Боровским, дующимся на меня за то, что я танцую с каждой потаскушкой. Но ведь мы уезжаем в Америку завтра утром! Я говорю это каждой бляди, которую я только могу поймать, — уезжаем завтра утром! Я говорю это блондинке с агатовыми глазами. А пока я говорю это, она берет мою руку и зажимает ее между своими ляжками. Я стою в уборной над чашкой, с монументальной эрекцией: мой член кажется мне в одно и то же время тяжелым и легким, как кусок свинца с крыльями. И пока я стою так, вваливаются две бляди — американки. Я вежливо приветствую их с членом в руке. Они подмигивают мне и выходят. В вестибюле, пока я застегиваю штаны, я вижу одну из них, поджидающую свою подругу, ко-

торая все еще в уборной. Музыка доносится из зала и каждую минуту может появиться Мона, чтобы забрать меня, или Боровский со своей тростью с золотым набалдашником, но я уже в руках этой женщины, она меня держит, и мне все равно, что произойдет позже. Мы заползаем в клозет, я ставлю ее против стены и стараюсь вставить ей, но так ничего не получается. Мы садимся на стульчик и стараемся устроиться таким образом и — опять безуспешно. И как мы ни стараемся, ничего не выходит. И все это время она зажимает мой член в руке, как якорь спасения, но все это тщетно — мы слишком возбуждены. Музыка продолжает играть, и мы вальсируем с ней из клозета в вестибюль, и танцуем там, и вдруг я спускаю ей прямо на платье, и она приходит от этого в ярость. Я возвращаюсь к столу качаясь, и там сидят Боровский со своим красным лицом и Мона с ее строгими глазами. Боровский говорит: "Давайте все поедем завтра в Брюссель!" Мы соглашаемся. Когда я возвращаюсь в отель, меня начинает рвать повсюду — на кровать, умывальник, на костюмы и платья, на галоши, и нетронутые записные книжки, и на холодные мертвые рукописи.

Несколько месяцев спустя. Та же гостиница, та же комната. Мы смотрим во двор, где стоят велосипеды, и над нами, под самым чердаком, маленькая комнатка, в которой какой-то молодой идиот заводит граммофон целый день и повторяет заумные фразы полным голосом. Я говорю "мы", но я забегаю вперед, так как Моны здесь еще нет, и я встречаю ее сегодня на вокзале Сан Лазар. Вечером я стою там, с лицом, зажатым решетками, но Моны в толпе нет. Я перечитываю телеграмму, но это не меняет положения. Я возвращаюсь в Латинский Квартал и как ни в чем не бывало съедаю плотный обед. Несколько позже, проходя мимо кафе "Дом", я внезапно вижу бледное, тяжелое лицо и горящие глаза, и маленький бархатный костюм, который я обожаю потому, что под ним всегда ее теплые груди и мраморные ноги, холодные, твердые, мускулистые. Она поднимается из моря лиц и обнимает меня, обнимает меня страстно. Тысячи глаз, носов, пальцев, ног, бутылок, ридикюлей и блюдец глазуют на нас, а мы

в объятиях друг у друга, забывши все на свете. Я сажусь рядом с ней, и она начинает говорить — поток слов. Дикие, хаотичные нотки истерики, извращения, проказы. Я не слышу ни слова, потому, что она — прекрасна. Я люблю ее и готов умереть.

Мы идем по улице Шато, ищем Евгения. Мы проходим железнодорожным мостом, где я когда-то стоял и смотрел на уходящие поезда, с тоской стараясь представить себе, где она может быть сейчас... И вот мы опять стоим здесь. Все такое мягкое, чарующее вокруг нас... Дым, пробивающийся через мост, между наших ног, лязг стрелок вниз, и семафоры — у нас в крови. Я чувствую ее тело, такое близкое мне, сейчас все мое... Я останавливаюсь и глажу рукой теплый бархат. Все рассыпается вокруг нас, и теплое тело под бархатом рвется ко мне.

Обратно в ту же комнату и, спасибо Евгению, с пятидесятью франками в кармане. Я смотрю во двор, но граммофон уже умолк. Сундук открыт, и ее вещи разбросаны, как и раньше. Она ложится на кровать не раздеваясь. Один раз, два, три, четыре... Я боюсь, что она сойдет с ума. Как хорошо опять чувствовать ее тело в кровати, под одеялом. Но надолго ли? Будет ли это продолжаться на этот раз? У меня уже предчувствие, что не будет.

Она говорит так лихорадочно и быстро, как будто не верит, что завтра опять будет день. "Спокойней, Мона. Просто смотри на меня и не говори". В конце концов, она засыпает, и я вытаскиваю из-под нее свою руку. Мои глаза закрываются... Ее тело — рядом со мной, и оно будет тут во всяком случае до утра... В последний раз мы расстались в феврале... Я уезжал из Нью-Йорка в метель. Последнее, что я видел, это — ее, машущую на прощание рукой... За ней стоял человек со шляпой, надвинутой на глаза, и с жирными щеками, лежащими на отворотах пальто. Утробный зародыш, провожающий тоже и меня, ублюбок с сигарой во рту. Мона, машущая мне рукой... Тяжелое, бледное лицо, непокорные волосы на ветру. Но сейчас — эта комната и она, ровно дышащая через жабры, с соком все еще сочащимся между ног и с теплым кошачьим запа-

хом и с ее волосами у меня во рту. Мои глаза закрыты. Мы ровно дышим в рот друг другу. Мы — так близко вместе. Америка — три тысячи миль от нас. Я считаю чудом, что она здесь, в постели со мной, дышит на меня и что ее волосы у меня во рту. До утра уже ничего не может случиться.

Я просыпаюсь после глубокого сна и смотрю на нее. Через окно просачивается бледный день. Я смотрю на ее чудесные непокорные волосы. Я чувствую, как что-то ползет у меня по шее. Я смотрю на нее опять. Ее волосы — живые. Я отворачиваю простыню — еще больше волос. Они расползлись по всей подушке.

Первая заря. Мы быстро складываемся и выскальзываем из гостиницы. Все кафе еще закрыты. Мы идем и пока мы идем, мы чешемся. День поднимается в молочной белизне, полосы коралла в небе, как улитки, выползающие из своих ракушек. Париж. Париж. Все может случиться здесь. Старые, крошащиеся стены и уютное бульканье воды в писсуарах. Мужчины, облизывающие усы в пивных. Ставни поднимаются с грохотом, и тонкие струйки стекают в сточные канавки. Огромные красные буквы: "Амер Пикон", "Зигзаг". В какую сторону идти нам, куда и зачем?

Мона голодна. На ней тонкое платье. Ничего у нее нет, кроме вечерних накидок, бутылок с духами, варварских сережек, браслетов, помад. Мы садимся в бильярдной на Авеню де Мэйн и заказываем кофе. Уборная не работает. Пройдет некоторое время, пока мы сможем пойти в другую гостиницу. Мы сидим и вытаскиваем клопов из волос друг у друга. Нервность... У Моны лопается терпение. Ей нужна ванна. Нужно то, нужно это.

"Сколько у тебя денег?"

Деньги. Я совершенно забыл про них.

Отель "Соединенные Штаты". Лифт. Мы ложимся спать при полном свете. Встаем в темноте и первое, что надо сделать сейчас, — это найти достаточно денег, чтобы послать телеграмму в Америку. Телеграмму зародышу с мокрой сигарой во рту. Между тем на бульваре Распай есть испанка, которая никогда не откажет в теплой еде. К утру что-нибудь да случится. По крайней мере, мы опять будем спать вместе. Без клопов.

Начинается дождливый сезон. Простыни — без пятнышка... Новая жизнь начинается для меня в Вилле Боргези. Сейчас только десять часов, а мы уже позавтракали и даже ходили на прогулку. Теперь у нас в доме завелась некая Эльза. "Не валяй дурака, несколько дней хотя бы", — предупредил меня Борис.

День начался великолепный: яркое небо, свежий ветер, чисто вымытые дома. По пути на почту мы с Борисом обсуждаем книгу. "Последнюю книгу", которая будет написана анонимно.

Начинается новая жизнь. Я почувствовал это сегодня утром, пока мы стояли перед одним из глянцевитых полотен Дюфрена — своего рода, "маленький завтрак" тринадцатого столетия, "без вина". Здоровая, крепкая, мясистая, голая баба, розовая, как ноготь, с круглыми волнами тела; все вторичные признаки налицо и несколько первичных. Тело, которое поет, росистое, как заря. Все в движеньи, ничего мертвого. Стол перегружен едой, он настолько тяжел, что сползает из рамы. Трапеза тринадцатого столетия с примесью джунглей, которые он хорошо запомнил. Семья газелей и зебр, мирно пожирающая обертки пальм.

Ну вот, у нас появилась Эльза. "Не валяй дурака несколько дней". Я согласен. Эльза — горничная, я — гость, а Борис — большой барин. Начинается новая эпопея. Я смеюсь про себя, пока я это пишу. Он знает, что может случиться, эта лиса Борис. "Не валяй дурака..."

Борис — на иголках. В любой момент сейчас может появиться его жена. Она весит больше девяноста кило, эта жена. Борис весь может уместиться на ладони. Вот вам и положение. Он старается объяснить мне все это по пути домой вечером. Это настолько трагично и смешно в одно и то же время, что мне приходится останавливаться на улице и смеяться ему в лицо. "Почему ты смеешься?" Он спрашивает это серьезно, а потом начинает смеяться сам с всхлипывающими, истерическими нотами, как беспомощный мальчишка, который понимает, что сколько бы он ни паялил на себя фраков, из него никогда не получится настоящий мужчина. Он мечтает сбежать и переменить свое имя. "Пусть эта корова забирает все, только пусть

оставит меня в покое". Но нытье не помогает. Раньше всего надо сдать квартиру, подписать контракты и выполнить тысячи формальностей, в которых его фрячная пара поможет ему. Размеры этой женщины — ух! Это то, что его особенно беспокоит. Если бы он внезапно увидел ее, стоящую на ступенях, он, наверное, упал бы в обморок. Это так он ее уважает.

Итак, не надо валять дурака с Эльзой. Она тут для того, чтобы готовить завтрак и показывать квартиру.

Но Эльза деморализует меня. Немецкая кровь! Меланхолические песни. Сходя с лестницы сегодня утром, с запахом кофе в ноздрях, я уже напевал: "Es wär so schön gewesen". Это к завтраку-то! И потом этот молодой человек наверху со своим Бахом. Эльза говорит: "ему нужна женщина". Эльзе тоже кое-что нужно. Я это чувствую. Я не говорю ничего Борису, но сегодня утром, пока он чистил зубы, она рассказывала мне про Берлин и тамошних женщин, которые выглядят так аппетитно сзади, а повернутся и пожалуйста — сифилис!

Мне кажется, что Эльза посматривает на меня с тоской, как на остатки завтрака. Сегодня после обеда мы сидели и писали в ателье, спина к спине. Она начала письмо своему возлюбленному в Италии, но у нее заело пишущую машинку. Бориса не было дома, он ушел искать дешевую комнату, куда он переедет, когда сдаст квартиру. Ничего не оставалось делать, как подъехать к Эльзе. Она этого хотела, но все-таки мне было ее немного жалко. Она написала только одну строчку своему любовнику — я прочитал ее в то время, пока нагибался к ней сзади. Но, ничего не поделаешь. Все проклятая немецкая музыка, такая сентиментальная и грустная. Она разлагает меня. А потом — ее бисерные глазки, такие горячие и грустные в то же самое время.

После того как все было кончено, я попросил ее сыграть что-нибудь для меня. Она музыкантша, эта Эльза, хотя ее музыка и звучит, как битые горшки и стучающиеся друг о друга черепа. Пока она играла, она плакала. Я ее понимаю. Она говорит, что везде с ней случается то же самое. Везде мужчина, и ей приходится бросать место; потом аборт; потом новое место и новый мужчина, и всем насрать на нее с высокого дерева,

все хотят только пользоваться ею. Это все после того, как она играла мне Шумана. Шумана! — этого плаксивого, сентиментального немецкого нытика. Мне жалко ее, но в то же время мне тоже наплевать на нее — баба, которая умеет играть, как она, должна быть достаточно умной, чтобы не попадаться на "поц" каждому встречному мужчине... Но этот Шуман... он влезает мне в душу. Эльза все еще хнычет, а мои мысли уносятся в прошлое. Я думаю о Тане и о многих других вещах, которые ушли и канули в Лету. Я думаю о том летнем дне в Гринпойнте, в Америке, когда немцы громили Бельгию, но мы не потеряли еще достаточно денег, чтобы беспокоиться о какой-то насилуемой нейтральной страничке. Это было еще тогда, когда мы были достаточно наивны, чтобы слушать поэтов и сидеть вокруг спиритических столов, "выстукивая" духов. Весь воздух был наполнен немецкой музыкой — это был немецкий район Нью-Йорка, более немецкий, чем сама Германия. Мы выросли там на Шумане, Гуго Вольфе, кислой капусте, кюммеле и картофельных клецках... Я помню, как вечером того же дня мы сидели за большим столом. Занавески были опущены, и какая-то дура спиритически выстукивала Иисуса Христа. Мы держались за руки под столом, и моя соседка запустила два пальца в прореху моих брюк. Потом я помню, как мы лежали на полу за пианино, пока кто-то пел унылую песню... Я помню сдавленный воздух в комнате и сивушное дыхание моей женщины. Я смотрел, как педаль двигалась вниз и вверх, точно и механически — дикое, ненужное движение, как если бы кто-то строил башню из навоза вот уже двадцать семь лет, но которая все еще сохранила свой облик. Я затащил женщину на себя, и теперь резонатор пианино уперся мне в ухо. В комнате было темно, и ковер был липким от пролитого кюммеля... Потом все смешалось в моей голове... Мне показалось, что наступает рассвет, что вода переливается через синий лед, над которым висит туманная дымка, что глетчеры ползут в изумрудную синеву, что серны и антилопы проносятся мимо, золотые сомы щиплют водоросли и моржи прыгают через полярный круг...

Эльза сидит у меня на коленях. Ее глаза, как маленькие пу-

пки. Я смотрю на ее влажный, блестящий рот и покрываю его своим. Она мурлычет, — "ез вар зо шеэн гевезет..." Эх, Эльза, ты не знаешь, что все это для меня значит, твой "Трампетер фон Закинген", немецкие клубы пения, "Швабер хааль", "Турнфарейн"... "линкс ум, рехтс ум..." А потом — пинок в жопу, и все проходит как дым.

Ах, эти немцы! Они подбирают всех вас, как омнибус. Они дают вам несварение желудка. Как можно в один и тот же вечер обнять и морг, и клинику, и зоологический сад, и знаки Зодиака, и пещеры философии, и подворотни письмоведения, и колдовское варево Фрейда и Штекеля? На карусели нельзя поспеть везде; с немцами же можно пройти от созвездия Вега до Лопе де Вега, все в один и тот же вечер, и уйти глупым, как Парсифаль.

Как я уже сказал, день начался божественно. Только этим утром я почувствовал опять тот физически ощущаемый Париж, которого я не чувствовал уже неделями. Может быть, это потому, что книга начала расти во мне. Я ношу ее повсюду с собой. Я хожу по городу беременный, и полицейские переводят меня через улицы. Женщины встают и уступают мне место. Никто больше не толкает меня. Я — беременный. Я ковыляю, как утка; мой огромный живот упирается в мир своей тяжестью.

Это было сегодня утром, по пути на почту, когда мы с Борисом поставили окончательную печать одобрения на нашу книгу. Мы с Борисом изобрели новую космогонию литературы. Это будет новая Библия — Последняя книга. Все, у кого есть, что сказать, скажут это здесь — анонимно. Мы выдоим наш век, как корову. После нас не будет новых книг, по крайней мере, целое поколение. До сих пор мы копошились в темноте и только по инстинкту. Теперь у нас будет сосуд, в который мы нальем живительную влагу, бомба, которая взорвет мир, когда мы ее бросим. Мы вопрем в нее достаточно начинки, чтобы дать будущим писателям все их фабулы, драмы, поэмы, мифы и науки. Они будут питаться ею тысячу лет. Это — колоссальная идея, по своей закваске. Одна уже мысль о ней сотрясает нас.

Уже сотни лет мир, наш мир, умирает. И никто за эти сотни лет не додумался до того, чтобы засунуть бомбу ему в задний проход и поджечь фитиль. Мир гниет, умирает по кускам. Но ему нужен последний удар, его надо взорвать вдребезги. Никто из нас по отдельности не целен, но в каждом из нас лежат материки и моря между материками, и птицы в воздухе. Мы это все опишем — эволюцию этого сдохшего мира, который позабыли похоронить. Мы плаваем по поверхности времени, но все уже утонуло, тонет сейчас или утонет скоро. Наша Книга будет грандиозное сооружение. В ней будут океаны пространств, в которых можно будет двигаться, болтаться, петь, танцевать, ползать, купаться, кувыркаться через голову, хныкать, насиловать, убивать. Это будет настоящий кафедральный собор, в постройке которого примут участие все, кто потеряли свою личность. Будут тут и панихиды, и молитвы, и исповеди, и вздохи, и рыдания, и своего рода хулиганская беззаботность; будут розовые окна и горгульи, и служки, и гробокопатели. Сюда можно будет вводить лошадей и гарцевать в проходах. Можно тоже биться головой об стенки — они не пострадают. Молиться можно будет на любом языке или же свернуться калачиком снаружи и заснуть. Этот кафедральный собор простоит тысячу лет, и ничего ему подобного не будет потому, что его строители помрут, а с ними и архитектурные планы. Мы будем продавать открытки и организовывать экскурсии. Мы построим вокруг него город и заложим здесь свободную коммуны. Нам не надо гения, гений — мертвечина. Нам нужны сильные натуры, готовые отдать Богу душу и нарастить на себе мясо...

День идет бодрым шагом. Я — на балконе у Тани. Внизу, в гостиной происходит драма. Главный драматург болен и отсюда, сверху, его череп выглядит еще более опаршивевшим, чем всегда. Его волосы — из соломы. Его идея — солома. Его жена — тоже солома, но немного еще влажная. Я стою на балконе и жду Бориса. Моя предыдущая проблема — утренний завтрак уже исчезла. Я упростил все. Если появятся новые проблемы, я буду носить их в моем рюкзаке вместе с грязным бельем. Я выбрасываю мои последние гроши. Зачем мне деньги. Я — пишу-

щая машина. Последний винт ввинчен. Перебоев нет. Между мной и машиной нет ничего. Я сам — машина.

Мне еще не сказали, в чем заключается драма, но я догадываюсь. Они стараются отделаться от меня. А я здесь, в ожидании обеда и даже раньше, чем обычно. Я сказал им, где им садиться и что делать. Я вежливо спросил, не мешаю ли я им, но что я имел в виду, это узнать, не мешают ли они мне, и они это поняли. Нет, милые тараканы, вы мне не мешаете. Вы меня питаете. Я смотрю, как вы сидите рядом, и я знаю, что между вами пропасть. Ваша близость — это близость планет.

Безвоздушное пространство между вами — это я. Если я уйду, исчезнет и пространство, и тогда вам негде будет больше плавать.

Таня во враждебном настроении. Ее раздражает, если я не наполнен ею одной. По калибру моего возбуждения она понимает, что ее ценность сейчас сведена к нулю. Она знает, что сегодня я не пришел удобрять ее. Она знает, что во мне зреет что-то, что сведет ее на нет.

Сильвестр выглядит более удовлетворенным. Он будет обнимать ее сегодня за обедом. Сейчас он читает мою рукопись, готовясь раздуть мое "я" и использовать его против нее.

Сегодня будет любопытное сборище. Сцена готовится. Я слышу позвякивание стаканов. Выносятся вино. Сегодня будут опустошаться стаканы, и Сильвестр вылезет из своей болезни.

Вчера вечером у Кронстадтов мы разработали сегодняшнюю программу. Мы решили, что женщины должны страдать и что за кулисами надо дать еще больше ужаса и страдания, больше бедствий, насилий, больше горя и слез.

Это не случайность, что люди, как мы, собираемся в Париже. Париж — это эстрада, вертящаяся сцена, дающая возможность зрителям видеть спектакль под всеми углами. Сам Париж драм не создает. Они начинаются в других местах. Париж — это просто родовспомогательный инструмент, который выгребает плод из матки и кладет его в инкубатор. Париж — колыбель искусственных рождений. Качаясь в парижской люльке, каждый может мечтать о своем Берлине, Нью-Йорке, Чикаго, Вене, Минске. Вена

нигде так не Вена, как она в Париже. Все увеличивается здесь до апофеоза. Колыбель выпускает своих обитателей, и в нее забираются новые. Здесь на стенах вы можете прочесть, где жили Золя, Бальзак, Данте, Стриндберг и любой человек, который что-нибудь собой представлял. Все когда-то жили здесь. Никто не умирает в Париже.

Внизу говорят. Их разговор состоит из символических фраз. Слово "борьба" всплывает несколько раз. Сильвестр, больной драматург, говорит: "Я сейчас читаю Манифест". Таня спрашивает: "Чей?" Да, да, Таня, я ясно это слышал! Я делаю сейчас заметки о тебе в моем мозгу, и ты это чувствуешь. Говори, говори, чтобы я мог все это записать. Когда мы пойдем к столу, будет уже поздно. Вдруг Таня говорит: "В этом месте нет настоящего зала". Что это значит? Наверное — ничего...

Я должен был прервать работу на час или около этого. Пришел клиент смотреть квартиру. Наверху проклятый англичанин практикуется на том же Бахе. Теперь, когда кто-нибудь приходит смотреть квартиру, надо бежать вверх и просить его остановиться на некоторое время.

Эльза звонит по телефону в овощную лавку. Водопроводчик ставит новое сиденье в уборной. Когда звонит звонок, бедный Борис совершенно теряется. В своем волнении он уронил очки и сейчас ползает на четвереньках по полу, и его фалды метут паркет. Это слегка напоминает театр ужасов "Гранд Гиньоль": голодный поэт приходит давать уроки дочери мясника. Каждый раз, когда звонит звонок в лавке, поэт пускает слюну. Малларме звучит, как бифштекс, а Виктор Гюго, как телячья печенька. Эльза заказывает легкий завтрак для Бориса. "Небольшую, сочную отбивную, свиную котлетку". Перед моими глазами — целая груда розовых окороков на холодном мраморном прилавке, отороченных белым салом. Я голоден, как собака, несмотря на то, что мы кончили пить утренний кофе только несколько минут тому назад. Только по средам я ем второй завтрак — спасибо Боровскому. Эльза все еще звонит — она забыла заказать кусочек копченой гру-

динки. "Маленький пластик, не очень жирный..." Zut alors! Навалите горы сладкого мяса, тысячи устриц и моллюсков. Подкиньте еще жареной ливерной колбасы. Я могу сожрать сейчас пятнадцать пьес Лопе де Вега!

На этот раз квартиру смотрит хорошенькая женщина, конечно, американка. Я стою у окна спиной к ней и смотрю на воробья, расклевавшего свежее дерьмо. Удивительно, как легко достается воробьям хлеб насущный. Падают дождь огромными редкими каплями. Я всегда думал, что птицы с мокрыми крыльями не могут летать. Удивительно, как все эти богатые затрухи всегда приезжают в Париж и находят самые лучшие ателье. Тощий талант и толстые кошельки. В дождливую погоду они могут показывать свои новые модные дождевики. Пища для них ничто: иногда они так заняты ерундой, что у них нет времени на завтрак. Просто жидкий бутерброд в "Кафе де ля Пэ" или в баре "Ритц". "Для девушек из благородных семейств" — так сказано на ателье "Нюви де Шевени": я случайно проходил мимо пару дней тому назад. Богатые американские мандушки с ящиками красок через плечо. Тощий талант с толстыми кошельками.

Воробей перепрыгивает с булыжника на булыжник. Если разобраться, для него это геркулесово усилие. Повсюду для него валяется пища, во всех канавах. Хорошенькая американка спрашивает насчет уборной. Уборная! Дай, я покажу тебе, газель с бархатным носом. Ты говоришь, уборная? Пожалуйте сюда, мадам. Не забудьте, что нумерованные сиденья — это для инвалидов войны!

Борис потирает руки — он обсуждает сейчас детали условий. Во дворе лают собаки, как волки. Наверху мадам Мальвернес двигает мебель. Ей целый день нечего делать, и она скучает. Если она находит одну соринку, она начинает мыть весь дом. На столе зеленый виноград и бутылка вина — "Вэн де шуа", десятиградусное. "Конечно, — говорит Борис, — я могу поставить вам здесь умывальник... проходите, пожалуйста. Это — уборная. Наверху, понятно, другая. Вам не очень нравится Утрилло? Нет, это тут... Надо заменить шайбу и все будет в порядке".

Она уйдет через несколько минут. На этот раз Борис даже не представил меня. Сукин сын. Как только это... — богатая блядь, он забывает. Скоро я могу садиться опять и продолжать стучать на машинке. Почему-то на сегодня у меня пропала охота. Мое настроение пошло к черту. Через час эта американка может вернуться и вытащить стул из-под моей задницы. Как можно работать, когда не знаешь, где ты будешь сидеть через полчаса? Если эта богатая манда снимет квартиру, мне будет негде даже спать. Когда человек в таком переплете, трудно сказать, что хуже — не иметь где спать или работать. Положим, спать можно где угодно, но для работы нужен стул и хотя бы минимальные условия уединения. Эти богатые курвы никогда этого не поймут. Для их мягких задниц всегда найдется сиденье.

Вчера мы оставили Сильвестра и его бога, сидящими у очага. Сильвестр — в пижаме, Молдорф — с сигарой во рту. Сильвестр чистит апельсин. Он кладет кожуру на чехол дивана. Молдорф подсаживается поближе. Он просит разрешения прочесть опять свою блестящую пародию "Врата Небес". Мы с Борисом собираемся уходить. У нас слишком хорошее настроение для этой госпитальной обстановки. Таня уходит с нами. Ей весело потому, что она сбегает отсюда. Борису весело потому, что бог в Молдорфе умер. Мне весело потому, что начинается новый театральный акт.

В голосе Молдорфа — почтительность. "Сильвестр, могу я остаться здесь, пока вы не ляжете спать?" Он болтается здесь уже шесть дней, бегая за лекарствами и по поручениям для Тани, утешая, советуя, охраняя двери от злых духов, вроде Бориса и его босяков. Он, как дикарь, который обнаружил, что кто-то обезобразил его идола. Вот он сидит сейчас у ног своего идола с магическим цветком в руках и шепчет заклинания. Голос у него уже полумертвый, и прогрессивный паралич начинает сковывать его тело.

Он говорит с Таней, как со жрицей, которая нарушила свой священный обет. "Вы должны быть достойной его. Сильвестр — это ваш бог". И пока Сильвестр страдает наверху (у него легкий хрип в груди), жрец и жрица пожирают пищу. "Мы ос-

кверняем себя...”, — бормочет он измазанным соусом ртом. У него способность жрать и страдать в одно и то же время. Пока он охраняет своего кумира от злых духов, он иногда поглаживает Танины волосы своей толстенькой лапкой. “Я начинаю влюбляться в вас... Вы совсем, как моя Фаня...”

Во всех других отношениях это был счастливый день для Молдорфа. Из Америки пришло письмо. Мо получает пятерки. Морри учится кататься на велосипеде. Граммофон починен. По выражению его лица, можно видеть, что в письме были и другие новости кроме отметок и велосипедов. Это ясно из того, что сегодня он купил побрякушек для Фани на 325 франков. Вдобавок он написал ей письмо в двадцать страниц. Лакей в кафе приносил ему лист за листом, наполнял его самопишущее перо, приносил ему сигары и кофе, слегка обмахивал его, когда он потел, смахивал крошки со стола, зажигал его сигару, когда она тухла, бегал за марками для него, танцевал на нем, делал пируэты и кланялся до земли, почти что разламывая спину. Он получил большие чаевые. Даже более жирные, чем гаванская сигара “Корона-Корона”. Молдорф, вероятно, записал это в своем дневнике. Он держит его для Фани. Все для Фани. И браслеты, и сережки. Фаня стоит каждой истраченной на нее копейки. Лучше тратить деньги на Фаню, чем на блядей, вроде Жермен и Одэтт. Да, это буквально, что он сказал Тане. Он показал ей сундук, наполненный подарками для Фани и для Мо и Морри.

“Моя Фаня — самая умная женщина в мире. Я старался найти в ней хотя бы один недостаток, но это невозможно!

Фаня — совершенство. Я вам скажу, что такое Фаня. Она играет в бридж, как акула, ее интересует сионизм; если вы дадите ей старую шляпку, например, вы удивитесь, что она из нее сделает. Бантик здесь, оборочка тут — и вуаля! — красота! Вы знаете, в чем заключается наивысшее наслаждение? Это — сидеть рядом с Фаней вечером, когда Мо и Морри уже уснули, и слушать радио. Она сидит так спокойно... Я вознагражден за все неприятности и передряги, когда я сижу с ней. Она слушает радиопередачу умно и внимательно. Когда я думаю о вашем вонючем Монпарнасе, а потом о вечерах, проведенных с

Фаней в Бэй-Ридже, в Нью-Йорке после хорошего обеда, — этого нельзя даже сравнить! В жизни ценны простые вещи: хорошая еда, дети, притушенные лампы и Фаня, сидящая рядом, немного усталая, но такая довольная и сытая... Мы сидим часами так, не говоря ни слова. Вот это — настоящее счастье.

Сегодня она написала мне письмо. Это — не обыкновенное канцелярское письмо. Она пишет с сердцем и языком, который даже мой маленький Морри может понять. Она такая тактичная, моя Фаня. Она пишет мне, что дети должны продолжать образование, но расходы пугают ее. Послать маленького Морри в школу будет стоить тысячу долларов. Мо, конечно, получит стипендию. Но Морри — это настоящий маленький гений. Что поделаешь с ним? Я написал Фане, чтобы она не беспокоилась. Пошли его в школу — это то, что я написал. Что значит тысяча долларов? В этом году я заработаю больше, чем всегда. Мне ничего не жалко для Морри. Этот паренек — настоящий маленький гений.

Мне хотелось бы присутствовать, когда Фаня откроет сундук. “Посмотри, Фаня ... я купил это у старого еврея в Будапеште... Это носят в Болгарии... чистая шерсть. Это принадлежало какому-то великому князю; нет, нет, не сворачивай, это надо носить на солнце... А это, Фаня, я хочу, чтобы ты надела, когда мы пойдем в оперу, — вместе с гребенкой, которую я тебе показал... Ее выбирала Таня... У нее тот же тип лица, как и у тебя...”

А Фаня сидит на диване, как она сидит на олеографии. С одной стороны Мо, с другой — гений Морри. Ее толстые ноги не дотягиваются до пола. В ее глазах — тусклый блеск марганцевого калия. Груды — спелые кочаны красной капусты, они колышатся, когда она наклоняется вперед. Но печально то, что сока в ней нет. Она, как сухой гальванический элемент. Ее лицо — вне баланса. Ему нужно оживление, немного живой воды, чтобы оно опять вошло в фокус. Молдорф прыгает перед ней, как толстая жаба. Его тела дрожат. Он поскользывается, и ему трудно перевернуться на живот. Фаня трогает его своими толстыми пальцами ноги. Его глаза выпучиваются еще больше. “Пни меня, Фаня, это приятно”. Она дает ему хоро-

ший новый пинок, который оставляет постоянное углубление в его брюхе. Его лицо — на ковре, и узоры под ним морщатся. Он немного оживает и начинает прыгать с места на место. "Фаня, ты — душка!" Он сидит сейчас у нее на плече. Он кусает ей ухо, только самую мочку, там, где не больно. Но она мертва — гальваническая батарея без заряда. Он скатывается ей на колени и копошится там, как зубная боль. Он сейчас теплый и беспомощный. Его брюшко поблескивает, как кожа лакированного ботинка. В глазницах — две вычурные жилетные пуговицы. "Расстегни мне глаза, Фаня, я хочу тебя лучше видеть". Фаня несет его на кровать и какает горячий сургуч ему в глаза. Она кладет кольца вокруг его пупка и засовывает ему градусник в задний проход. Она кладет его опять, и он снова содрогается. Вдруг он высыхает и исчезает вообще. Она ищет его повсюду, даже в своих кишках. Повсюду. Что-то щекочет ее, но она не знает даже где. Кровать полна жабами и жилетными пуговицами. "Фаня, где ты?" Опять что-то щекочет ее, но она не знает что и где. Пуговицы сыплются с кровати. Жабы ползут по стенам. Щекотно Фане. "Фаня, вынь сургуч из моих глаз. Мне хочется посмотреть на тебя!" Но Фаня смеется, корчится от смеха. Что-то сидит внутри ее и щекочет ее. Она умирает от смеха, она умрет, если не найдет, что это такое. "Фаня, сундук полон чудных вещей. Фаня, ты слышишь?" Фаня смеется, как толстый червяк. Ее живот раздувается от смеха. Ее ноги синеют. "О Морис... что-то щекочет меня... Я не могу остановиться..."

* * *

Воскресенье! Я ушел из Виллы Боргези перед завтраком, как раз когда Борис садился за стол. Я ушел из-за чувства деликатности — Борису действительно неприятно есть и смотреть на меня, сидящего в ателье с пустым животом. Я не знаю, почему он не приглашает меня. Он говорит, что у него нет на это денег, но это не оправдание. Как бы то ни было, я стараюсь быть тактичным. Если ему тяжело есть в моем присутствии, ему, вероятно, будет еще тяжелее поделиться со мной. Я не хочу вникать в его внутренние дела.

Зашел к Кронштадтам, и они тоже ели. Молодую курицу с диким рисом. Я сделал вид, что я уже завтракал, хотя я мог бы выдрать цыпленка из рук их ребенка. Это не ложная скромность, а скорее какое-то изуверство с моей стороны. Они дважды предлагали мне садиться, но я отказался. Нет, нет и нет! Я даже отказался от чашки кофе. Я, видите ли, деликатен. Уходя я посмотрел на кости в тарелке ребенка. На них еще осталось мясо.

Брожу без смысла. Чудесный день пока что. Улица Бюси живет, вибрирует. Бары открыты настезь, и тротуары завалены велосипедами. Все овощные и мясные лавки открыты и торгуют полным ходом. Руки женщин гнутся от тяжести овощей, завернутых в газеты. Настоящее католическое воскресенье, по крайней мере, с утра.

В полдень я стою с пустым брюхом на перекрестке узеньких кривых улочек, от которых разит пищей. Против меня — отель "Луизиана". Старая гостиница, которая помнит плохие дни улицы Бюси в "старое доброе время". Отели и еда... а я брожу как прокаженный с крабами, копошащимися в моем желудке. По воскресеньям здесь настоящая лихорадка. Нигде в мире нет ничего подобного, за исключением, может быть, нью-йоркского Ист Сайда или площади Чатам. Де-ля-Эшод кипит народом. Улицы извиваются и за каждым поворотом новая толчея. Длинные хвосты людей с кульками под мышками и великолепным аппетитом в глазах. Кругом ничего, кроме пищи, пищи, пищи. Можно сойти с ума.

Перехожу площадь Фюрстенберг. В полдень она выглядит иначе, чем, когда я проходил здесь ночью, несколько дней тому назад. Тогда она была пустая, печальная, кладбищенская. Посередине площади — четыре дерева, которые еще не распустились. Интеллектуальные деревья, возвращенные булыжниками. Вроде стихов Т.О.Эллиота. Если бы Мари Лоренсин привела сюда своих лесбиянок, это было бы для них самое подходящее место. "Tres lesbienne ici". Бесплодное, бесполое место, засохшее, как сердце Бориса.

Возле церкви Сан Жермен, на земле в маленьком палисаднике,— несколько снятых с крыши гаргулей. Чудовища, пры-

гающие на вас с ужасающим напором. На скамейках тоже чудовища — старики, старухи, идиоты, калеки, эпилептики. Спокойно дремлют в ожидании обеденного звонка. Возле галереи Зак какой-то ублюдок нарисовал картину космоса на плоской панели. Типичный космос художника, полный мелочей, завитушек, чуши. В левом нижнем углу, однако, нарисованы якорь и обеденный звонок. Да здравствует космос — салют ему!

Продолжаю шататься. Послеполуденное время. Кишки хнычут. Начинает накрапывать. Нотр-Дам поднимается из воды, как надгробный памятник; чудовища высовываются над кружевным фасадом. Они висят там, как навязчивая идея в голове маньяка. Старик с желтыми волосами подходит ко мне. У него в голове какая-то дребедень. Он подходит с запрокинутой головой и грязно-золотистыми струями дождевой воды, текущими по лицу. Книжная лавка с рисунками Рауля Дюфи в витрине: поломойки с розами между ног. Книжонка философии Жан Миро. Ф и л о с о ф и и , не больше, не меньше!

В том же окне: "Человек, разрезанный на куски". Глава первая: "Человек, как его видит его семья". Глава вторая: "Он же через глаза своей любовницы". Третьей главы не видно. Надо прийти завтра за третьей и четвертой главами — каждый день букинист в окне переворачивает новую страницу. "Человек, разрезанный на куски..." Я расстроен, что я сам не додумался до такого названия. Кто этот писатель, который пишет: "Он же через глаза своей... и т. д." Кто он? Где он? Я хотел бы обнять его. Как мне хотелось бы быть человеком, выдумавшим такое заглавие, вместо "Сумасшедшего Петуха" и другой идиотской белиберды, которую я выдумываю. Неважно, — мать его растак..! Я все же его поздравляю.

Я желаю ему успеха с его названием. Я могу тебе дать еще кусок для твоей следующей книги. Позвони мне как-нибудь, я живу в Вилле Боргези. Мы там все умерли или скоро умрем. Нам нужны хорошие заглавия. Нам нужно мясо — бифштексы, отбивные котлеты, вырезки, почки, устрицы, потроха. Когда-нибудь, когда я буду стоять на углу Сорок второй

улицы и Бродвея, в Нью-Йорке, я вспомню твое заглавие. И я запишу все, что придет мне в голову: икру, капли дождя, мазут для осей, вермишель, ливерную колбасу, нарезанную пластиками. И я не скажу никому, почему я после того как я все это написал, пошел домой и разрезал младенца на кусочки.

Как человек может болтаться весь день с пустым животом и даже иногда с эрекцией? Это одна из тех мистерий, которые так легко объясняют так называемые "анатомисты души". В послеполуденный час, в воскресенье, когда пролетариат захватывает улицы в состоянии тупого безразличия, некоторые из этих улиц напоминают вам продольно-рассеченные детородные члены, зараженные шанкером. И это как раз эти улицы, как например, улица Сан-Дени или Фобур-дю-Темпль, которые особенно привлекают и тянут вас к себе. Я помню, как в старые дни в Нью-Йорке, около Юнион Сквер или в районе босяцкой улицы Баури, меня всегда привлекали десятикопеечные кунсткамеры, которые выставляли в окнах гипсовые репродукции различных органов, изъеденных венерическими болезнями. Город разбросан во все стороны, как огромный организм, зараженный повсюду, и более элегантные улицы выглядят немного более привлекательными только потому, что из них выкачали гной.

В Ситэ Нортъе, около площади Комба, я останавливаюсь на несколько минут, чтобы полностью охватить потрясающее убожество обстановки. Это — прямоугольный двор, какие можно часто видеть через подворотни в этих районах старого Парижа. Посередине двора — группа убогих построек, которые так прогнили, что уже завалились друг на друга в своего рода утробном объятии. Искривленная мостовая с плоскими камнями, покрытыми слизью. Своего рода человеческая свалка, пересыпанная углем и сухими отбросами. Солнце садится очень быстро. Цвета блекнут. Они переходят из пурпурного в кровяной, из перламутра в темно-коричневый, из мертвых серых тонов в цвет голубиного помета. Тут и там в окнах кривобокие уроды, хлопающие глазами, как совы. Детский визг маленьких ублюдков, с бледными лицами, измятыми родовспомогательными щипцами и рахитичными ногами. Кис-

лый запах струится от стен, запах заплесневевшего матраца. Европа — средневековая, уродливая, разложившаяся, симфония...

Это был воскресный день, очень похожий на тот, когда я встретился с Жермен. Я прогуливался по бульвару Бомарше, со ста франками в кармане, которые моя жена перевела мне по телеграфу из Америки. Запах весны был уже в воздухе; ядовитой, зловонной весны, которая, казалось, выползала из выгребных ям. Я любил приходить в этот район, меня привлекали сюда прокаженные улочки, которые раскрывали свое отвратительное великолепие только тогда, когда свет дня начинал угасать, и бляди начинали занимать свои места в подворотнях. Я особенно припоминаю улицу Пастер-Вагнер, на углу улицы Амело, которая прячется за большим бульваром, как спящая ящерица. Здесь, в горлышке бутылки, так сказать, вы могли всегда найти стаю стервятников, горланящих и бьющих своими грязными крыльями, которые норовили вонзить в вас свои острые когти и затянуть вас в подворотню. Веселые и хищные стервы, они даже не давали вам времени застегнуть штаны, когда вы кончали свое дело. Они затаскивали вас в комнатку прямо с улицы, обычно безоконную, садились на кровать, завернув юбку, делали вам молниеносный медицинский осмотр, потом плевали вам на член и заталкивали его куда полагается. Пока вы мылись, другая соблазнительница стояла в дверях, держа за руку своего клиента, и спокойно наблюдала, пока вы заканчивали ваш туалет.

Жермен не была такой, хотя с виду она ничем не отличалась от других шлюх, которые собирались по вечерам в Кафе-дел'Елефан. Как я уже сказал, стояла весна, и несколько франков, которые моя жена наскребла, чтобы послать мне, прожигали мне карман. У меня было предчувствие, что я не дойду до площади Бастилии без того, чтобы не попасться в лапы одной из этих блядей. Фланируя вдоль бульвара, я заметил ее, направляющуюся ко мне с обыкновенными манерами профессиональной бляды. Я заметил ее стоптанные каблукы, дешевые побрякушки на ней и тот особенный, мертвый цвет лица таких женщин, который только еще больше подчеркивается

румянами. Договориться с ней было нетрудно. Мы сели за задним столиком маленькой пивной и быстро сошлись в цене. Через пять минут мы были уже в пятифранковой комнатке на улице Амело, со спущенными шторами и отвороченным одеялом. Жермен не торопилась. Она сидела на биде, подмываясь с мылом, и болтала со мной на разные приятные темы. Ей нравились мои штаны для гольфа. "Очень шикарно", — повторяла она. Они были шикарными когда-то, но я проносил их сзади до дыр, — к счастью, фалды моего пиджака закрывали мою задницу. Когда она встала, чтобы обтереться, все еще приятно разговаривая, она внезапно отбросила полотенце и, подходя ко мне, начала гладить свою манду самым ласковым образом, разглаживая ее, как драгоценную парчу. Было что-то незабываемое в ее красноречивых движениях, когда она приблизилась к моему носу. Она говорила о нем, как о чем-то прекрасном и постороннем, о чем-то, что она приобрела за большую цену и что возросло в цене с тех пор во много раз, и что она ценила сейчас больше всего на свете. Ее слова придавали всему этому особый аромат, и казалось, что это уже не был просто ее половой орган, а какое-то сокровище, магически созданное и данное Богом, — и несколько не обесцененное тем обстоятельством, что она продавала его каждый день много раз за несколько серебряников. Когда она легла на кровать, широко расставив ноги, она обняла его обеими руками, лаская и глядя, и все время приговаривая своим надтреснутым хриплым голосом, что это — прелестная вещь, настоящее маленькое сокровище. И действительно это и оказалось таким. В этот послеполуденный воскресный час все шло, как по маслу. Когда мы вышли на улицу, и я посмотрел на нее при резком солнечном свете, я увидел, что она выглядела как простая проститутка — золотые зубы, герань на шляпе, стоптанные каблукы и т.д. и т.д. Но почему-то меня не возмутило то, что она вымотала с меня обед, сигареты и деньги на такси; я даже поощрял все это. Она мне так понравилась, что после обеда мы опять пошли в тот же отель и попробовали это еще раз. На этот раз — "по любви". И опять эта большая пушистая манда произвела на меня магическое впечатление.

Для меня она тоже стала вдруг чем-то самостоятельным. Тут была Жермен, и тут был ее розовый куст. Мне они нравились по отдельности, и мне они нравились вместе.

Как я сказал уже, Жермен не была похожа на других. Когда позже она узнала мои стесненные обстоятельства, она вела себя самым благородным образом, — покупала мне вино, давала мне кредит, закладывала мои вещи, знакомила меня со своими подругами и так далее. Она даже извинялась за то, что не могла давать мне деньги, и я понял причину этого, когда мне показали ее сутенера. Каждую ночь я приходил в маленькую пивную, где все они собирались, и ждал там, когда придет Жермен, чтобы уделить мне несколько минут своего драгоценного времени.

Когда некоторое время спустя я писал о Клод, это не было о Клод, — я думал в действительности о Жермен. "Все мужчины, которые были с тобой до меня, а сейчас — я, только я... Баржи, плывущие мимо с их корпусами и мачтами, и весь поток человеческой жизни, текущей через тебя и через меня, и цветы, и птицы в воздухе, и солнце, и аромат, который душит и уничтожает меня..." Это было написано о Жермен. Клод была иной, хотя я и был привязан к ней и даже думал некоторое время, что я люблю ее. У Клод были сердце и совесть, у нее был внешний лоск, что для бляди не хорошо. Клод приносила с собой чувство грусти, она давала вам понять, без желания это сделать, что вы были один из тех, которые были посланы судьбой, чтобы погубить ее. Я повторяю, что она делала это невольно, потому что она никогда не позволила бы сознательно создать это впечатление. Она была слишком утонченной, слишком чуткой для этого. В своей основе Клод была обыкновенной французской девушкой со средним воспитанием и умом, с которой жизнь каким-то образом сыграла злую шутку. Она не была внутри достаточно грубой, чтобы успешно отстаивать себя против ударов каждодневной жизни. Это о ней были сказаны ужасные слова Луи-Филиппа: "И тогда наступает ночь, когда все кончено, когда столько уже челюстей работало над нами, что мы не можем больше стоять на ногах, и наше тело висит на костях, как бы изжеванное всеми

зубами мира". Жермен же, напротив, была блядью с пеленок. Она была совершенно удовлетворена своей ролью в жизни, и ей она даже нравилась за исключением тех моментов, когда у нее подводило живот или разваливались ботинки, но это были лишь маленькие, чисто внешние неприятности, которые не затрагивали ее душу и не мучили ее. С к у к а ! Это было самое тяжелое из ее переживаний. Были, конечно, дни, когда все приедалось ей, так сказать, по горло, но не более этого. Вообще она делала свое дело с удовольствием или создавала это впечатление. Конечно, ей было не безразлично с кем она шла в кровать и с кем спускала. Но главное для нее было просто с а м е ц . Мужчина! Это то, к чему она стремилась. К мужчине, у которого между ногами было что-то, что могло ее пощекотать, что заставляло ее стонать в экстазе, брать свой пушистый женский орган обеими руками и потирать его с радостью и хвастливой гордостью, с чувством принадлежности к живому потоку бытия. Это было место, в котором у нее была жизнь, место, которое она обхватывала обеими руками.

Жермен была блядью насквозь, включая даже ее доброе сердце, настоящее блядское сердце, скорее даже не доброе, а просто ленивое, безразличное, рыхлое сердце, которое можно было затронуть на минуту не нарушая его спокойствия; большое и мягкое сердце проститутки, способное быть добрым, не теряя своей закоренелости. Как бы ни была безрадостна, безобразна и ограничена обстановка, которую она для себя создала, она оперировала в ней прекрасно. И это было приятно видеть. Когда, после того как мы познакомились поближе, ее подруги подтрунивали надо мной, говоря, что я влюблен в нее (положение, которое для них казалось невероятным), я отвечал: "Конечно, я влюблен в нее и я буду верным ей всегда!" Конечно, это была ложь, потому что для меня любить Жермен было бы все равно, как влюбиться в паука, и если я и был верен, то не ей, а той пушистой штуковине, которую она носила между ногами. Когда я смотрел на женщину, я всегда вспоминал Жермен и ее пламенный куст, который она оставила в моей памяти неизгладимо. Мне доставляло удовольствие сидеть на террасе маленькой пивной и наблюдать за тем, как она ра-

ботала, с теми же гримасами и трюками, которые она употребляла со мной. "Она делает свое дело!" — это то, что я думал тогда, наблюдая ее маневры с одобрителем интересом.

Несколько позже, когда я связался с Клод и видел ее каждый вечер сидящей чинно за стойкой, с ее юбочкой, пикантно облегающей ее круглое заднее место, во мне просыпалось чувство протеста, — мне казалось, что блядь не имеет право сидеть как приличная дама, и ожидать, пока кто-нибудь не подойдет к ней, и пить шоколад. Жермен делала не так. Она не ждала, пока к ней подойдут, а бежала за мужчинами и хватала их. Я хорошо помню ее дырявые чулки и разбитые ботинки, когда она забегала в пивную и, стоя за стойкой, быстро и точно забрасывала себе в желудок стакан крепкого алкоголя и потом выбегала опять. Настоящая труженица! Может быть, не было особенно приятно нюхать ее дыхание со смесью жидкого кофе, коньяка, Перно и других алкогольных зелий, которые она поглощала в перерывах между клиентами, чтобы согреться и набраться храбрости, но они наполняли ее огнем, который мерцал между ее ног, — там, где женщина должна гореть, и давал вам чувство связи с землей, когда вы опять находили почву под ногами. Когда она лежала на кровати с открытыми ногами и стонала от страсти — даже если она делала это для каждого встречного и поперечного, — это было правильно и профессионально. Она не смотрела на потолок и не считала клопов на обоях; она честно делала свое дело и говорила только о вещах, которые мужчина хочет слышать, когда он взбирается на женщину. В то время как Клод... в Клод была всегда известная застенчивость, даже когда она лежала с вами под простыней. И эта застенчивость обижала. Кому нужна застенчивая блядь? Клод даже просила вас отвернуться, когда она садилась на бидэ. Абсолютно неправильно! Мужчина, горящий от страсти, хочет видеть вещи, видеть все, даже как женщины мочатся. Может быть, и приятно знать, что женщина умна, но литература, исходящая из холодного тела бляди, это не то блюдо, которое надо подавать в кровати. У Жермен была правильная идея, — она была невежественна и похотлива, она

отдавалась своему делу с душой и сердцем. Она была блядью до мозга костей, и в этом было ее достоинство.

* * *

Когда я хожу по Елисейским Полям, мысли катятся с меня, как пот. Мне следовало бы быть достаточно богатым, чтобы нанять секретаршу, которой я мог бы диктовать во время прогулок, так как лучшие мысли приходят мне, когда я не сижу за машинкой.

Бродя по Елисейским Полям сейчас, я думаю о своем действительно замечательном здоровье. Когда я говорю "здоровье", я имею в виду оптимизм, по правде сказать. Неизлечимый оптимизм, я одной ногой все еще в девятнадцатом столетии: как большинство американцев, я немного отстал. Карл находит мой оптимизм отвратительным. "Только стоит мне заговорить о еде, как ты уже сияешь", — говорит он. Это правда. Одна только мысль о еде омолаживает меня. Еда! Это означает, что у меня появится топливо на несколько часов работы, а, может быть, хватит даже и на эрекцию. Я этого не отрицаю. Я здоров, у меня хорошее, солидное, животное здоровье. Единственно, что стоит между мною и моим будущим, — это поесть, а потом поесть еще раз.

Говоря о Карле, — он последнее время сам не свой. Он расстроен, и его нервы развинчены. Он говорит, что он болен, и я верю ему, но это меня не трогает.

Я не умею расстраиваться. Мне это даже смешно. И это его, конечно, обижает. Все обижает его во мне: мой смех, мой голод, моя настойчивость, моя беззаботность — все решительно! Один день он готов пустить пулю в лоб, потому что он не может больше вынести этой "вшивой дыры" под названием Европа, но на следующий день он говорит, что хочет вернуться в Аризону, "где люди смотрят вам прямо в глаза".

"Чудно! — говорю я. — Делай одно и другое, только не затуманивай мои здоровые глаза своим меланхолическим дыханием"

Но в этом-то и горе: в Европе привыкаешь ничего не делать.

Сидишь на жопе целый день и скулишь. Заражаешься бездельем и начинаешь гнить.

Если посмотреть правде в глаза, Карл — сноб, аристократический маленький мудака, который живет в своем собственном неврастеническом мире. "Я ненавижу Париж.. — скулит он. — Все эти кретины, играющие целый день в карты..., только посмотри на них! А потом — писание. Какой смысл наворачивать одно слово на другое? Я могу быть писателем и не писать — не так ли? Что я докажу, если напишу книгу? На какой черт нам книги, — в мире уже слишком много книг..."

Боже ты мой, я сам прошел все это много, много лет тому назад. Я изжил уже свою юношескую меланхолию. Мне глубоко насрать и на мое прошлое и на будущее. Я здоров. Неизлечимо здоров. Ни печалей, ни сожалений. Ни прошлого, ни будущего. Для меня довольно настоящего. День за днем. Сегодня. Как французы говорят, "прекрасное сегодня".

У Карла только один свободный день в неделю, и в этот день, как вы можете это хорошо представить, он еще более несчастен, чем всегда. Хоть он и уверяет, что он презирает пищу, единственное удовольствие, которое он получает в свой выходной день, — это жрать. Может быть, он делает это для меня, я не знаю и не спрашиваю. Если к реестру всех своих недостатков он хочет прибавить еще и мученичество, это его дело. В прошлый вторник, например, выбросив все, что у него было, на огромный обед, он повел меня еще в кафе "Дом" — последнее место в мире, в которое я бы пошел в свой свободный день. Но здесь ты становишься не только покорным, но и бесхарактерным.

В кафе "Дом" у бара стоит Марлоу, вдребезги пьяный. Он уже в загуле", как он говорит, пять дней. Его "загул" означает беспробудное пьянство с бесконечным переползанием из бара в бар, день и ночь, и наконец, последняя пристань — Американский госпиталь. Изможденное и костлявое лицо Марлоу, это — голый череп с двумя глубоко пробитыми дырами, в которых похоронены две дохлые улитки. Его спина покрыта опилками — он только что вздремнул в сортире. В его кармане корректура его последнего журнала — очевидно, он был по пути в типографию, когда кто-то соблазнил его хватить стаканчик. Он говорит об этом, как будто это случилось месяцы назад. Он вынимает коррек-

турные листы и раскладывает их на прилавке — они покрыты старыми кофейными пятнами и сухой слюной. Он старается прочесть стихи, которые он написал по-гречески, но корректуру нельзя разобрать. Тогда он решает произнести речь по-французски, но управляющий быстро кладет этому конец. Марлоу обижен; его главная амбиция — это говорить по-французски так, чтобы его понял каждый лакей. Он — настоящий эксперт по древнефранцузскому языку, он великолепно переводит французских сюрреалистов, но сказать простую фразу, вроде "пошел вон отсюда, старый мудака", — это не в его силах. Никто не понимает Марлоу, когда он говорит по-французски, даже бляди. По правде сказать, его трудно понять и по-английски, когда он в таком состоянии. Он бормочет и пускает пузыри... никакой связи между мыслями. Единственное, что он произносит абсолютно чисто, это — "вам платить".

Даже когда он допивается до ручки, его врожденный инстинкт самосохранения не оставляет его. Если у него есть хоть малейшее сомнение насчет того, кто будет платить по счету, он начинает выкидывать номера. Обычно он начинает утверждать, что он слепнет. Сейчас Карл уже знает все его фокусы и, когда Марлоу вдруг зажимает виски и начинает стонать, Карл дает ему пинок под задницу и говорит: "Брось валять дурака... Со мной этого нечего делать, болван!"

Я не знаю, была ли это задуманная месть или нет, но Марлоу отплачивает Карлу чистой монетой. Наклонившись к Карлу конфиденциально, он начинает передавать ему сплетню, которую он подхватил где-то во время своего кругосветного путешествия по кабакам. Карл смотрит на него с удивлением. Он бледнеет под жабрами. Марлоу повторяет то же самое, с вариациями. С каждым пересказом Карл увядает все больше. "Этого не может быть!" — взывает Карл. "Очень даже может..." — хрипит Марлоу. "Тебя скоро выгонят с работы... я это узнал из верных источников..." Карл смотрит на меня в отчаянии. "Ты думаешь, что старый сукин сын мудит?" — шепчет он мне на ухо, а потом начинает завывать полным голосом: "Что же я теперь буду делать? Я никогда не найду другого места... У меня взяло целый год получить это!"

По-видимому, это все, что надо было Марлоу. Наконец, он нашел кого-то в еще худшем положении, чем он. "Да, придется туговато...", — хрипит он, и его костлявый череп начинает светиться холодным электрическим светом.

Уходя из кафе "Дом", Марлоу старается объяснить нам, вперемежку с икотой, что ему надо вернуться в Сан-Франциско. Его, по-видимому, по-настоящему беспокоит положение Карла. Он предлагает мне и Карлу взять на нас журнал, пока он в отъезде. "Я могу положиться на тебя, Карл..." — говорит он, и вдруг у него начинается, на этот раз, самый настоящий припадок. Он чуть не падает в канаву. Мы тащим его в бар на бульваре Эдгар-Кине и стараемся посадить его на стул. На этот раз его действительно хряснуло, — дикая головная боль, от которой он начинает визжать и мычать, качаясь из стороны в сторону, как скотина, которую хватили кувалдой по голове. Мы вливаем в его глотку две "Фернет-Бранка" и укладываем его на скамье, покрывая его лицо кашне. Он лежит и стонет. Через несколько минут он начинает храпеть.

"Как насчет его предложения? — спрашивает Карл. — Стоит браться? Он говорит, что даст мне тысячу франков, когда вернется. Я знаю, что он врет, а все-таки, а?" Он смотрит на лежащего Марлоу, приподнимает кашне с его глаз и опять опускает его. Внезапно на его лице появляется хитрая улыбка.

— Послушай, Джо, — говорит он, подманивая меня пальцем ближе к себе. — Мы возьмемся за это. Мы возьмем его паршивый журнал и выедем его как следует.

— Каким это образом?

— Мы выкинем вон всех сотрудников и наполним журнал нашим собственным говном. Понял?

— Хорошо... но каким говном?

— Каким угодно. Он не сможет ничего по этому поводу сделать. Мы его уедем. Один хороший выпуск, а потом журналу будет конец. По рукам, Джо?

Улыбаясь и хихикая, мы поднимаем Марлоу и тащим его в комнату Карла. Когда мы зажигаем свет, мы видим, что в постели Карла женщина, поджидающая его. "Я забыл про нее",

— говорит Карл. Мы выкидываем ее вон и укладываем Марлоу. Через несколько минут стук в дверь. Это Ван Норден. Он в страшном возбуждении — потерял свои искусственные зубы; он думает, что в кафе-шантане "Баль Негр". Как бы то ни было, мы все вчетвером заваливаемся на одну кровать. От Марлоу разит, как от копченой воблы.

Утром Марлоу и Ван Норден уходят искать потерянные искусственные зубы. Марлоу что-то бормочет. Он думает, что это он потерял зубы.

ГЕНРИ МИЛЛЕР И РУССКИЕ НА ЗАПАДЕ

О русской версии романа

Среди героев "Тропика рака" мы видим многих русских людей, — парижан, эмигрировавших после революции из России. Поэтому не будем удивляться той бурной реакции, с которой они встретили роман Генри Миллера.

В свое время князь Степан Татищев прислал мне статью своего отца, из которой выяснялось, что первым из русских в Париже, обратившим внимание на Миллера, был Николай Бердяев — он почувствовал в нем созвучие с "Философией неравенства". "Едва ли существуют две другие книги, — писал Георгий Адамович, — о которых сейчас было бы больше толков и споров, чем о романах Генри Миллера "Тропик Рака" и "Тропик Козерога". По крайней мере, во Франции и не только среди французов, но и среди русских, живущих во Франции, в частности в здешней русской „культурной верхушке"... В основе этих книг лежит мечта о свободе, да и не только мечта, а чувство свободы, осуществление свободы, — свободы от всего решительно, главным образом от истории и исторической необходимости. Не будь Миллер плоть от плоти доведенной монпарнасской богемы, не будь он безумцем знакомого книжно-художественного толка, с цитатами из Андре Бретона и переходами из „Дома" в „Куполь", его сви-

детельство, его бунт против того, на чем держится строй и порядок жизни, был бы, конечно, богаче и глубже". И далее: "В сущности это бесконечный, непрерывный поток воспоминаний, замечаний, мыслей, сцен, образов, — будто автор страдает каким-то мозговым недержанием и пишет для облегчения. "Я человек сложный, небрежный, смелый, пылкий, непристойный, шумный, вдумчивый, совестливый, и я дьявольски искренен", — говорит Миллер о самом себе".

На одном из собраний "Зеленой лампы", посвященном книге Г.Иванова "Распад атома", разгорелась дискуссия о романе Миллера. Голоса тогда разделились: некоторые, как сам Георгий Иванов и Дмитрий Мережковский, были в восторге, другие выступили против, утверждая, что это типичная порнография. (К слову скажем, что в советском литературоведении иначе, как порнографией, "Тропик Рака" не называют.)

На русском языке "Тропик Рака" впервые был издан в 1964 г. тиражом 200 экземпляров. Это издание, по просьбе Генри Миллера, предпринял Барни Россет — в память о русских героях "Тропика Рака".

В 1965 г. Россет, набивши чемодан "русскими книгами" Миллера, повез их в Москву, но на таможне их отобрали. Остальная часть тиража сгорела в Нью-Йорке. В результате в мире осталось не более двадцати экземпляров, которые продаются на аукционах как библиографическая редкость.

По подсчетам, которые как-то ради интереса мы сделали с Вагричем Бахчаняном, в Москве было всего три экземпляра романа, обладателем одного из них был я.

Напечатанный в журнале перевод "Тропика Рака", который, возможно, покажется читателям абсолютно современным, на самом деле был сделан в 1962 г. Его автор — эмигрант Георгий (Джордж) Егоров — человек замечательно интересной судьбы. Он появился в Нью-Йорке вскоре после войны, учился в Нью-йоркском университете, был дружен со многими из будущих звезд Голливуда, с которыми виделся в „Рашен ти рум“ — излюбленном месте встреч русских эмигрантов. Были среди его тогдашних друзей молодые Юл Бриннер и Чарлз Бронсон, которые и увезли его в Голливуд. Там

Егоров писал русские диалоги для американских фильмов и изредка в этих фильмах даже снимался.

Далее следы Джорджа Егорова теряются, по-видимому, он сменил фамилию и, как многие русские тех лет, растворился в американском обществе.

Можно сказать, что Генри Миллер оказал немалое влияние на некоторых современных писателей-эмигрантов. Можно сказать даже больше, чем влияние. Но это уже отдельная тема, которая уведет нас слишком далеко за рамки этой заметки.

Г. Поляк

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ЛИБЕРТИ”
ИЗДАТЕЛЬСТВО „СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК”

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ВЫХОДИТ ОДНА ИЗ САМЫХ
СКАНДАЛЬНЫХ КНИГ XX ВЕКА:

ГЕНРИ МИЛЛЕР
„ТРОПИК РАКА”

Предисловие для русского издания Нормана Мейлера
Объем книги — 330 с. Цена — 15.95

Роман Миллера, написанный в 30-е годы, передает атмосферу эмигрантской богемы в Париже. Миллер не боится касаться так называемых запретных тем, подробно описывая сексуальную жизнь своих героев. В этом смысле „Тропик рака” — книга эротическая. Не случайно она была запрещена в Америке и впервые вышла во Франции.

Роман Миллера оказал огромное влияние на всех крупнейших писателей Америки от Фолкнера до Апдайка. „Тропик рака” до сих пор остается школой для писателей, касающихся эротической темы в своем творчестве. И русские писатели-эмигранты не составляют здесь исключения.



Заказы направляйте по адресу:
LIBERTY PUBLISHING HOUSE
475 Fifth ave, suite 511
New York, N.Y. 10017-6220
Tel. (212)213-2126



Давид ФРИДМАН

МЕНДЕЛЬ МАРАНЦ

В этом номере мы предлагаем вниманию читателей окончание романа Давида Фридмана "Мендель Маранц", посвященного жизни еврейских иммигрантов Нью-Йорка в начале 20-х годов и, в отличие от "Кровавой шутки" Шолома Алейхема, названного Давидом Шубом "Бескровной шуткой" Давида Фридмана.

Итак, Мендель Маранц, обитатель беднейшей улицы Питт на Ист-Сайде в Нью-Йорке, острослов и неудачливый изобретатель, презираемый женой Зельдой за лень и нежелание кормить семью, — неожиданно выбивается в люди. Он создает домашний чудо-комбайн, выгодно продает его, становится баснословно богатым, но не отказывается от своих чудачеств. Мендель отвергает настояния жены, дочери и зятя, агента по продаже домов Бернарда Шнапса, перебраться в богатый район Нью-Йорка и остается в своем старом рабочем доме на улице Питт. Он решает перестроить его в особняк для миллионеров, выходцев с улицы Питт и скучающих по старой жизни. Зельда и ее брат Бернард Шнапс пытаются выдать дочь Менделя за сына финансиста Гассенхейма они втайне готовят побег жениха и невесты из дома. Но мистификация разоблачена, свадьба срывается. По мнению Зельды, как всегда, во всем виноват Мендель, а он несколько не озабочен, в его голове новые планы и хитроумные комбинации, он верен себе, не способен ни слова сказать серьезно.

Окончание. Начало в 94-м номере.

ЖИЗНЬ-ЛЮБОВЬ

В представлении Сарры "любовь" и "мужчина" всегда были синонимами.

— И что это за идея такая — просидеть всю жизнь в ожидании жениха! — сказала она матери. — А если он совсем не придет, что тогда придется делать?

— Пригласить сваху! — сказала Зельда. — что мы делаем, когда кто-нибудь заболевает? Приглашаем доктора.

Мендель рассмеялся и, обращаясь к дочери, сказал:

— Видишь, Сарра, твоя мать ничему не научилась на твоём опыте с Оскаром Гассенхеймом. Что такое опыт? Будильник. Он должен прозвонить два раза, прежде чем ты его услышишь.

— Не беспокойся! — заявила Зельда, размахивая учебником биологии, которую изучала Сарра. — Я научилась многому. Вместо мужа ты даешь ей вот это — обезьян! Ты хочешь, чтоб Сарра осталась старой девой, сидела с тобой по целым дням и слушала твои сумасшедшие бредни. Теперь, когда мы разбогатели, ты хочешь, чтоб она потела в университете. Посмотри на Сэди Крац, дочь мясника, что она умеет делать? Целый день жуёт тянучки, а вышла замуж за доктора! А восемь дочек Морица Фесселя? Все замужем за зубными врачами. Почему же Сарра должна работать?

— Что такое работа? Морское путешествие. Что такое жизнь? Универсальный магазин. В нем каждый может найти что-нибудь для себя.

— Быть счастливой без мужа? — воскликнула Зельда.

Мендель грустно посмотрел на нее.

— Ты думаешь, Сарра должна поймать себе мужа крючком? Что такое жених? Покупатель. Ему не нравится, когда его тащат насильно. Сарра ходит в университет не за женихами.

— А почему нет? — спросила Зельда. — Я знаю многих девиц, которые так делают. Какая разница? Если ты не хочешь, чтоб она нашла себе мужа в обществе, пусть она находит его в библиотеке. Сарра уже сошла с ума из-за тебя, — продолжала она — А тебе, мистер Маранц, только скажу два слова! Ты дума-

ешь, что лучшее в браке — это не вступать в брак; и если девушке нужен муж, то она должна заниматься арифметикой. Это твое новое изобретение, а? Так возьми патент на него, и тогда старые девы обогатят тебя. Только помни, если Сарра останется старой девой, ты останешься холостяком.

И с демонстративным спокойствием она ушла к себе в комнату.

Когда к ней пришел Бернард Шнапс, он застал ее в слезах. Она рассказала ему о новом патенте Менделя на любовь, и он утешал ее.

— Зельда, сестрица, я такой человек — я не люблю иметь дело с сумасшедшими. Всякий раз, когда Мендель затевает какое-нибудь дело, я умываю руки.

— Бернард, ты должен спасти ее! — умоляла Зельда, хватая его за руку, с внезапной надеждой в глазах. — Я не отпущу тебя, пока ты не спасешь ее. Ты должен взять ее из университета, Бернард. Пойди к профессору и скажи, что она должна выходить замуж! Сделай что-нибудь, Бернард, пока она еще не совсем затерялась среди книг!

— Глупости! — быстро перебил ее Бернард, боясь, что она опять разразится слезами. — В конце концов, Сарра — просто дитя. Она точь в точь, как я, — она любит книги. Ты знаешь меня, Зельда, — когда я вижу книгу, меня трудно удержать. Я сейчас же должен знать, сколько она стоит.

— Бернард, прошу тебя — помоги мне, помоги!

Бернард встал и решительно одернул полы своей жилетки. Он прекрасно сознавал, какое ответственное дело поручила ему Зельда.

— Зельда, — начал он важно, — я такой человек — я люблю попробовать! Скажи мне, что ты от меня хочешь, и ты увидишь, как я все обделаю.

— Для себя — ничего, — осторожно сказала Зельда. — Я прошу тебя помочь Сарре. Ты знаешь, Бернард, у меня есть свои деньги. На что они мне? Если ты сможешь ей, я отдам их тебе...

Бернард энергично прервал ее.

— Зельда, не говори мне о деньгах. Я не люблю такой раз-

говор. А немедленно бросаю все свои дела, свою семью и буду работать только для тебя.

Зельда была так обрадована, что хотела обнять его. Но Бернард, слегка отталкивая ее, сказал:

— Но помни, Зельда, одну вещь. Я побожился, что там, где будет Мендель, не будет меня. Поэтому ты не должна подпускать ко мне Менделя. Было бы хорошо послать его куда-нибудь на отдых.

Эта мысль пришла ему на ум внезапно и страшно обрадовала его.

— Ой! Это было бы замечательно! — воскликнул он, довольный собой. — Тогда мы найдем Сарре жениха, сразу выдадим ее замуж, и когда Мендель вернется из больницы, то-есть я хочу сказать, с курорта, у нас уже все будет обделано.

— Ой, Бернард! Ты почти так же умеешь строить планы, как и Мендель.

Лицо Бернарда расплылось в улыбку.

— Не беспокойся, Зельда. Я тридцать четыре года занимаюсь маклерством. Ты меня только что позвала, а у меня уже готово предложение № 1. Я такой человек — я не люблю много разговаривать. У меня уже есть один жених. Адвокат! Он и красивый, и смирный, и умеет петь. Я и позабыл сказать тебе, что он поет. Он поет, как... ну, как называется вот та жестяная птичка, которую ты наполняешь водой, — и она потом свистит так красиво? Вот и он так поет! Он такой певец! Он даже не говорит, а только поет.

— Но ты, кажется, сказал, что он адвокат? — в недоумении спросила Зельда.

— Он — все! — воскликнул Бернард. — Он и адвокат, и певец, и гений! Зельда, я ручаюсь, что как только Сарра увидит его, она сойдет с ума. И еще я забыл сказать тебе главное. Он такой здоровяк — высокий, как потолок, крепкий, как дом, а руки у него, как колонны. Я могу побожиться, что он кулачный боец,

— Но ты сказал мне, что он поет, как девушка! — сказала Зельда, все более настораживаясь.

— Я сказал тебе, что он умеет все! — воскликнул Бернард.

Разве ты не понимаешь, Зельда, что значит "все".

Зельда кротко кивнула головой, а Бернард продолжал:

Если ты адвокат, но похож на кулачного бойца, то это же хорошо при сношениях с клиентами.

— Но я не хочу, чтобы в нашей семье были драки.

Глупая женщина! Если в семье будет кулачный боец, то кто же захочет драться?

Однако, видя нерешительность на лице Зельды, он изменил курс.

— Да при том он только выглядит силачом. А на самом деле я могу сбить его с ног одним щелчком, Зельда, не беспокойся. Я такой человек — я люблю братья за дело.

ЗЕЛЬДА СОВЕЩАЕТСЯ С ПРОФЕССОРОМ

"Что такое, в самом деле, Бернард в брачных делах? — рассуждала Зельда. — Он только любитель. А мне нужен настоящий профессор".

И она решила посоветоваться с Натаном Надельсоном, профессиональным сватом.

Это был высокий, худой, жилистый человек, степенный, медлительный и косой. Он удобно уселся в кресле, сложил руки на коленях и приготовился слушать.

— Ой, мистер Надельсон! — начала Зельда, наливая ему чашку чая. — У меня столько хлопот с моей Саррой. Она ищет любви, а я ищу ей жениха. Может быть, вы можете помочь мне в этом деле?

— Га? — сказал Надельсон, наклоняясь вперед.

— Вы разве плохо слышите? — вскричала Зельда ему на ухо.

— Я не глухой! — в свою очередь вскричал Надельсон. — У меня это просто привычка.

— В таком случае, извините, что я закричала на вас, — сказала Зельда.

Га? — спросил Надельсон.

"Еще один сумасшедший на мою голову", — устало подумала Зельда.

— Моя Сарра — милая девушка, — начала она опять не гром-

ко и не тихо, — но она меня, как видно, скоро сведет в могилу.

Надельсон сочувственно покачал головой.

— Вы напоминаете мне курицу, которая снесла золотое яйцо, — сказал он. — Ее хозяин решил, что внутри у нее — золото, и зарезал ее. Из этого вы можете видеть, что золотое яйцо всегда сводит курицу в могилу.

— Мне все равно! — сказал Зельда с гордостью. — Сарра — моя дочь. Я должна принять меры, пока не поздно.

— Ваша дочь напоминает мне корову, которую я знал когда-то и которая давала золотое молоко. Ее хозяин решил, что внутри у нее золотые россыпи, и зарезал ее.

— Но ведь это то же самое, что с курицей! — воскликнула Зельда.

— Нет, не то же самое. Это указывает, — торжественно сказал Надельсон, — что то, что случилось с курицей, может случиться и с коровой. Если вам удалось выйти замуж, то значит и Сарре удастся.

"Фу! Какие сравнения! — пробормотала про себя Зельда. — Мне не нравилось, когда он молчал и только говорил "га?", но мне еще больше не нравится, когда он начинает говорить".

— Ну, а как все-таки — есть у вас сейчас жених или нет? — озабоченно спросила она.

— Га? — сказал Надельсон, вскакивая с кресла.

"Нет, все-таки хуже, когда он не разговаривает", — решила наконец Зельда.

— Послушайте, мистер Надельсон, вы или разговаривайте, или нет, или слушайте, или нет. А так, я совсем теряюсь.

— Не обращайтесь внимания! — сказал Надельсон, — это такая привычка. А для Сарры у меня уже есть жених — зубной врач!

— Зубной врач! — воскликнула Зельда, воодушевляясь. Но она вспомнила об адвокате Бернарда, который знает все, и спросила:

— А скажите мне, ваш зубной врач знает все?

— Га?

— Я говорю, знает ли ваш зубной врач все? — закричала Зельда во все горло.

— Он ничего не знает! — закричал в ответ Иадельсон. — Что с вами, вы глухая?

— Может быть, я глухая, — сказала Зельда, — но вы сумасшедший. Вы спите, когда я разговариваю, и просыпаетесь, когда я кончаю.

— Это у меня такая привычка...

Простите, мистер Надельсон, но я больше не могу. — Однако ей не хотелось отпускать его. — Скажите мне, мистер Надельсон, — спросила она со страхом в сердце, — ваш зубной врач поет?

— Зачем он должен петь? Что он вам — кантор? Он немножко кричит, но это ничего! Он, как та собака, которую я знал когда-то и у которой был золотой лай.

— Скажите мне еще вот что, — прервала его Зельда. — Может быть, он высокий, как дом, и может быть, любит драться, как кулачный боец, надевши рукавицы?

— Кто высокий? Кто дерется? Какие рукавицы? Какой дом? — вскричал Надельсон, смущенный и обиженный. — Он совсем маленький человек — ничтожество. Я могу спрятать его в карман.

У нее кружилась голова от всей этой суеты и хлопот. А тут еще в комнату вошел Мендель.

Она быстро подала знак рукой Надельсону и прошептала:

— Ш-ш-ш! Мой муж не должен ничего знать!

— Га? — спросил Надельсон, глядя на нее рассеянным взглядом и продолжая описывать зубного врача.

— Мендель, — воскликнула она с напускной веселостью, — познакомься с мистером Надельсоном. Страховой агент.

— Сват! — поправил ее Надельсон со злостью.

Мендель нахмурил лоб.

— Что такое сват?.. — начал он, строго глядя на Зельду.

Надельсон посмотрел на него с сожалением.

— Ай, Мендель? — вздохнул он, принимая покровительственный тон, — вы напоминаете мне осла, у которого были золотые уши. Но его хозяин думал, что внутри у него золотые россыпи, и зарезал его. Это указывает, что, если вы осел, то будь вы в золоте по уши, это все равно не послужит вам на пользу.

— Послушайте, мистер Надельсон, — сказал Мендель спокойно, — мне хотелось бы, чтобы вы не прерывали меня, когда я начинаю говорить.

— Га? — рассеянно бросил Надельсон.

— Кого ты привела к нам в дом? — повернулся Мендель к Зельде. Но Надельсон, презрительно посмотрев на него, сказал:

— Мендель, вы напоминаете мне...

— А вы, мистер Надельсон, напоминаете мне граммофон, который я знал когда-то, — подхватил Мендель, — и который мог играть только на одной пластинке. И тогда хозяин, боясь сойти с ума, разбил его.

В этот момент в комнату неожиданно влетел Бернард, но, увидев Менделя, тотчас повернул назад. Зельда задержала его.

— Я думал, он уже давно уехал на курорт, — сказал Бернард, с упреком глядя на нее. — Ты, как видно, совсем забыла.

Увидев конкурента в брачном деле, он пришел в неистовство.

— Что-о! — заревел он, — так вот ты как доверяешь мне.

Надельсон попытался успокоить своего соперника.

— Бернард, — начал он, — вы мне напоминаете собаку, которую я знал когда-то...

— Послушайте, мистер Надельсон, — прервал его Бернард, — вы не должны называть меня ни "профессор" или "доктор", а только "мистер".

— Га? — удивленно спросил Надельсон.

Бернард набросился на него.

— Мистер Надельсон, вы напоминаете мне одного чудака, которого я знал когда-то... Тьфу! Я уже начинаю говорить, как вы! Вам нужно быть партнером Соломона Гассенхейма, банкира. Как только я начинаю говорить, он начинает кашлять, пока я не оглохну, а вы все время повторяете "га", — пока я не онемею. Вместе вы всякого делали бы глухим и немым, и у вас хорошо бы шли дела.

Затем он набросился на Зельду.

— А тебя я должен предупредить, если Сарра хочет выйти

замуж, то только за моего адвоката. Мне уже надоело бегать туда и сюда, не получая ни гроша за труд.

— То же самое я должен сказать о своем зубном враче, — твердо заявил Надельсон. — Он уже много лет ищет невесту и теперь, найдя ее, вы думаете, он сразу отстанет? Не беспокойтесь, есть еще правда на свете. Мы подадим в суд!

Зельда жалобно посмотрела на Менделя. При такой суете и беспорядочном разговоре она была, словно в угаре, голова у нее кружилась.

— Ага, вот и она! — воскликнул Бернад, когда в комнату вошла Сарра. — Слушай, я расскажу тебе все в двух словах. Мы все решили, что ты должна выйти замуж. Я нашел тебе прекрасного адвоката, но твоя мамаша говорит, что тебе еще нужен и зубной врач. Поэтому ты должна сказать, кого ты выбираешь. Я даю тебе полную свободу и не стану говорить, что зубной врач не годится адвокату и в подметки, и не стану напоминать тебе, что ты должна принять во внимание и мою семью. Я просто говорю: выбирай сама того, кто тебе больше понравится. Я всегда так!

— Но мне не нужно ни адвоката, ни зубного врача, — сказала Сарра. — У меня уже есть жених.

Тысячи вопросов, как кометы, пронеслись в уме Зельды и умирали, не достигнув ее губ.

— А что он... скажи мне, Сарра, правду... что он очень большой ростом и поет, или он маленький и кричит?

— Он — доктор!

— Что-о? — Зельда встала. Ее сердце билось так сильно, что она не могла сидеть на месте.

— Сарра, дитя мое, — начала она, с трудом выжимая слова, — скажи мне, как говорит твой отец, ты любишь его? Нет, не нужно говорить. Скажи мне, хорошая у него практика? Хотя мне все равно. Мы сами можем помочь ему. Бернад, твоя жена должна полечиться у него.

— Но, мама, он лечит только лошадей и коров! — сказала Сарра, когда мать на минуту остановилась, чтобы перевести дух. — Он — ветеринар!

Зельду словно ударили по лицу.

— Ве-те-ринар! — застонала она, увидев перед собой непроходимую пропасть, отделявшую ее от дочери.

"Разве я не знала, что там, где замешан Мендель, пахнет бедой? И разве я не знала, что книжки с обезьянами могут привести только к доктору, который лечит животных! Как я буду смотреть людям в глаза?"

И она набросилась на Менделя:

— Сперва ты не пожелал, чтобы Сарра вышла замуж за человека из общества. Хорошо! Потом пожелал, чтоб она ходила в университет. Хорошо! Потом я думала, что, может быть, она выйдет замуж за человека с профессией. Хорошо! Но такое сумасшествие! Я говорю тебе прямо: если этот лошадиный доктор переезжает к нам в дом, я уезжаю из дому

— Правильно! — подтвердил Бернад. — Но мы с Надельсоном так быстро не уйдем. Мы теперь заодно! Сарра, если ты желаешь моего адвоката, Надельсон не скажет ни слова. Если же ты пожелаешь его зубного врача, — я еще посмотрю. Но в одном мы с Надельсоном согласны, — ты не должна забывать меня, а то мы разнесем твоего скотского доктора в пух и прах.

— Вот и все! — внушительно добавил Надельсон.

И оба свата, посоветовавшись с Зельдой, решили представить своих женихов напоказ. Сарра запротестовала, но Мендель успокоил ее.

— Сарра, что такое семья? Коробочка спичек. Если вспыхнет одна, то сгорят все! Успокойся. Пусть они приведут своих, а ты — своего.

Зельда с подозрением смотрела на Менделя.

— Сперва он разбивает мне сердце, а потом хочет лечить его, — жаловалась она, но Бернад попытался утешить ее:

— Это моя идея — чтобы они все трое собрались вместе. Как только мне приходит в голову какая-нибудь идея, ты приписываешь ее Менделю, а когда он делает ошибку, ты приписываешь ее мне.

Он направился к двери, вся его маленькая, коренастая фигурка выражала негодование. Высокий худой Надельсон в мрачном раздумьи последовал за ним.

ИСПЫТАНИЕ

Было восемь часов вечера. Час, назначенный для испытания. Сарре предстоял выбор между матерью и возлюбленным; Зельде — между ветеринаром и двумя другими женихами; Менделю — между Зельдой и Саррой.

Мендель пил чай и курил. Бернард явился раньше Надельсона, чтобы узнать, какую позицию занимает Маранц.

— Послушай, Мендель, — осторожно начал Бернард, — я такой человек — я люблю говорить правду. Мне все равно, кто получит коммиссионные, но когда дело касается денег...

Мендель прервал его:

— Что такое деньги? Дитя. Приятно видеть, как они растут.

— Это верно, то-есть, я хочу сказать, — неверно, — сказал Бернард. — Я думал не о своих деньгах, а о деньгах Сарры. Мне нужно знать, какое у нее приданое.

—Что такое приданое? Золотая коронка. Она скрывает гнилой зуб. А мне скрывать нечего.

Бернард понял, что от Менделя так же трудно чего-нибудь добиться, как от камня, и молча просидел в гнетущей атмосфере дома Маранцев до тех пор, пока не пришел Надельсон.

— Ну-с, — приветствовал он своего соперника. — Теперь мы увидим, кто из нас прав, — я или вы, Сарра или Мендель, или Зельда, или тот лошадиный доктор. Я такой человек — я люблю, чтоб торжествовал разум. Когда они явятся сюда все трое, я расставлю их по росту. Адвоката я поставлю первым, потому что он самый большой. За ним я поставлю зубного врача — жениха Надельсона, потому что он самый маленький. И последним поставлю лошадиного доктора, потому что не стану же я пускать его в середину. И пусть тогда Сарра выбирает. Я такой человек — я люблю, чтоб все было честно и благородно.

Он смолк и вдруг прошипел:

— Ша! Кажется хлопнула парадная дверь! Это мой адвокат, несомненно! — воскликнул он. — Сейчас я приведу его. У меня такое правило — кто раньше пришел, тот и получай!

И он побежал вниз по лестнице.

— Ну, разве я не угадал! — в экстазе воскликнул он, пожимая руку адвокату. — Здравствуйте, господин присяжный поверенный! Идемте сюда. Нагнитесь, чтоб не зашибить голову о косяк.

Он ввел свой "товар" в гостиную, где его ждала целая группа оценщиков.

— Ну-с! — радостно воскликнул Бернард, — обращаясь к сестре. — Смотри сюда, Зельда, — присяжный поверенный Мильтон Шпиц!..

— Что он делает? — вскричала Зельда, смущенная и удивленная.

— Он ничего не делает. Он только что пришел, — сказал Бернард. — Господа, — присяжный поверенный Мильтон Шпиц.

— Га? — сказал Надельсон, тараща на Шпица глаза.

Сарра прижалась к отцу, страшно побледнев.

Первым опомнился Надельсон.

— Где твой присяжный поверенный? — закричал он, смерив Бернарда взглядом. — Я не вижу никакого поверенного!

Бернард попятился назад, словно он увидел привидение, затем гневно взглянул на Надельсона.

— Я думал, что ты только глухой, а ты еще и слепой.

— А ты, видно, пьян! — отпарировал Надельсон. — Я не вижу тут никаких адвокатов, и никто их не видит. Ты, Бернард, напоминаешь мне осла с золотыми ушами... но у меня нет времени для басен. Этот молодой человек, которого привел Бернард, мой зубной врач.

— Ложь! — вскричал Бернард. — Это мой адвокат.

— Га? — огрызнулся Надельсон. — Он у меня в списке женихов с тех пор, как открыл зубоврачебный кабинет.

Между тем Мильтон Шпиц широкими шагами прошел через всю комнату и подошел к Сарре, которую он только теперь заметил.

— Сарра! — воскликнул он, и та, не будучи в состоянии что-нибудь сказать, упала ему на руки.

— Что за сумасшествие! — вырвалось у Зельды, оцепеневшей от удивления.

— Скажите, мистер Мильтон, — обратился к вошедшему

Мендель, — как это ваши маклеры умудрились сделать из вас трехлиц?

— Видите ли, мистер Маранц, я люблю путешествовать от одной науки к другой. Будучи зубным врачом, я в то же время изучал право, а когда мне надоело и то и другое, я занялся ветеринарией.

— Что? — вскричал Бернард. — Зубной врач, адвокат и доктор в одном лице!

— Он похож на тебя, Мендель! — воскликнула Зельда. — Ты никогда не мог заниматься одним делом. Мне хотелось, чтоб Сарра достала себе такого мужа, как у меня, и вот так оно и вышло.

— Мильтон, я люблю людей с вашими способностями, — сказал Мендель. — Что такое способности? Верблюд. Чем больше на него грузят, тем больше ему нравится.

И подведя Сарру к Мильтону, Мендель благословил их:

— Что такое жизнь? Дерево. Что такое любовь? Корни. Что такое брак? Цветы. Что такое дети? Плоды.

АКЦ. О-ВО НАДЕЛЬСОН И ШНАПС

Вступление Мильтона Шпица, ветеринара-хирурга, в избранное общество "Де-люкс" Менделя Маранца на улице Питт, отнюдь не было встречено с энтузиазмом, какого ожидал Мендель. Введение в это общество "лошадиного доктора" было сочтено не совсем уместной причудой. Многие видные лица, опасаясь, что их дочери тоже могут избрать женихов среди обитателей гетто, немедленно перебрались в богатые кварталы. Постепенно паника распространилась на всех обитателей квартир Менделя Маранца, — и, словно спасаясь от чумы, они бежали с улицы Питт.

Но это внезапное бегство богатых клиентов несколько не обескуражило Менделя, зато вызвало страшное недовольство у Зельды. Сарра со временем должна стать матерью, и эта старая "конюшня" казалась Зельде совсем неподходящим корнем для родового дерева. Зельда мечтала о приобретении собственного пригородного особняка на две квартиры. Она ре-

шила сделать заказ на постройку дома Бернарду, который, вступив в компанию с Надельсоном, был очень рад получить заказ. Его интересы всегда совпадали с интересами Зельды. И только Мендель стоял у них на пути.

— Бернард, что такое коммерция? Корова. Что такое прибыль? Молоко. Но иногда корова выбивает ведро из рук.

— Не беспокойся. У меня не выбивает!

Мендель снисходительно улыбнулся.

— У тебя слишком много уверенности в себе, Бернард. Гораздо больше, чем капитала.

— У меня хватит и капитала — то-есть, я хочу сказать — у Надельсона хватит. Но какая разница? Мы с ним компаньоны: Его деньги — мои деньги!

— Может быть, — сказал Мендель, свертывая папиросу. — Что такое компаньоны? Засоленные огурцы. Сперва они сладкие, потом становятся кислыми.

— С нами этого не будет. Прежде чем вести вместе дела, мы заключили договор.

— А что такое договор? Селедка. Из нее приходится выбирать много костей. Теперь вы договорились, но если получатся убытки...

— У нас не может быть убытка. Мы маклеры! Если мы терпим убытки, то они ложатся на наших клиентов, то-есть, я хочу сказать... Какая разница? У нас не может быть убытков!

— Ну, что ж, — мягко сказал Мендель. — Я хотел только посоветовать тебе. Что такое коммерция? Пиво. Оно теперь совсем слабое.

— Спасибо за совет. Сказать тебе правду, Мендель, у меня хватает советов, но не хватает клиентов.

— С тех пор, как мой муж занялся этим делом, — вмешалась Мириам, жена Бернарда, — у него нашлись сотни друзей. И все дают советы. Это счастье, что у него еще есть компаньон...

— Ты бы лучше придержала свой язык, — предостерегающе сказал Бернард жене.

— А что я сказала? Я только похвалила тебя. Сказала, что ты счастливец.

Бернард сверкнул на нее глазами.

— Знаешь, Мириам, я такой человек — я не люблю, когда меня хвалят. Я могу сам себя похвалить.

Повернувшись к Менделю, он сказал:

— Моя жена вполне права... то-есть, я хочу сказать — она не понимает, о чем говорит! Но какая разница? Послушай, Мендель. Если ты купишь у меня дом или участок земли, я не считаю это за услугу. Вместо того, чтобы выбросить свои деньги вон, — они растут тебе, как трава.

Мендель, казалось, не слушал его.

— Земельные участки — все равно, что места в театре: лучшие всегда разобраны. А плохие мне не нужны.

В разговор вмешалась Зельда.

— Мендель, ты не должен забывать, что мой брат Бернард приехал к нам со своей женой Мириам из далекого пригорода, из Седерхерста. Они нам оказывают честь. И они не зря к нам приехали.

— Что касается маклерства, Мендель, то тут я, как рыба в воде. Когда я был еще мальчиком, я уже торговал тем, что мне не принадлежало. Но если ты считаешь, что продажа земельных участков — ненадежное дело, то у меня есть и другие дела. Получше. Вот смотри! — и Бернард протянул Менделю свою карточку.

НАДЕЛЬСОН и ШНАПС

Маклеры

Земельные участки,
ссуды, постройки, займы,
страхование, пароходы, билеты,
размен иностранной валюты
и другие коммерческие
шансы.

Мы такая фирма — у г о д и
к л и е н т у !

— Ты сам, Мендель, можешь судить по этой карточке, что мы не обанкротимся. У нас так много всего, что хоть что-нибудь да вывезет.

— Трудно сказать. Много разных дел — все равно, что много зубов. Но они могут оказаться гнилыми.

— Вот это правда, — согласилась Мириам. — Посмотрите, у моего мужа какие прекрасные зубы. Но они все фальшивые.

— Ты опять разговариваешь! — огрызнулся на нее Бернард.

— А что я сказала? Я только сказала, что у тебя хорошие вставные челюсти.

Бернард, стиснув зубы, процедил:

— Мириам, я такой человек — я могу сойти с ума. Не хвали меня чересчур.

Его жена втянула в себя много воздуха, готовясь к крупному разговору, но Зельда предупредила атаку.

— Скушайте еще яблочко, Мириам, — предложила она.

— Нет, спасибо, — вежливо ответила Мириам, беря яблоко. — Я никогда не ем яблок. Мой муж, Бернард, — другое дело. Он может есть, как лошадь. И даже без зубов, представьте себе... Ну, чего тарачишь глаза? Разве я сказала что-нибудь?

— Сделай мне одолжение, Мириам, — зарычал Бернард. — Когда ешь яблоки, не разговаривай, а когда тебе хочется разговаривать — ешь яблоки.

— У меня голова идет кругом, — пожаловался он Менделю. — Я не соображаю, где я. Правду ты говоришь: "Что такое женщина?"

— Комар! Она вечно жужжит у тебя над ухом.

— Правильно, то-есть, я хочу сказать, неправильно, — замялся Бернард, поймав взгляд Мириам, который говорил: "Подожди, дай нам вернуться домой!"

— Послушай, Мендель, — начал Бернард, возобновляя деловой разговор. — Будем откровенны. Я такой человек — я верю в дружбу. Но не очень. У меня лозунг "Дело есть дело!"

Мендель спокойно сдул пепел с папиросы.

— Ты говоришь, что ты генеральный маклер, не так ли?

— Конечно! Разве ты не видишь по моей карточке? — сказал Бернард.

— Что за вопрос? — пробормотала Зельда, нетерпеливо ерзая в кресле. — Ну, хоть закажи ему домик на две семьи, — предложила она Менделю. — В одной квартире будем жить мы, а в другой — Сарра.

Но у Мириам были другие надежды. Ей хотелось, чтобы Мендель купил один из небоскребов на Бродвее.

А Бернард предлагал: "Если не хочешь покупать дом, купи землю".

"Что такое семья? — размышлял Мендель. — Скрипка. Каждая струна звучит по-своему".

Наконец, он заговорил.

— Хорошо, — сказал он, туша папиросу о пепельницу. — Что такое коммерция? Пожар. Он может начаться с пустяков и распространиться на весь мир. Что такое удобный случай? Актер. Он появляется в замаскированном виде.

— Что ты хочешь сказать? — прервала Зельда, теряя всякое терпение.

— Суть! Суть! — кричал Бернард, сгорая от нетерпения.

— Сейчас скажу, — продолжал Мендель, и все насторожились. — Я хочу сделать тебе одно предложение, Бернард. На первый взгляд в нем ничего такого... Оно все равно, что женская голова — никогда не узнаешь, что под скорлупой. Но в нем скрыты большие возможности. Что такое идея? Яйцо. Все зависит от того, кто на нем сидит.

— Да говори же, говори, — умоляла Зельда, с трудом дыша. — Что ты тянешь душу? Можно подумать, что он хочет предложить Бернарду купить Вулворт вместе с Бруклинским мостом.

— У Менделя всегда большие планы, — горько вздохнул Бернард. — Но выкладывай, выкладывай перед нами скорее это свое яйцо.

Мендель закурил новую папиросу.

— Что такое жизнь? — размышлял он, подходя к своему предложению с другой точки зрения.

— На кой черт мне нужно знать, что такое жизнь! — взревел Бернард. — Я такой человек — я не люблю лекций!

— Хорошо, я перейду ближе к делу. Что такое жизнь? Мыльный пузырь. Он ничего из себя не представляет, но его можно раздуть до больших размеров. То же и с какой-нибудь идеей.

Женщины сложили руки на коленях и в отчаянии качали головой. Бернард кусал ногти. Мендель положил ногу на ногу.

— Тебе, кажется, нужна служанка? — обратился он к Зельде.

— Конечно. Но при чем тут служанка? — удивленно спросила она.

— А Бернард, кажется, генеральный маклер, не так ли? Так вот, — продолжал Мендель, — Бернард отыщет тебе служанку, а мы заплатим ему комиссионные.

Плавучая ледяная гора налетела на комнату. Из-под развалин вспыхнуло пламя.

— Не желаю своим врагам таких идей! — кричала Мириам.

— И таких предложений! — поддержал жену Бернард.

— И таких затей!

— И таких родственников!

— Какая наглость! Из-за этого мы ехали так далеко. Я должен достать ему полкомоду! Да я не заработаю себе и на трамвай!

Бернард от волнения долго танцевал по комнате. Затем вдруг остановился перед Менделем и смерил его презрительным взглядом.

— Ты что взял себе в башку? Ты думаешь, у меня бюро по найму прислуги? Я — банкир! Может, ты не прочитал мою карточку как следует?

— Мистер Маранц! — гремел голос Зельды, подобно трубе. — Ты, как видно, совсем не понимаешь, о чем идет речь. Какое отношение имеет прислуга к постройке домов и продаже земли?

Одним жестоким ударом ее домик из двух квартир с садиком был разбит, уничтожен, вырван из души.

— Вот в этом вся моя идея, — сказал Мендель. — Если Надельсон и Шнапс — генеральные маклеры, то у них одно дело должно иметь связь с другим. Что такое коммерция? Телефонные провода. Они все соединены между собой.

— Но где тут соединение? — закричал Бернард.

— Об этом я тебе скажу в другой раз. — А пока я хочу спросить тебя, Бернард, ты достанешь нам служанку или нет?

Это уже было чересчур. Бернард был маленького роста, но,

когда ему диктовала гордость, он мог подниматься вверх на цыпочках и становился высоким, важным и даже грозным.

— Мистер Мендель Маранц, у меня с вами все кончено, — спокойно и важно заявил он, удерживая жену, чтобы та ничего не добавила. — Я такой человек — когда я говорю все кончено, значит — кончено. Мириам, идем! — обратился он к жене воинственным тоном. — Ты не забыла зонтик?

Они ушли. А с ними ушла и последняя нить общественных связей Зельды. Одну за другой Мендель порвал все нити. И Зельда осталась одна. С Менделем она чувствовала себя еще более одинокой.

— Довольно! — заявила она, чувствуя себя несчастной в своем унижении, видя, что ее мечты погибли. — Я всегда остаюсь перед тобой в дураках. Но сегодня я поняла, что ты за человек, Мендель Маранц! А теперь, может быть, я тебе не нужна?

Мендель попытался успокоить ее.

— Зельда, сегодня мы не станем ссориться. Что такое муж? Папироса. Что такое жена? Спичка. Что такое ссора? Дым. И какой результат? Пепел. Если Бернارد не пожелал отыскать тебе служанку, то я отыщу сам.

ДОМИК НА ДВЕ КВАРТИРЫ

На следующее утро, когда Бернارد вошел в контору "Надельсон и Шнапс генеральные маклеры", он застал там своего партнера, который давно уже с нетерпением поджидал его.

— Ну-с, — обратился к нему Надельсон, — что сказал твой Мендель Маранц?

— Я хотел бы, чтобы он был твой. От родственников можно ожидать помощи только после смерти. Тогда они покупают тебе хороший камень. А пока ты жив, они бросают камнем в тебя.

— Почему же ты не сказал мне этого раньше, когда мы еще не были партнерами?

— Не беспокойся, — сказал Бернارد. — Я уже сказал своей жене, Мириам, пусть она только потерпит. Я всегда так: если мои родственники не помогают мне — к черту их! Мендель

воображает, что он со своими деньгами — король. Но в наше время короли держатся недолго.

Надельсон явно не слушал его.

— Бернارد, глядя на тебя, я вспомнил об одном бродяге. Кто-то пошел с ним на пари, что он не выпьет бочку сидра...

— Пожалуйста, не рассказывай мне басни с утра, — сказал Бернارد. — Что здесь — кофейная? Нас ждет много заказов... Конечно, раньше надо их получить... Но я такой человек!..

— Где это дело? — прервал его Надельсон.

— Где это дело? — передразнил Бернارد. — Почему ты еще не спросишь у меня, где луна?

— Мистер Гутнер! — доложила секретарша.

— Что, не говорил я тебе? — воскликнул Бернارد. — Абрам Гутнер — мой лучший приятель. Вот, где дело! — сказал он, обращаясь к Надельсону, и бросился в переднюю навстречу клиенту.

— Как ваша жена? Как вы сами поживаете? Хотите сигару? Садитесь, пожалуйста! Чем можем служить?

— Жена не совсем здорова, — устало сказал Гутнер.

— Это очень хорошо! — продолжал суетиться Бернارد. — Как вам нравится вид из окна? Перед вами, как на карте, весь Нью-Йорк. Только укажите мне, какие дома или участки вы желаете приобрести.

Гутнер мрачно посмотрел в окно.

— Доктор говорит, ей нужен горный воздух. У нее чахотка.

— Какой чудесный вид! — воскликнул Бернارد, простирая руки вперед. — Взгляните сюда, Абрам! Как вам нравится эта вывеска — серебряная подкова с золотыми буквами?

— Ужасно! — печально сказал Гутнер. — Два месяца нужно провести где-нибудь на курорте. Воображаю, сколько это будет стоить.

— Будет стоить не больше ста пятидесяти долларов.

— Что? Со столом?

— Со столом, с цветами и со всем, что полагается.

— Вот это прекрасно! На два месяца?

— На весь сезон!

— Давайте мне скорее адрес!

Бернард, немного удивленный энтузиазмом своего клиента, протянул карточку Гутнеру, который рассеянно сунул ее в карман.

— Спасибо вам, Бернард, за совет. Теперь я знаю, куда послать свою жену.

— И вы только за этим приходили? — спросил Бернард, растерянно глядя вслед уходящему клиенту.

— Это и есть то дело, — мрачно пробурчал Надельсон. — Двое помешанных! Оба говорят и ни один не слушает. Он спрашивает тебя о курорте, а ты суешь ему адрес похоронного бюро.

Бернард стоял у огромного окна и жадно смотрел на богатую панораму: прекрасные дома, великолепные здания для контор, огромные гостиницы.

— Какой вид! — вздохнул он. — Когда-нибудь мы получим заказ на все эти здания сразу...

Но в один прекрасный день панорама исчезла. Огромная реклама, усеянная разноцветными электрическими лампочками, высунулась из-за стены соседнего здания и закрыла растилавшуюся перед окном картину. Контора фирмы Надельсон и Шнапс очутилась во мраке.

— У нас украли наш вид! — вскричал Бернард с отчаянием в голосе. — Нас ограбили! Грабители! Кто бы это мог сделать?

— "Бюро по найму прислуги — М.М." — прочитала мисс Блюмберг, бухгалтерша, глядя в ужасе на огромную рекламу, отбрасывавшую тень на окна конторы, подобно дымовой завесе наступающей армии.

— М.М! Что это значит?

— М.М. — Мейк Мани, — нашелся Надельсон.

— Мендель Маранц! — вскочил на ноги Бернард. — Бюро по найму прислуги. Вот что он сделал! Он открыл целую контору, чтобы достать себе служанку: Он ухлопал тысячу долларов на эту вывеску, чтоб загородить вид перед нашей конторой! Он согласен откусить себе нос, чтобы насолить мне. Но я такой человек — меня не скоро доймешь. Если ты загородишь меня спереди, я обойду сзади.

Он вытер потный лоб платком и вздохнул.

Вечером в тот день жена попросила у него денег на расходы по хозяйству.

— Мириам, ты знаешь, что у меня все деньги вложены в дело, — сказал он.

— Крупный финансист! Ворочает миллионами, а мне придется занимать четвертаки.

На следующее утро Бернард проснулся в отличном настроении. "Я такой человек — чем меньше имею, тем лучше себя чувствую". Но в душе он молил судьбу, чтоб она послала ему хоть одного клиента. И когда он подходил к своей конторе, ему показалось, что его мольба услышана. У подъезда стоял автомобиль Сэма Тресслера.

— Послушай, Макс, — обратился он к шоферу, — где твой хозяин?

— Наверху.

Бернард помчался наверх, перепрыгивая через две ступеньки, и чуть не потерял сознания, когда подбежал к дверям конторы.

— Ну, что? — с трудом проговорил он, врываясь в контору.

— Ничего, — холодно ответила мисс Блюмберг, бухгалтерша.

— Где Тресслер? — бросился он к окну, словно решил, что тот упал на улицу. — Посмотрите! Вот еще машина Морица Фейтеля, — наверное, они встретились внизу и разговаривают.

Он шагал по комнате и нервно потирал руки. С самого утра два клиента! Бернард почувствовал, что он опять крепко стоит на ногах.

Хлопнула дверь. Бернард вздрогнул.

— Ну, что? — спросил он у бухгалтерши.

— Ничего, — холодно ответила мисс Блюмберг.

Напряженность становилась невыносимой. Бернард бросился вниз по лестнице и выскочил на улицу. Мендель и Гутнер увильнули от него, но Тресслеру и Фейтелю не удастся.

— Где ваши хозяева? — обратился он к шоферам, с удивлением смотревших на него.

— Наверху, у М.М.

— М.М., — вскрикнул Бернард. — Но это же контора по найму поломоек!

Он бросился в соседнее здание: в голове у него мелькнула безумная мысль — Фейтель и Тресслер, оба миллионера, ищут места поломоек.

В передней "Бюро по найму прислуги — М.М.", в мягких кожаных креслах сидело несколько посетителей, все аристократы на вид, ожидая очереди. От этой передней протянулся длинный коридор, по обе стороны которого расположились кабинеты ответственных лиц фирмы. Служащие быстро бежали взад и вперед под ритмичный стук пишущих машинок; клиенты, выходя из кабинетов, что-то горячо обсуждали: "Вообразите, ведь это же замечательно. Какая блестящая идея!"

Бернард стоял, как вкопанный. Какой штат, какие клиенты, какое во всем величие! Можно подумать, что это бюро предоставляет прислугу для всей Америки, ввозя ее целыми пароходами из-за границы.

"Меня самого могут принять за швейцара, — подумал он. — Ну, кто бы мог подумать, что на найме прислуги можно построить такое дело?"

Он украдкой присел на диване рядом с пожилой дамой, которая улыбувшись мягко спросила:

— Вам, наверное, нужна горничная?

— А сколько вы хотите в месяц? — спросил Бернард.

— Я пришла сюда, сударь, чтобы достать себе лакея! — рассердилась дама.

— В таком случае, извините — я ошибся.

В это время открылась дверь кабинета, и из него вышли двое.

— Итак, мистер Тресслер, я думаю, что все в порядке.

— Несомненно! Благодарю вас, мистер Маранц.

Бернард вздрогнул, словно его ударили.

"Мендель Маранц! — Хотелось закричать ему. — Грабитель! Ты украл у меня мой вид, так отдай же мне хоть моего клиента!"

Тресслер направился к выходу. Бернард бросился за ним, но в это время увидел Морица Фейтеля, который шел под руку с Менделем Маранцем к его кабинету. Бернард в недоуме-

нии остановился. Бежать ли ему за первым или подождать второго?

— Ну-с, говорите, что вы хотите, — между тем любезно сказал Мендель, когда Фейтель уселся в кресло в его кабинете.

— Дело вот в чем, — сказал Фейтель, снимая перчатки. — Я купил себе дом на Пятой Авеню в двадцать четыре комнаты и шесть ванн, и мне нужны по крайней мере четыре горничные, экономка, повар, два лакея и дворник. Но пока мы достали только лакея-японца, который целый день поит нас чаем. И я решил обратиться к вам, чтобы достать прислугу.

Мендель слегка наклонился к своему клиенту.

— Мистер Фейтель, что такое прислуга? Радий. Ее очень трудно найти. И я меньше всего могу помочь вам.

Фейтель встал в недоумении.

— В таком случае, какое же у вас бюро? Если я не достану прислуги, мне придется продать дом.

— А почему же не продать? — спросил Мендель.

— Хорошо. И кто у меня его купит?

— Я!

Фейтель опять сел.

— Вы шутите со мной.

— Нисколько, — сказал Мендель. — Но что вы будете делать, когда продадите дом?

— Я куплю другой.

— Но у вас появятся те же хлопоты. Что такое дом? Калекка. Ему всегда нужна прислуга. А что такое прислуга? Спасательная команда. Ее никогда нет поблизости.

— Что же мне делать? — взмолился Фейтель.

— Поселиться в прекрасных меблированных комнатах со всеми услугами. Что такое недоразумения с прислугой? Хронические насморки. Если поселиться в месте с хорошим климатом, они исчезают.

— А где такое место?

Мендель открыл коробку сигар и предложил Фейтелю.

— Вы должны знать, мистер Фейтель, что у нас такое бюро по найму прислуги, где никакой прислуги достать нельзя. Мы соержим первоклассные меблированные комнаты, где каждый может получить все, что ему нужно.

— Значит, мне придется снять у вас несколько комнат с услугами и этим удовлетвориться, а?

— Лучше небольшая квартира с услугами, чем большой дом с головной болью. Что такое комфорт? Подушка. Ей не нужно быть большой, чтобы быть мягкой.

Итак, Мендель приобрел дом Фейтеля на Пятой Авеню, а тот подписал договор на снятие квартиры в одном из домов, принадлежавших "Бюро по найму прислуги — М.М."

— Я только одного не понимаю, — сказал, наконец, Фейтель. — Если мой дом не годится для меня, то зачем он вам?

Мендель улыбнулся.

— Вы должны были спросить об этом еще до нашей сделки. У нас на Ист-Сайде есть отделение, которому мы передаем десятки таких домов, как ваш. Что такое идея? Нефтяной колодец. По его вышке вы можете судить, насколько он глубок.

Что такое жилище? Регистратура. Нужно знать, что куда поместить.

— Мистер Маранц, вы купили мой дом на десять тысяч дешевле, только потому, что я не знал, для каких целей он вам нужен,

— Ну что, Бернард? — обратился Мендель к своему шурину, проводив Фейтеля к выходу. — Ты, может быть, тоже пришел за прислужкой? Что такое коммерция? Жареная курица. Одним достается мясо, другим — кости.

"А мне не досталось даже общипанных перьев!" — подумал Бернард и набросился на Менделя. — Когда ты просил у меня достать тебе прислужку, почему ты не сказал, что у тебя такие планы? Я такой человек — я люблю широкие планы!

— Что такое удобный случай? Оперная певица. Она не любит выходить по два раза.

Мендель мог торжествовать над Бернардом и производить впечатление на таких людей, как Фейтель и Тресслер, но в глазах Зельды он не был героем.

Вернувшись из конторы домой, Мендель, довольный удачной сделкой, весело приветствовал Зельду, но она повернулась к нему спиной и, обращаясь неизвестно к кому, сказала:

— Скажи ему, что я не взгляну ему больше в глаза. Никогда в жизни.

— Зельда, но ведь я старался для тебя!

— Скажи ему, мне все равно. Мне нужна была служанка, так он открыл целую контору, потратив целое состояние. Теперь он, наверно, достал себе служанку.

— Даже теперь не достал, — признался Мендель.

Зельда гневно сжала ручки кресла,

— Спроси у него, что же он достал в таком случае?

— Квартиру на две семьи — для нас и для Сарры.

СОЛОМОН ВЫБИРАЕТ СЕБЕ МАТЬ

— Зельда, что такое довод? Карандаш. Он не имеет никакой силы, если он не заострен. Я больше не стану кататься верхом, если даже вся гостиница будет ходить на голове. Я прыгал в седле до тех пор, пока мои кости не превратились в какое-то пюре. Я приехал сюда отдохнуть, а не мучиться. Мой бок, моя голова, моя спина — не знаю, за что схватиться!

— Ты должен привыкнуть к этому. Скоро уже будет переделан наш дом на две квартиры, и ты круглый год будешь жить в деревне.

— Осторожней! Ты обожжешь меня! — взмолился Мендель, уклоняясь от горячего компресса. — Что такое работа? Преступление. Что такое отдых? Наказание. Я всегда говорил себе: "Не надо работать, Мендель, и тебе не нужен будет отдых". На чем это я сижу — на подушках или на битом стекле? Принеси сюда перину. Что такое курорт? Поле сражения. Когда ты попадаешь на него, ты чувствуешь слабость, а когда покидаешь, ты уже не чувствуешь ничего.

— Я понимаю, в чем тут дело! Ты собираешься уезжать. Ты хочешь жить в городе, пока твоя жена живет в деревне. Разве я не знаю тебя, Мендель. Но только тебе это не удастся, пока я еще жива!

— Что! — вскричал Мендель. — Ты думаешь, я буду жить здесь до тех пор, пока не останусь без головы! Что такое работа? Америка. Ты или должен бросить ее, или привыкнуть к ней. Я хочу сейчас же вернуться к своей работе. В городе, когда я работаю, я могу спать до десяти. А здесь, на отдыхе, я должен вставать в шесть. Чуть свет, начинают звонить, и тебе

снится, что сейчас на твою кровать налетит паровоз. Ты вскакиваешь, как сумасшедший, летишь вниз и едва успеваешь к сбору. Там тебя бросают на лошадь, и ты скачешь галопом, но не туда, куда хочешь, а только кружишься на одном месте, потому что лошадь норовит повернуть обратно в конюшню. Наконец, когда твое тело похоже на рубленое мясо, тебя снимают с седла и бросают в бассейн с холодной водой, а потом зовут в столовую завтракать. После завтрака беги менять костюм. Нужно идти играть в гольф. Что такое гольф? Вступление в брак. Вначале трудно, а потом еще труднее! А что такое шар для гольфа? Запонка для воротничка. Сперва ты ее забрасываешь, а потом ищешь. После ланча ты должен играть в теннис. И все время нужно менять костюм: для тенниса — белый; для гольфа — коричневый; для катанья верхом — желтый; для обеда — черный; но когда ты, обливаясь потом, кончаешь работу, все они одного цвета. И это ты называешь отдыхом? Подвяжи мне туже повязку вокруг колена!

— Знаешь, мистер Маранц, твоя природа прет из тебя, как веснушки на солнце. Ты родился лентяем и умрешь лентяем. Когда мы были бедными, ты не хотел работать, а когда мы стали богатыми, ты не хочешь заниматься физкультурой.

— Если меня завтра покатают на станцию, то я буду только рад. — Мендель сделал попытку встать, но сразу упал обратно в кресло.

— Послушай, Мендель, мы приехали на этот курорт не ради одного удовольствия. Сарра стала матерью, и я должна помогать ей ухаживать за ребенком. Если бы ты не сидел на одном месте, как мертвый, ты тоже мог бы помогать.

— Как это, интересно, я могу помогать? Когда ночью плачет ребенок, ты, может быть, хочешь, чтоб и я плакал вместе с ним? Я и так часто чуть не плачу. Потому что каждую ночь он разбивает мне сон. А что такое сон? Яйцо. Стоит разбить — до свидания.

— Ты думаешь только о себе. Если ребенок плачет, значит, у него что-то болит.

— Ну, а зачем он у вас живет, как поросенок? Когда ни спрошу — где Соломон? Спит. Где Соломон? Кушает. Целый день только спит и ест!

— Ест и спит! Жалко, что ты не родился на свет коровой, тогда бы ты чувствовал себя счастливым.

— Что такое женский язык? Вьюн. Его не удержишь. Лучше подай мне расписание поездов, вон там на комод. Я не могу даже пошевелиться.

— У-а! — раздался вдруг резкий повелительный крик в соседней комнате.

— Мой бедный птенчик! — жалобно запричитала Зельда, протягивая руки к младенцу. Но ее нежные слова замерли у нее на губах. — А! Ты здесь! — бормотала она, удивленно глядя на свою дочь. — Почему же ты не покачаешь его?

— Я и тебе не позволю качать, — холодно сказала Сарра.

— Но ведь он так кричит.

— Пусть кричит. Это полезно для него, — сказала Сарра, бросая взгляд в раскрытую книгу, лежавшую перед ней.

— Покачай его хоть немного, — умоляла Зельда.

— А я говорю — пусть кричит!

Был поздний час. Оскорбленная Зельда потихоньку легла в кровать. Мендель спал, повернувшись к ней спиной. Она слегка коснулась его руки.

— Мендель!

— Га?

— Когда отходит поезд завтра утром?

— Г-м-м-м-м!

— Мендель!

— Га!

— Ты слышал, что я сказала?

— В девять!

— Я поеду с тобой. Может быть, ты и прав. В городе лучше!

— Г-м-м-м-м!

— Мендель!

— Га?

— Ты слышишь, что я говорю?

— Что такое женщина? Ломота в пояснице. Она может пристать к тебе среди ночи. Да, я слышал. Что тебе нужно? Я должен встать и извиниться перед тобой за то, что я был прав?

— У-а, у-а, у-а!

Мендель закрыл подушкой уши. Крики Соломона прорезали ночную тишину, как свист шрапнели. В некоторых окнах гостиницы зажглись огни, сонные лица высовывались из окон.

— Еще десять минут. Если он не остановится, можешь качать его, Мильтон, — сказала Сарра.

"Она, наверное, хочет сделать из него ночного сторожа", — подумал Мендель.

Вскоре он увидел, как полусонный Мильтон нетвердой походкой зашагал по комнате, качая на руках Соломона. Но тот продолжал орать не своим голосом. В каждой его ноте слышался протест: вы не пришли, когда я звал вас, теперь поучайте то, что я вам даю.

Теперь уж и Сарра взялась его качать. Потом — Мендель. Соломон переходил от Сарры к Мильтону, от Мильтона к Менделю, как баскетбольный мяч в горячем состязании. Но он одолел всех троих. И тогда им пришлось обратиться к Зельде.

— О, мой маленький, бедный птенчик! — воскликнула она, прижимая к себе ребенка, который пискнул, зевнул и тотчас уснул у нее на руках.

— Что такое отдых на курорте? — себе под нос бормотал Мендель, ложась в постель. — Кулачный бой. Если тебя не избьют, то и отдохнуть не дадут.

И он устало повернулся лицом к стене.

— Мендель!

— Га?

— Я уже не поеду с тобой завтра.

— Что такое женщина? Газета. В каждом выпуске свежие новости!

МЕНДЕЛЬ МАРАНЦ ОТДЫХАЕТ

Роскошная веранда гостиницы "Вандевор" была полна гостей, которые, сидя за завтраком, поддерживали светский разговор.

— Одно можно сказать: здесь, несомненно, хорошо кормят, — сказала миссис Аплгарден, игриво похлопывая себя по бедрам.

— Я никогда не ем, когда живу в деревне. Не хочу зря выбрасывать деньги, — жаловалась миссис Цвейг. — Но мои дети всегда посылают меня в деревню.

Рядом мисс Эсфирь Квич вела интеллектуальный спор с доктором Фейгенбаумом.

— Человек — обыкновенное животное, — философствовал он. — Накормите его, и он уже не чувствует голода. Но разве нет другого голода — более высокого порядка?

Миссис Генцель, сильно располневшая после того, как развелась с мужем, рассуждала:

— Я на собственном опыте знаю, что мужчины всегда мужчины, а женщины всегда женщины. Конечно, бывают исключения.

Доктор Фейгенбаум пытался примирить самые противоречивые взгляды.

— Правильно, — мечтательно затянулся он сигарой. — Что такое жизнь?.. Кто знает?..

Зельда помалкивая сидела поодаль. На этот раз не было Менделя, который всегда мог поддержать разговор. О, он бы сумел ответить д-ру Фейгенбауму или миссис Генцель!

— Ах, как жаль, что нет вашего мужа, — сказал м-р Шницер, проходя мимо. — Я люблю поговорить с ним.

— А что с ним? Умер? — спросила миссис Бульвер, поправляя прическу.

— Нет, — сказала Зельда. — Не умер, но умирает. Его отвезли в санаторию,

"Храбрая женщина, — подумала миссис Бульвер, — так стойко переносит она свое несчастье". Но как иначе могла бы объяснить Зельда внезапный отъезд Менделя?

— Мистер Маранц, кажется, предполагал прожить здесь все лето, а оказывается, он уехал, — сказала миссис Гулик.

— Да, миссис Гулик, — сказала Зельда, — он так заболел, что его пришлось провозжать на станцию. И в то время как мы тут веселимся, ему, может быть, и некому помочь.

Пока она говорила, Мендель Маранц, щегольски одетый в клетчатый костюм, панаму и яркий галстук, стоял позади нее и ждал, когда она кончит.

— Да, — вздохнула Зельда, — доктор сказал, что нет никаких надежд. Не сегодня-завтра он может умереть.

— Не так скоро, Зельда. Что такое жена? Гильотина. Она сокращает жизнь.

Когда они пришли в свою комнату, Зельда набросилась на него.

— Убийца! Я не знала, куда деться от стыда. Мне хотелось провалиться сквозь землю и тебя взять с собой. И почему я им не сказала правду?

— Зельда, не волнуйся. Что такое забота? Промокательная бумага. Она тебя сушит. Разве ты хотела, чтоб я уезжал? Вот я и вернулся ради тебя.

— Ради меня! Ради меня лучше бы ты остался там, куда уехал. Нет, я не могу выносить твоей лжи. Раз ты приехал, то уезжаю я и беру Сарру с собой. Если ты думаешь кататься верхом, то сначала найди себе сиделку, чтобы она делала тебе компрессы.

Мендель лихо щелкнул в воздухе пальцами.

— Выбрось, пожалуйста, компрессы вон. Теперь я совсем другой человек. Что такое здоровье? Капитал. Если знать, как им пользоваться, то никогда не потеряешь. Что такое упражнение? Холодный душ. Что такое гольф? Папироса. Я не могу жить без него. Что такое спина лошади? Трон. Что такое катание? Сахарин. Нет ничего слаще. Зельда, я теперь изменил свои взгляды. Все зависит от того, как смотреть на мир. Даже подходящий налог — удовольствие, если ты — правительство. Что такое жизнь? Мелодия. Даже похоронный марш можно играть как вальс, если изменить ритм.

Зельда недовольно оглядела его.

— Я думала, что у тебя слабое сердце. А теперь я вижу, что у тебя и голова слабая. Что такое Мендель? Сумасшедший.

Наутро Мендель поднялся, когда она еще спала. Проснувшись, она увидела его в окне, когда он возвращался с катания впереди всех, как полководец впереди отряда кавалерии. Помахав ей рукой, он грациозно спрыгнул с седла. Зельда чувствовала себя старой, тяжелой и неповоротливой и в то утро уделила особое внимание своему туалету.

Но Мендель был так занят собой, что не обратил на нее внимания. После завтрака он играл в теннис, после ланча ушел играть в гольф, после обеда отправился в театр и в полночь, когда Соломон опять устроил "концерт", легко, как атлет, вскочил с постели. Что такое упражнения? Деньги. Они мне нужны всегда.

— Он, наверное, достал себе подкрепляющее средство в Нью-Йорке, — сказала Зельда, обращаясь к Сарре и шаря рукой в его саквояже. — Посмотри, вот какой-то флакон.

— Да это хинная вода для волос, — засмеялась Сарра.

Но почему же он чувствует себя таким бодрым? Двадцать четыре часа непрерывной погони за удовольствиями могут убить хоть кого. И вдруг страшная мысль обожгла ее: что другое, как не любовь, могло превратить в демона этого флегматичного, пожилого мужчину, почти старика?

Да, это было именно то! Зельда вздрогнула от этой мысли, вышла из комнаты в огромную переднюю и бросилась по узкой тропинке, вдоль небольшого ручейка, пробивавшегося между серебристых берез. Она бежала, побуждаемая безумием отыскать в лесу Менделя с его возлюбленной.

Неожиданно она увидела пару, идущую по тропинке. Зельда побледнела, ее губы стали пепельного цвета. Пара уселась на огромном пне. Мужчина обнял женщину за талию, она положила ему голову на плечо.

— Как же случилось, что вы женились на ней? — спросила женщина.

— Что такое любовь? Картошка. У нее есть глаза, но она слепая.

Женщина весело засмеялась и бросилась Менделю на шею, — да, это был Мендель, хотя Зельда и отказывалась верить своим глазам, — и звучно его поцеловала. Этот поцелуй, как удар грома, поразил Зельду.

— Что такое любовь? Табак. Он действует на сердце, — прошептал Мендель.

Зельда вскрикнула и бросилась прочь. Все увиденное казалось ей каким-то страшным, кошмарным сновидением. Нет, это просто ее безумное воображение, большая фантазия. Но картина живо стояла у нее перед глазами.

— Мама! — вскрикнула Сарра, увидев ее. — Что с тобой? Мильтон, воды!

Зельда оттолкнула ее.

— Воды? Лучше дай мне яду!

— Мама! Зачем ты хочешь пить яд?

— Я? Я не хочу пить яда. Я хочу его кому-то... Например, твоему отцу!

— Но зачем ему пить яд?

— Конечно, он не захочет его пить, но кто станет спрашивать его об этом? — воскликнула она. — Такого человека нужно отравить! Мендель Маранц, примерный муж! А теперь он сидит там, под деревом. И с кем, ты думаешь?

— Откуда я могу знать?

— Я тоже не знаю! — простонала Зельда. — Но вся сгораю от стыда. Он сидит там с женщиной! Недаром, вернувшись из города, он снял себе отдельную комнату.

Мильтон и Сарра не могли вымолвить слова.

Какая ужасная драма разыгрывалась перед ними. Другая женщина! Отдельная комната!

Очнувшись первым, Мильтон бросился вниз в контору гостиницы и попросил ключ от другой комнаты мистера Маранца.

— У мистера Маранца нет другой комнаты, — ответили в конторе.

Вернулся Мильтон успокоенным, но Зельда взглянула на него с сожалением.

— Ты спрашивал швейцара? Спроси лучше горничную.

Не далее, как вчера, когда Мендель пошел наверх, чтобы сменить костюм. Зельда, стоя за спиной у горничной, собственными глазами видела, как он проскользнул в другую комнату.

Сарра и Мильтон на цыпочках пошли по коридору к той секретной комнате, где они должны были накрыть его, входящего с любовницей в номер.

Но что это? Неужели поздно? Дверь была заперта изнутри, и в замочной скважине торчал ключ. Мильтон с необыкновенной ловкостью при помощи перочинного ножа вытянул ключ,

вложил другой, повернул им два раза и широко распахнул дверь.

Что может быть ужаснее того, что они увидели? Мендель — великий, мудрый Мендель Маранц, автор глубоких мыслей и необыкновенных изречений, — лежал на диване, полураздетый и босой. Его одежда была разбросана по комнате, воздух был пропитан крепким запахом турецкого табака.

"Как можно после этого верить в человеческую природу? Если такой человек, настоящий святой, ца д и к, может проделывать подобные вещи!"

С выражением мучительной боли на лице Зельда смотрела на него, как на прокаженного. Дети стояли рядом, униженные и оскорбленные такой безобразной действительностью.

На столе шумел самовар, издавая приятный запах чая, и стояли разные закуски. У стены в открытом настежь гардеробе висели бархатные и шелковые халаты, какие носят принцы в часы послеобеденного отдыха. Мендель превратил свою комнату в волшебный уголок в восточном вкусе, где он проводил время вместе с ней. Но где же она? У нее, конечно, было достаточно времени, чтобы спрятаться...

Мендель поднялся с дивана, безнадежно махнув рукой.

— Я так и знал, что меня в конце концов накроют, — сказал он с досадой. — Что такое жена? Ливень. Она всегда может расстроить пикник.

Зельда в ужасе отшатнулась.

— Он еще смеет упрекать меня за то, что я его поймала. Шарлатан! Как можешь ты смотреть мне в глаза!

— Я не могу смотреть тебе в глаза, если ты стоишь ко мне задом, — раздался голос из-за ее спины.

Зельда обернулась. В дверях стоял Мендель, одетый в серый костюм, тот самый, что она видела на нем в лесу.

— Мендель! — воскликнула она.

— Отец! — вскричала Сарра, хватаясь за Мильтона, который ухватился за кресло, и все трое, с ужасом смотрели то на Менделя в сером костюме, стоявшего на пороге, то на Менделя в халате, сидевшего на диване.

Оба Менделя расхохотались.

— Что такое жена? Воздушный шар. Она поднимается в воздух, — сказал первый.

— Что такое муж? Балласт. Он остается на земле, — сказал второй.

Тот, что был в халате, подошел к Зельде, но она в ужасе попятилась назад.

— Не бойся, Зельда. Я настоящий. Взгляни на бородавку у меня на мизинце. А этот джентельмен, — указал он на другого Менделя, — мистер Джеймс Фенимор Куперберг, знаменитый актер театра "Палас", что на Второй Авеню. Это мой старый приятель. Он пришел ко мне получить жалованье. Что такое служба? Воротник. Каждый любит, чтобы он был мягким.

— Ну, про мою службу нельзя сказать, чтоб она была мягкой, — сказал Куперберг.

— Вы это, наверное, про ежедневное катание верхом? Знаешь, Зельда, я согласен платить по сто долларов в минуту, лишь бы я мог лежать на диване и смотреть в окно, как этот бедный малый пляшет там в седле. В наше время, если тебе нужно отдохнуть там, где отдыхает "общество", то тебе нужно нанять актера, который бы разыгрывал твою роль. Нужно работать, по крайней мере, в две смены! Поэтому я пригласил мистера Куперберга для дневной работы, а для себя оставил ночную. Потому что, Зельда, мое здоровье — это текущий счет в банке. Я не могу тратить больше того, что у меня есть. И потому-то м-р Куперберг играет за меня в гольф, в теннис и катается верхом, а я только ем и сплю. Он обливается потом, я, лежа на диване, покуриваю свою трубку.

— А что ты можешь сказать мне про ту женщину? — спросила Зельда, недоверчиво глядя на него. Все это придумано для отговорки, и без участия женщины тут не обошлось.

— Разве ты не понимаешь? Я нанял мистера Куперберга выполнять все работы, которые требуются на курорте. А флирт здесь главный спорт. Все это у нас обозначено в договоре.

Мистер Куперберг выглядел смущенным.

— Сказать вам правду, — заметил он, — я так уставал от своих обязанностей, что мне было не до флирта.

Зельда насторожилась.

— Но я видела своими собственными глазами, мистер...

— Мне, как видно, придется объяснить все до конца, — продолжал Куперберг. — Женщина, которую вы видели, — моя супруга. Я занимался с ней репетицией изречений мистера Маранца. Она утверждает, что они годятся для сцены.

БОЛЕЗНЬ МИЛЬТОНА

— Мильтон, что такое молодость? Виски. Что такое возмужалость? Вино. Что такое старость? Уксус. Но ты, Мильтон, сделался кислым слишком рано. Молодой человек, а вид у тебя, как у прошлогодней соломенной шляпы.

Мильтон постучал папиросой о крышку своего портсигара. — Мне нужна перемена в жизни.

— Что? Человек, имеющий три профессии и жену, еще нуждается в перемене? Что такое энергия? Суп. Если его налить в сито, он потечет во все дыры.

— Нет, папа, вы меня просто избаловали, — сказал он с упреком. — С тех пор как я женился на Сарре, вы со мной так носитесь, что я чувствую себя маленькой комнатной собачонкой с розовой лентой на шее.

— А что же ты хочешь, чтобы я всего тебя лишил? Конечно, — продолжал Мендель, — Сарра и Зельда могли бы немного украсить твою жизнь. Она скажет Сарре то, чего ты не говорил, а тебе скажет то, чего Сарра не думала, и сразу полетят горшки и кастрюли! Почему нет? Что такое любовь? Футбол. Чем больше шрамов, тем больше чести.

— Я говорю серьезно, — возразил Мильтон, — а вы начинаете шутить. Я ни с кем не собираюсь драться. Я чувствую себя какой-то обезьянкой в клетке, забавляющей своего ребенка.

Мендель в нетерпении замахал руками.

— Мильтон, что такое жизнь? Нож для масла. Обе стороны ее тупые. После того как ты порвешь штаны, выбираясь из клетки, ты полезешь обратно, чтобы тебе их зашили. Что такое жизнь? Берег моря. Что такое счастье? Прилив. Что такое человек. Раковина. Как бы она ни лежала, ее будет бросать волна. Что такое женатый человек? Раб одной женщины. А

что такое холостяк? Раб всех. Если ты не доволен жизнью, Мильтон, то это не потому, что тебе нужно уехать. Что такое путешествие? Перемена декорации. Сцена остается на месте.

— Но если он хочет путешествовать, — вмешалась Зельда, — то почему ему не взять Сарру и ребенка и не проехаться в Лонг-Айленд. Я приготовлю им корзиночку с сэндвичами.

— Это прекрасная идея, — сказал Мильтон, — но, я думаю, мне лучше проехаться в Европу, пополнить образование.

— Учиться! — воскликнула Зельда с ужасом на лице. — Еще один школяр на мою голову! Когда ты остановишься? Ты и так уже зубной врач, и доктор, и адвокат.

— Вы шутите со мной, потому что не понимаете меня, — сказал Мильтон. — Я хочу достигнуть чего-нибудь, что было бы действительно моим. Вы, папа, изобрели комбинированный прибор для квартиры, придумали машину, которая моет полы, посуду и стирает белье. А я? Что сделал я?

Было в голосе Мильтона что-то такое, что врезалось в сердце Менделя, как нож. "Что такое зять? Керосиновая лампа. Когда она начинает коптить, следи за стеклом!" — думал он.

Мильтон все чаще лежал в гамаке на веранде и размышлял о том, как изменить жизнь. Если Мендель, водопроводчик, мог изобрести машину, которая содержит дом в чистоте, то почему он, доктор, не может придумать какой-нибудь препарат, сохраняющий человеческое здоровье?

Эта мысль вспыхнула в его уме, как искра под колесом железнодорожного вагона. Он уже видел, как он находит такое медицинское средство, которое излечивает все известные людям болезни и оздоравливает жизнь семьи и общества. Ему чудилась международная медицинская выставка, где его средство получает патент, где ученые всего мира интересуются его трудами и восхваляют автора — Мильтона Шпица!

Но понимала ли его Сарра? Могла ли она оценить эту великую идею, заключенную в его мозгу? Нисколько! Она вдруг восклицала: "А знаешь, Мильтон, у нашего Соломона режутся зубки!" И тогда Мильтон, занятый мучившей его мыслью об универсальном средстве, отвечал: "Убавь ему молока!" и в мрачном молчании погружался в свои мысли.

ЖЕРТВА

В этот день в доме Маранцев царила необыкновенная суэта.

— Ну, хорошо, если ты его отпускаешь, то мне все равно, — говорила Зельда дочери. — Но зачем затевать банкет? Ты хочешь, чтоб я разорвалась на части?

Надев на себя фартук, Зельда почти все делала сама, как в те времена, когда они жили на улице Питт, и покрикивала на служанок, чтобы ей не мешали.

Наступил вечер банкета. Скоро соберутся родственники: Бернард Шнапс с Мириам, Дебора и Макс, Жанны и Марк, Леон и Далила.

Первым явился Бернард. Подозрительно сморщив лоб, он спросил:

— В чем дело, что Мильтон так внезапно собрался уезжать?

— Учиться! — сказала Зельда. — Ведь Мильтон еще совсем мальчик. Он имеет только одного ребенка, жену и три профессии.

— Фу! — недовольно воскликнул Бернард. — Я такой человек — когда я учусь и играю в покер, то я все делаю в меру. Если Мильтону надо много книг, то почему бы ему не поступить сторожем при библиотеке?

— Посмотрите на моего мужа, — сказала жена Бернарда, — он не окончил даже начальной школы, а ему сразу дали место сторожа.

— Послушай, Мириам, ты опять вспомнила свою старую привычку — хвалить меня при других.

— А что я сказала? — возразила Мириам. — Он никогда не дает мне говорить правду. Как я могла сказать, что ты окончил школу, если ты не умеешь даже расписаться?

Бернард схватился за голову.

— Скажите, пожалуйста, почему здесь закрыты все окна? — воскликнул он. — Или вы думаете, что банкет должен происходить в ванной?

За столом Бернард снова взялся за племянника.

— Ну, как ты себя чувствуешь, Мильтон? — весело воскликнул Бернард, ударяя его ладонью по спине, когда тот поднес чашку горячего чаю ко рту. — Желаю тебе счастливого пути!

Мильтон вытер лицо, обрызганное чаем, и опять поднес чашку ко рту.

— Я надеюсь, — продолжал Берnard, снова хлопая его по спине, — что это путешествие тебе будет на пользу.

Мильтон опять облился, чай стекал по его лицу, но он старался казаться спокойным.

— Благодарю вас, дядюшка, но я хотел бы, чтоб вы не давали воли рукам, когда разговариваете!

После банкета Зельда, придя в себя, набросилась на Менделя.

— Ну, великий изобретатель, что ты придумал для того, чтоб Мильтон не уезжал?

Мендель печально покачал головой.

— Если ты удержишь его сегодня, он уедет завтра. Что такое молодость? Беспечный шофер. Не стой у него на дороге.

— Ага! Я, значит, должна наблюдать, как он переедет Сарру? Хороший отец! Не хочет даже шевельнуть пальцем для счастья своего ребенка.

— Зельда, я ничего не могу сейчас сделать. Что такое идея? Кукушка. Она появляется тогда, когда пробьет час.

— Много получается из твоих кукушек! — сказала Зельда, ложась в постель.

На утро после отъезда Мильтона, Мендель решил поговорить с дочерью:

— Послушай, Сарра, садись рядом и давай потолкуем. Что такое молодая женщина? Устрица. Она прячет свое лицо, но не может спрятать своего горя.

— Он уехал от нас навсегда; — заплакала Сарра. — Ты сам это понимаешь, отец!

— Глупости! — рассмеялся Мендель, слегка откашливаясь. Ты, как та глупая мать, которая думает, что ее ребенок умирает, когда у него только прорезаются зубы. У Мильтона просто режутся зубы — вот и все! Ты должна знать, что в супружестве бывают периоды, когда режутся зубы, нападает корь и коклюш, а потом приходит ревматизм и желчный камень, и болезни почек. Что такое романтика? Китайская ваза. Что такое реальность? Китайская прачечная. Что такое брак? Пьеса

построенная на трюках. Ты всегда должна ожидать самого неожиданного.

— Вот, значит, как кончаются браки по любви, — засмеялась Сарра болезненным смехом.

— Довольно, довольно, — сказал Мендель. — Выйти замуж по любви — все равно, что написать картину из-за любви к искусству — тут еще нет гарантии в успехе. Что такое счастье? Автомат, выбрасывающий конфеты. Ты бросаешь в него монету, но не всегда выскакивает конфетка. А что такое несчастье? Пилюля. Проглоти ее и молчи.

— Но если все так неопределенно, то как же можно быть спокойной и молчать?

— Сарра, не отчаивайся. Что такое смерть? Запасной выход в театре. В случае пожара не беги, а иди спокойно, придет и твоя очередь. Что такое несчастье? Мухи. Бей их, но не тогда, когда они у тебя на носу. Что такое муж? Пороховой погреб. Что такое жена? Шнурок для зажигания. Если их соединить — происходит взрыв. Мильтон покинул тебя, но он тебя любит. Ты смеешься, а? Вот увидишь. Что такое молодость? Сифон зельтерской воды. Последние капли шипят особенно сильно... Что такое жизнь? Граммофон. Не нужно все время играть на одной пластинке.

...Так прошло два года. Сарра все еще улыбалась, а Мендель все еще надеялся.

Как-то раз Сарра не явилась к обеду. Она жила с родителями и каждый день после завтрака уходила с Соломоном в парк. К двенадцати она обычно возвращалась кормить ребенка.

Но сегодня она опаздывала. Было уже начало второго.

Зельда подошла к окну и отдернула занавеску.

Солнце улыбалось ей. цветы на клумбах покачивали своими головками, птицы радостно щебетали.

— Когда все чересчур весело, тогда у меня беспокойно на душе, — сказала вслух Зельда. — Хотя бы пришел Мендель.

— И что было бы тогда? — спросил Мендель, внезапно появляясь перед ней.

— Ты всегда так, подкрадываешься сзади, как кошка. Я

стою и думаю о Сарре. Где она? Давно уже должна была вернуться с прогулки...

За последние месяцы Сарра окончательно пала духом. Зельда беспокоилась, видя, как она страдает, а Мендель только посмеивался.

— Что такое женщина? Хлопушка. Много шума из-за ничего, — сказал Мендель и отправился искать Сарру.

Прошло с полчаса мучительного ожидания. Зельда, стоя у окна, строила предположения.

"Может быть, на нее налетел автомобиль, или она пошла к соседям: ребенок играл с газом и произошел взрыв, или она пошла в кино, и там случился пожар?.."

Наконец Мендель вернулся.

— Ну, что?

Он с трудом дышал от быстрой ходьбы и дал ей знак следовать за ним. Зельда чувствовала, как бьется ее сердце. Мендель повел ее через сад к озеру. Зельда заметила, что глаза у него были влажными.

Приблизившись к озеру, он остановился. При солнечном свете голова Менделя казалась серебристой. Он весь осунулся и постарел.

— Кончено, наконец! — прошептал он.

Зельда взглянула в ту сторону, куда он указал. На скамейке, под развесистой старой ивой, сидели Мильтон и Сарра.

Зельда не верила глазам и хотела было броситься к ним, но Мендель удержал ее.

— Оставь их в покое. Они оба порядочно страдали. Она тут, а он там. Видишь, это озеро, Зельда? Если бы он не вернулся, Сарра, наверное, нашла бы покой на его дне.

— Но где ты отыскал его? Как он здесь очутился?

— Что я могу сказать тебе? Мильтон уехал в Европу, чтобы создать себе имя. Это ты знаешь. Его имя останется навсегда в истории изобретений, которые провалились. Он задался идеей изобрести универсальное средство от всех болезней, но вылечил только самого себя. И знаешь, Зельда, кто его вылечил? Крупные аптекарские фирмы. Они приняли все меры, чтобы расстроить его планы. Сперва они украли у него его идею, затем начали конкурировать с ним и вытеснили с рынка. А он

все не сдавался и продолжал вкладывать в дело все новые капиталы, ведя борьбу с этими фирмами. Но наконец он получил последний удар — средства его иссякли. Тогда он понял, что он мог так же легко потерпеть поражение с семьей, как и без семьи.

— Но сколько денег он должен был ухлопать! — воскликнула Зельда. — Боже мой! Он, наверное, разорил тысячи людей. Как он все это отдаст?

— Он не будет ничего отдавать, — сказал Мендель, и на глазах его выступили слезы. — Все это были мои деньги... Видишь, Зельда, как они сидят вон там рядышком, держа Соломона на коленях. Ну разве это не стоит всех моих денег! Ты думаешь, он нашел бы дураков, которые стали бы его поддерживать? Все его финансисты были моими агентами. Он сам этого пока не знает. Я следил за ним издали все это время. И все время помогал ему. Чем я пожертвовал? Только деньгами. А что спас?.. Что такое жизнь? Колесо рулетки. Каждому предоставляется возможность проиграть. Если бы Мильтон не получил этой возможности, он переходил бы от одной причуды к другой, а что было бы с нашей дочерью? Зато теперь он осядет. Что такое бедность? Бумага для мух. Стоит только прилипнуть к ней, и тогда уже не отделаться.

Итак, Зельда, нам теперь придется менять квартиру. Куда ты сунула мой старый рабочий костюм? Ты знаешь, что мы сделаем? Пусть эта пара остается — они могут прожить здесь еще с недельку, а мы поедем в Нью-Йорк и подготовим банкет — на этот раз уже самый настоящий. Ты догадываешься, о чем я говорю? Я приглядел три приличных комнатки на улице Питт, на четвертом этаже, неподалеку от места, где мы жили раньше.

МЕНДЕЛЬ МАРАНЦ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Как всегда, Мендель Маранц предпочитал смотреть на случившееся философски. Для него потеря четверти миллиона долларов была прекрасной темой для размышления. Сидя в кресле, он вынул портсигар и закурил.

— В конце концов, мы пожертвовали своим богатством ради счастья дочери. Что такое жертва? Дерганье зубов. Оно неприятно, но от него не умирают. Пусть лучше у Сарры будет муж, чем у нас лакеи. Что такое счастье? Солнечный свет. Один луч в подвале стоит двух лучей на крыше!

— Но все-таки твоими речами плиту не вытопишь, — сказала Зельда, гремя печной решеткой.

— Что такое жена? Виноград. Он кислый по природе. Мы бедны лишь одну неделю, а ты уже недовольна. Разве ты не мечтала о том, чтобы спасти Сарру? Что такое женская голова? Флюгер, который вертится на ветру.

— Но нам нужно что-нибудь есть или нет? Если Мильтон был настолько глуп, что потерял целое состояние, а ты был еще более глуп, что поддержал его, то это не значит, что мы должны голодать и чувствовать себя счастливыми. Если бы не он, то мы, может быть, уже были бы миллионерами.

— Ты, Зельда, не должна осуждать Мильтона. Как я додумался до идеи, которая принесла нам богатство, так он своей идеей лишил нас всего. Что такое идеи? Турникет. Его можно поворачивать в обе стороны!

— И ты думаешь, что, живя на улице Питт, рядом с мусорными ящиками и дохлыми кошками, Сарра чувствует себя счастливой?

— Что такое счастье? Беглец. Откуда ты знаешь, где оно скрывается? Подожди, бедность еще может сослужить нам службу. Что такое несчастье? Устрица. Ты можешь найти в ней жемчуг.

— Ты лучше подумай о своих детях. Посмотри на Лену, какое ты ей дашь приданое? Нищету и свои басни? А Натан? Мильтону ты давал деньги, чтобы он их прожигал, а у Натана нет и гроша.

— Послушай, Зельда. Я не люблю толкать море обратно. Нас сюда прибило приливом. Мы должны спокойно сидеть и ждать, пока наступит отлив. Что такое богатство? Конфеты. Они сладкие, но я могу обходиться и без них. Что такое бедность? Соленые огурцы, они соленые, но я люблю их.

— Ах, вот ты как? — двинулась на него Зельда. — Вот чем

ты хочешь прикрыть свою лень. Учти, мистер Мендель Маранц, если ты хочешь, чтоб мы опять были нищими, как раньше, — значит, ты плохо знаешь свою жену!

Мендель замахал руками.

— Не беспокойся. Хорошо знаю. Что такое счастье? Барышня. Что такое несчастье? Вдова. И вот теперь я женился на ней.

— Ничего, ничего! — не унималась Зельда. — У нас был уже такой разговор десять лет назад. Только тогда у тебя были еще мозги в голове. Тогда ты не стал тратить время попусту, а взял старое ведро, доску для стирки, щетки и придумал комбинированный прибор, от которого мы разбогатели. Разве я была против? Пока еще не знала, что из этого выйдет... Так и теперь, бери эти старые щетки и разбитое ведро и придумай какое-нибудь изобретение.

— Да... Зельда, у тебя тоже, как я вижу, есть мозги, но вопрос, где они? Ты думаешь, для меня так же легко изобретать, как для тебя варить щи? Что такое изобретение? Штопор. Он должен меняться при каждом повороте. Послушай, что я тебе скажу — улица Питт не так уж плоха. Что такое честолюбие? Волчок. Он должен кружиться, пока не накружится. А что такое довольство? Черепаха. Ей мало нужно, и потому она долго живет!.. Что ж ты подняла такую пыль?

— Чтоб ты перестал молоть языком? — огрызнулась Зельда, прочищая решетку. — У меня болит голова от золы, но еще больше от твоих разговоров.

— Будет тебе прочищать решетку. Дай мне лучше стакан чаю прочистить горло.

— И у тебя хватает наглости просить чаю! Сидит себе, как банкир, и приказывает. Я дала бы тебе чаю, — сказала Зельда уже другим тоном, — если бы ты взялся за дело и изобрел что-нибудь. Но я знаю, что ты только даром пьешь чай... Завтра же с утра отправляйся на рынок и ищи работу. Не хочешь изобретать, будешь проводить канализацию. Хороших дождались времен! Мендель Маранц, великий изобретатель, опять сделался водопроводчиком! Я краснею от стыда, когда думаю об этом. И ты у меня не будешь сидеть в парке, читать газету и дремать. Во-первых, я пошлю Джекки, чтоб он следил за тобой, и тебе не удастся никого обмануть.

— Что такое семья? Телега. Что такое муж? Лошадь. Что такое жена? Кнут. Но не забывай, Зельда, что есть общество покровительства животных.

— Мы слышали эти шутки раньше. Ленивую лошадь надо подстегивать кнутом!

Утром на другой день Зельда принялась будить Менделя. Он пробормотал: "Га?" и опять заснул. Она дернула его за рукав еще раз.

— Мне жалко тебя, Мендель, но если ты сейчас же не встанешь, то я вылью кувшин воды тебе на голову.

Мендель поднялся на локте.

— Послушай, Зельда, — сказал он. — Что такое ум? Богатство. Почему у тебя его нет? Спи и не мешай спать другим!

Но Зельда не оставляла его в покое.

— Что такое женщина? Град. Как ни изворачивайся, он тебя хлещет, — сказал он и стал нехотя одеваться.

Он вернулся туда, где начал по приезду в Америку двадцать два года назад, — водопроводчик с улицы Питт. "Мендель Маранц, великий изобретатель!" — думал он. А дома Зельда думала про себя: "И как он может сносить такой позор? Пройдет неделя, и он не выдержит. И опять займется изобретениями".

Мордехай Леп, бакалейный торговец, проходя мимо, взглянул на Менделя и от изумления чуть-чуть не откусил кусок бороды. В это утро на улице Питт уже знали, что случилось с бывшим миллионером.

— Вот так оно и бывает! Сегодня ты наверху, а завтра — внизу... Вы что желаете? Три фунта луку?

— Мы должны помочь ему. Это позор для нашего района, — сказал Якоб Браунер, пожизненный председатель "Общества скорой помощи в несчастных случаях". У него была колбасная фабрика и жена, и никто не мог точно сказать, что именно побудило его учредить общество скорой помощи.

— Не желаете ли зайти со мной в кафе Гроссберга выпить стакан чаю? — предложил при встрече Браунер Менделю, и когда Мендель пил чай, бакалейщик говорил:

— Мы хотим помочь вам. Можно ссудить вас деньгами, что-

бы вы могли начать какое-нибудь дело, скажем, открыть колбасную торговлю.

— Нет спасибо. Что такое торговля? Лотерея. Покупают билеты тысячи, а выигрывают только один.

— Может быть, вы хотите попробовать нашу колбасу? — предложила Гертруда, жена Браунера. — Я наложу вам корзиночку, и вы отнесете своей бедной семье.

— Что такое колбаса? Мы не знаем. Поэтому у нас в семье ее никто не ест.

— Что? Вы не едите колбасы Браунера? Да знаете ли вы, что это лучшая колбаса в мире! — воскликнул Симон Браунер, товарищ председателя "Общества скорой помощи". — Ветчина и сосиски по сравнению с ней ничто.

— А что вы можете сказать про нашу гамбургскую? — встала Гертруда, едва сдерживая гнев. — Мы получили заказ на тридцать фунтов для детского дома. А наша ливерная? Получен заказ на триста фунтов для сиротского дома.

— И двести семьдесят фунтов отправлено по заказу в убежище инвалидов! воскликнул глава "Общества скорой помощи". — А что вы можете сказать по поводу нашей колбасы?

— Ничего не могу сказать, — ответил Мендель. — Вы пичкаете мир колбасой. Но есть два рода голода, миссис Браунер, — голодный желудок и голодная душа, и меня вы сосисками не накормите.

Мендель встал, заплатил за чай и вышел, а члены общества еще долго не могли оправиться от нанесенного им оскорбления.

Владимир СОЛОВЬЕВ, Елена КЛЕПИКОВА

БОРЬБА В КРЕМЛЕ —

ОТ АНДРОПОВА ДО ГОРБАЧЕВА

Вслед за американским изданием (издательство "Додд, Мид"), весной 1986 года "Время и мы" выпустило книгу Владимира Соловьева и Елены Клепиковой "Борьба в Кремле — от Андропова до Горбачева".

Для русского издания авторы предоставили дополнительные материалы, не вошедшие в английское издание книги.

Авторы — журналисты и политологи, постоянно выступают во многих американских газетах ("Нью-Йорк Таймс", "Вашингтон Пост", "Дейли Ньюс", "Чикаго Трибюн" и др.) . Их перу принадлежит вышедшая в издательстве "Макмиллан" и широко нашумевшая книга "Андропов".

СОДЕРЖАНИЕ

**ПРЕДЕЛЫ ПОНИМАНИЯ: ЧТО МИР ЗНАЕТ О КРЕМЛЕ И ЧТО
КРЕМЛЬ — О МИРЕ**

**О ТОМ КАК СТРАНА УПРАВЛЯЛАСЬ СО СМЕРТНОГО ОДРА
ДУЭЛЬ У ГРОБА АНДРОПОВА, ИЛИ О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО
В КРЕМЛЕ ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ МЕЖДУ ЕГО СМЕРТЬЮ И ЕГО
ПОХОРОНАМИ**

**ИНТЕРМЕЦЦО С КОНСТАНТИНОМ ЧЕРНЕНКО
ТАЙНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИМПЕРИИ — КГБ**

**ГАМЛЕТОВЫ СОМНЕНИЯ КРЕМЛЯ: КАК БЫТЬ С ПОЛЬШЕЙ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ КРЕМЛЕВСКИХ МАФИЙ, ИЛИ ПОЧЕМУ
В КРЕМЛЕ НЕТ ЕВРЕЕВ. ЖЕНЩИН, МОСКВИЧЕЙ И ВОЕННЫХ?
КОРОЛЬ УМЕР — ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!**

ЗНАКОМЬТЕСЬ: МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ

**ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТАВРОПОЛЬСКИЕ ПЕНАТЫ**

БАЛОВЕНЬ ПОЛИТБЮРО

ТЕНЬ СТАЛИНА НАД КРЕМЛЕМ

КРЕМЛЬ, ИМПЕРИЯ И НАРОД, ИЛИ ПАРАДОКС НАРОДОВЛАСТИЯ

Цена книги — 16 долларов.

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We
409 High wood Avenue
Leonia, NJ 07605, USA



Альберт ЛЕИН

ЧЕРНЫЕ КЛАВИШИ, БЕЛЫЕ КЛАВИШИ

Памяти А.Тарковского

Черные клавиши, белые клавиши,
Мир покоряющий Бах,
Черные клавиши, белые клавиши,
Снова бессоницы страх.

Черные лебеди, белые лебеди
В небе испуганных снов,
Черные лебеди, белые лебеди
Не приукрашенных слов.

Черные волосы, белые волосы
Разгоряченных висков,
Черные волосы, белые волосы
Мыслей тяжелых песков.

Черными звуками, белыми звуками
 Времени сыпется прах,
 Черными звуками, белыми звуками
 Миром владеющий Бах.

* * *

Шел первый час обыденной ночи,
 Летали сны над облаками,
 Когда луны взгляд землю облучил —
 Дышало небо звездными боками.

Над крышами кружился листопад,
 Листва ветрам рукоплескала,
 Еще час в прошлое упал,
 Подхваченный погибели руками.

Пожаром поглощенная зари,
 Ночь поклонилась юному рассвету,
 И вечность вся из дней, ночей горит,
 И первыми сгорают в ней поэты.

ДРУЗЬЯМ

Я строил дом поэм, стихов,
 Не лицемерил,
 Друзья мои мне помогли
 Цементом веры.

Глядела окнами стена,
 А что же выше?
 Друзья пришли и принесли
 Надежды крышу.

Мне надо было застеклить
 Пустые рамы,
 Друзья дарили мне стекло,
 Тепла карманы.

Мы дом построили, и вот
 На новоселье
 Друзья мои преподнесли
 Мне вдохновенье.

МОЛИТВА

Лес нахмурил зеленые брови,
 Поднял к небу в молитве глаза:
 "Нам дождя бы, как донорской крови,
 Появленье грибов предсказать!"

"Нам дождя бы", — кричали осины,
 Белоствольные чащи берез
 Тоже влаги у неба просили,
 Как святых исцеляющих слез.

И притихшие стройные ели,
 И дубы, и подросток-сосняк
 Все у неба в молитвах просили
 Облаков свежей крови — дождя.

ЭЛЕГИЯ

Воспоминаньем по весне,
 О молодости сада
 Играла музыка Маснэ
 На струнах листопада.

Октябрь задумчиво глядел,
 Как по пустым аллеям
 Ходила желтая метель,
 Элегией болея.

* * *

На коленях теплый плед,
 Ночь плывет в тумане белом,
 Истощилась, поредела
 Книжка чековая лет.

Безрассудочно щедры
 Все мы в юности бываем,
 Чеки времени швыряем
 В небытья пустые рты.

И совсем не в нашей власти
 Быть желанными в гостях...
 Обрываются запасы
 Дней на чековых листах.

* * *

Руками чистыми снега
 Земли разгладили морщины,
 Деревьев ветви, как рога
 Уткнулись в мох небесный синий.

Как откровенья торжество
 И мыслей новое начало,
 Когда средь белых ветер волн
 Снежинку каждую качает.

И если солнце вдруг лучат
 Начнет выгуливать по крышам,
 Сосулек гроздь заблестят,
 Бросая вниз капли вишни.

Торопят дворники в стога
 Собрать рассыпанную снежность.
 Идут, летят, кружат снега —
 Зимы ликующей одежды.

ВРЕМЕНА ГОДА

Под ножом весны зима
 Истекает серой кровью,
 После зимнего погрома
 Обнажается земля.

Без волос листвы деревья,
 Веток черные окурки,
 Лебедь в чистой белой куртке
 Расправляет клювом перья.

Грач ликующим мотивом
 Распленяет крылья песне,
 Упивающийся мезью
 За молчанье в жизни зимней.

Как щенок резвится ветер,
 Прыгнул в ноги, лижет руки,
 После долгих дней разлуки
 Март себя опять отметил.

А за далью зреет лето,
К своему готовясь часу,
Переменчивого счастья
Неподвластные приметы.

А потом октябрь флаги
Сбросит зелени добычу,
И прощаньем песня птичья
Прокричит над облаками.

И по окнам вновь гравюры
Гениальности мороза,
Лепестками белой розы
Опьянит зимы натура.

Александр ЛАЙКО

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

В таверне суета и шум, и гам,
обслуги безразличие и хамство,
и пальмы в пыльных кадках по углам
венчают это злачное пространство.

Но с жизнью примиряет натюрморт.
Дрянцо-винцо в копеечном бокале,
нож, указующий на море, порт
вдруг, отразив светило, засверкали.

И спектр стекла на скатерти, металл,
отбросивший мерцающие пики, —
неслышный праздник, вечный карнавал
в связи со светом, таинством великим.

И мальчик снова двери отворит,
в стеклянной ручке солнце заискрится,

с ним кто-то, наклонившись, говорит,
в саду свистит неведомая птица.

Он улыбаясь, бесконечно рад
гостям, родным... А те шумят, смеются —
все живы, и открыты окна в сад,
и зелень бликами лежит на блюде.

ОФИЦИАНТКА ОБЩЕПИТА

(Искусство и жизнь}

Она парит в парах похлебок,
она летит а ля Шагал,
и ноги брызжут из-под юбок,
пол стонет в такт ее шагам.

Майоль ваял ее Помоной,
отъяв тарелки с гуляшом,
отбросив фартучек зеленый,
и совершенно нагишом.

Кустодиев плеча и пястье
мизинчик томный утолстит,
напишет самовар и счастье,
кота и ямочки ланит.

А Рубенс так ее напишет:
среди куропаток и спаржи,
вина янтарного и вишен
вальяжно дышит и лежит.

Она сработана на славу,
Цирцея отроческих снов,
и власть справляет с ней Забаву
лихой райвоенком Брунов.

БРОШЕННАЯ ДЕРЕВНЯ

Испуг рождала тишина
среди разнотравья, зноя, лета —
во сне так, убегая сна,
еще не знаешь — явь ли это —
звезда падучая, комета
пересекает небосвод:
чужая жизнь, прервавшись где-то,
тебе покоя не дает.

Но это явь: изба, стена,
смола, светилом разогрета,
черны глазницы — два окна,
подкова на двери — примета
удачи, но другая мета
мрачила здесь за родом род —
народ, отпавший от Завета,
тебе покоя не дает.

Беда больней обнажена
в лучах полуденного света,
деревня мертвая страшна:
чугун, костыль, рядно, газета,
и там, над крышей сельсовета,
флаг, осеняющий исход,
и кукла с вышивкою "света"
тебе покоя не дает.

И ни приветов, ни ответов,
и тройки бешеный разлет —
созданье мрачного поэта —
тебе покоя не дает.

ТОСТ

*(К портрету Л.В.Никитиной
кисти Н.П.Богданова-Бельского)*

Все женщины... Я поминаю дам.
Не говорю "Прекрасных"... Как-то вам
в погостах ленинградских спится,
на кладбищах Парижа, Рима, Ниццы
и по сибирским ямам и углам?

Я пью за вас, блистательные тени,
за вальс, за ваши руки и колени,
и городость длинношеих лебедей,
за ту осанку вольную людей,
которая не подлежит подмене.

Вы были несравненны, видит Бог.
Когда взводился равенства курок,
вы не равнялись — присно и вовеки —
любой пустяк, корсетный ваш шнурок,
для равенства тяжеле Каабы Мекки.

Живущий неравним. Лишь неживые
в эпохи смутные и ножевые —
суть равенство и чистота доктрин.
Что вам пенять за хрупкость ваших спин,
когда мужицкие хрустели выи.

Живущий неравним. И потому мертвы,
вы — воздух, мотыльки Пальмиры, вы,
загинувшие в ней, в чужих столицах,
и отзвук ваших лиц напрасно в лицах
лимитно-вырожденческой Москвы

или провинции Петрова града
отыскивать сегодня... И не надо,

и что там говорить... Я поминаю дам,
я поднимаю горестный "Агдам"
за смех ваш и улыбку, мех наряда,
за сентимент и томность взгляда вдаль,
за гарус, парус, шляпку и вуаль,
слезу, сбежавшую на книгу, вздохи,
когда шарманщик вам хрипел "Трансвааль",
прозрев насильственный финал эпохи.

* * *

Мы расстаемся впопыхах,
 Дурачась, веруя и плача,
 Но разве выживем иначе —
 С зажатой птицею в руках?

С зажатой визою в руках —
 Своей надеждою незрячей
 Мы обменяемся в веках —
 И настоящее упрячем.

А бес, как водится, лукав.
 Звереют сдвоенные рельсы.
 Опять не хватит на плацкарт,

И самолеты след в рукав
 Несут в надежде обогреться
 И улетают на закат...

ЭЛЕГИЯ

Сегодня прощаюсь с тобой втихомолку,
 Как будто щажу обреченную елку,
 что вынесут завтра на ветер и холод...
 И горло твоими иголками колет.
 Гляжу из угла, из волшебного зала, —
 все вроде сказала, и все не сказала, —
 тебе все равно, равнодушное древо,
 и близится срок прекращения плена.
 Откуда нам знать в зеленеющем мраке,
 что голос свободы, — лишь хрипы собаки
 над утренней свалкою Нового года?
 Но в комнате будет свободно. Свободно.
 О дерево, дерево, ломкая крона,
 мой бедный король, испугавшийся трона!
 Великому — воля. А бабе — забота:
 Чтоб в маленьком домике стало свободно...

Инна КЛЕМЕНТ

СКВОЗЬ ПАМЯТИ ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

АВГУСТ

А в августе к нам заново вернется
 Короткая и сладкая пора, —
 Дождь сеется в замшелые колодцы,
 О ведра спотыкаясь до утра.

Цветами оцарапаны колени,
 Ладони отвердели от весла.
 Сквозные и решетчатые тени
 Ложатся у погасшего костра.

Ночами, пересеянное ветром,
 Светящееся брызгами росы,
 Струится облетающее лето
 Сквозь памяти песочные часы.

ПЛАЧ ПО РАДОСТИ

Добра к нему. Не потому,
 Что он талантливей и краше,
 И что собор его украшен, —
 Но просто радуясь ему.
 Как будто выговорить свет,
 Как будто выговорить камень,
 Как будто к куполу — руками,
 Как будто слов на свете нет,
 они запутались меж стен,
 Они... А истина крылата.
 Его шаги шуршат на ладан
 И умолкают насовсем.
 Да будет ветер у ворот
 И звуки стихнут на излете,
 Умрут в оконном переплете,
 Сожмут измучившийся рот.
 Или научишься стеречь
 мой век оставшийся и даже
 Следы гермесовых сандалий,
 Забыв божественную речь.
 В соборе службы не вершат.
 Лишь одинокие туристы
 Стоят торжественно дыша,
 Но их дыхание неслышно.
 А радость пляшет бубенцом,
 Поет на торжище слепцом.

ДИМИТРИЕВСКИЙ СОБОР

Собор во Владимире

На музыку сбегается зверье,
 Белеют стены смертным одеяньем,
 Мелодия — не смерть, и не деянье,
 Не бытие. Лишь качество твое.

Рассеянное дерево поет,
 Вростая в геральдическое древо,
 И музыку направо и налево,
 И облаку и травам отдает.
 Ты — саженец от вечного куста,
 Бессмертие, небесные стропила,
 И я тебя любила и лепила
 Рельефами под тяжестью креста.
 Ни семени, ни плода, ни листа
 Не надобно от музыки скульптурной,
 Здесь музою над траурною урной,
 Владимиром, — смежаются уста.
 Что в имени его заключено,
 Посмертное владение судьбами,
 От музыки меня оберегает,
 От мученичества. Музыке равно.
 Ты, — крестная, прелестная тропа,
 Звериная — по краешку мелодий,
 Соборная — как клятва при народе,
 Беда моя, Эрата, музыкант,
 Нет, — музыка. И стены. Волшебство.
 Отбросила и стены отразила,
 И сердце охладила Мнемозина,
 Рожденная от имени его.
 ...Лепила разношерстное зверье,
 И складывала радужные стены,
 И куполом в небесном запустеньи
 Вращалось одиночество мое.

ИНТЕРЬЕР

Подкупольное озеро пространств,
 Сменяющих движение на транс,
 Вне времени и оклика скольжение
 В потоке света. Хуже кислоты

Растравливает свет воображенье,
 Вытравливает памяти черты.
 Соборная крутая тишина,
 Как сваренное в свет многоголосье,
 И вырастут из узкого окна
 Натруженные голосом колосья,
 Безудержно прорвется желтизна.
 Следящее растение имен,
 Двухмерное цветение согласных,
 Двойное совпадение времен
 В подкупольном сияющем пространстве.
 Со звуками и светом порожден,
 Ты выцветешь в соборном благосвете, —
 От имени сгоревшее предместье,
 Холодная полынная зола, —
 Но ангелы на купольном насесте,
 И грешники из черного угла,
 И ангелы, и грешники, все вместе,
 Все — душу прибирают со стола.

ФЕВРАЛЬ

И там, где оторопь брала,
 На склоне Нового Арбата,
 Дыша в витрины-зеркала,
 Бродили, бедные, когда-то.
 Так оглушительно бедны,
 Что трехкопеечную булку —
 Путеводительную нить —
 Несли вдвоем по переулку.
 И голубая нищета
 Февральской стужею забила,
 Когда вносили на почтамт
 Себя, и все, что с нами было,

Когда стояли в пустоте
 За пронизательную дверью,
 От невозможности присесть
 Тем паче склонные к доверью.
 Мы говорили ни о чем,
 Отогреваясь постепенно,
 Как застекленные в отсчет
 Реклам, витрин и манекенов.
 От этой бедности смешной,
 Ополоумевшей метели, —
 Всему печальному со мной
 Раскрыты тамбурные двери.
 А чтобы — времени назло
 Стоять, пространство зачиная,
 Пока не тронуло стекло
 Забвенья изморозь иная...



Валерий ЧАЛИДЗЕ

ДЕМОКРАТИЯ В РОССИИ?

В этом году празднуется 200-летие американской конституции. Заслуженный юбилей. Не думайте, однако, что это 200-летний юбилей демократии. На самом деле, это 200 лет борьбы за демократию. Конечно, в 1787 году в Америке была демократия, но только для белых землевладельцев. Это была демократия с рабством, демократия, в которой права женщин и многих других даже среди белого населения не признавались. Если бы такая демократия существовала теперь в какой-либо части мира, мы бы протестовали против нее более гневно, чем против режима в Южной Африке.

Тем не менее, эта ранняя демократия была блестящим началом, и американцы могут гордиться собой и своими предками. Я говорю "началом", потому что демократия никогда не может быть названа окончательной, это всегда борьба за демократию, это всегда эволюция демократии.

Характер этой эволюции существенно различен в разных странах. Мы должны помнить, что в каждой стране — свой

путь социального развития и, что очень важно, — свой масштаб времени.

В России основы демократического устройства были заложены в начале этого века. Попытка выглядела многообещающе, но этот эволюционный процесс был грубо прерван теми, кто заявил: "Мы знаем лучший путь, мы знаем, как построить идеальное общество". И они начали свои кровавые эксперименты. Мечта об идеальном обществе и равенстве жила недолго. Сталин сокрушил мечтателей и основал один из наиболее жестоких диктаторских режимов в истории.

За последние тридцать лет Россия медленно оправляется от кошмара сталинской тирании. Хрущев освободил миллионы заключенных и добился того, что отношения между обществом и государством стали более человечными. Интеллигенция немало поработала за эти тридцать лет, чтобы предложить новые идеи и пути будущего развития нации, и деятельность правозащитного движения можно рассматривать как часть этой работы. Правительство со времен смерти Сталина сделало немало для того, чтобы усовершенствовать механизм управления экономикой и повысить жизненный уровень населения. Это делалось медленно, осторожно, иногда с отступлениями, но даже самые суровые критики не могут не признать известного прогресса по сравнению со сталинскими временами.

Хотя жизнь действительно существенно изменилась за эти тридцать лет, структура управления осталась практически такой же, как ее построил Сталин. Структура была построена в расчете на постоянное применение насилия, на постоянную войну правительства против народа. Использование этой сталинской системы в период относительного мира между народом и правительством привело к неэффективности системы управления, коррупции практически на всех уровнях государственного управления, привело к стагнации в экономике и кризисной ситуации в области социальных отношений.

Очевидно, Горбачев — первый советский лидер, который понял тот факт, что если правительство не может или не хочет использовать постоянное насилие против населения, то сама управляющая структура, созданная Сталиным, должна быть как-то изменена.

Какая структура социальных отношений должна заменить существующую? Советские лидеры понимают, что они должны искать и экспериментировать. Важно при этом помнить, что советская система уникальна: никогда раньше в истории не существовало такой мощной индустриальной державы с полной государственной монополией в экономической, политической и культурной жизни. Лишь в ограниченных пределах советские лидеры могут использовать опыт развития других наций и других систем. Каждый шаг в изменении советской системы это историческое событие, которое не имело прецедентов.

Мудрым и смелым решением в такой ситуации было бы спросить народ, как он хочет быть управляем и как следует изменить систему. И Горбачев сделал это! Его призыв к гласности — это призыв к сравнительно открытой критике и дискуссиям. Эта гласность весьма ограничена, далеко не все предложения народа по изменению системы могут всерьез обсуждаться на страницах советской прессы, к тому же никто не знает, как долго эта терпимость к гласности будет продолжаться. Но даже если Горбачев не сможет сделать ничего другого по пути демократизации страны, история будет помнить его призыв к гласности.

Перед Горбачевым стоит множество проблем, включая оппозицию внутри страны. Там достаточно влиятельных людей, которые боятся перемен или относятся к переменам подозрительно. В то же время там достаточно людей нетерпеливых, которые хотят перемен быстрее, чем это возможно. В конечном счете, это дело народов СССР принять и поддержать демократические перемены. Американская конституция была бы немногим более, чем клочком бумаги, если бы не воли американского народа использовать ее как основу для борьбы за демократию. Теперешняя советская конституция, как бы критически к ней ни подходить, вполне может быть юридической базой для развития демократии в России, но вопрос

в том, достаточно ли сильна воля народа, чтобы использовать эту конституцию в этом качестве.

Возникает вопрос, как западный мир должен реагировать на теперешнее развитие в России. Хотя очевидно, что будущее демократическое развитие в России рано или поздно приведет к большей безопасности в мире, могут потребоваться поколения, чтобы увидеть этот результат. В настоящее время Горбачев скорее всего вместе с призывами к миру и разоружению будет продолжать традиционную задиристую политику России в международных отношениях и по традиции, и потому, что его внутренние критики не потерпят никаких признаков слабости в поддержании Россией престижа сверхдержавы. В этом смысле естественно, если Запад по мере возможности будет продолжать политику сопротивления расширению советского влияния в мире, идя в то же время навстречу любой возможности для приемлемого разрешения конфликтов.

В отношении внутреннего развития в Советском Союзе, я думаю, очень разумно, если Запад без всяких предрассудков проявит понимание и окажет поддержку любым, даже самым небольшим шагам в сторону демократизации.

Русский путь к демократии может оказаться весьма длинным. Горбачев и его коллеги начинают строить демократию на существенно другой основе, чем это сделали американцы. Русские стандарты и решения скорее всего будут также другими, однако цель не в том, чтобы построить американскую демократию в России, цель в том, чтобы народы России построили свой собственный социальный порядок, в котором голос народа будет направлять правительство.

От Горбачева требуется много храбрости в обновлении России. Мы должны быть достаточно смелы в том, чтобы поверить, что Горбачев хочет действительно демократизации. Пока в СССР по-прежнему есть политические заключенные и много других свидетельств нарушения прав человека, в это, быть может, трудно поверить. Но я думаю, основываясь на том, что Горбачев сделал уже, он заслужил, чтобы мы поверили в искренность его намерений.

Никто не должен ждать чудес. Развитие демократии в России будет нелегким, демократия в России — это то, за что даже Горбачеву придется бороться.

"СССР: Внутренние противоречия". № 18.

*Декабрь 1986 г.
Бенсон, Вермонт*

. . . ПОКА ЧТО НА СЛОВАХ

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ

До сих пор со страниц эмигрантской печати раздавалась, в основном, критика в адрес Горбачева, хотя и признавалась полезность проводимой в СССР перестройки.

Автор статьи "Демократия в России?", по существу, предлагает новый подход к оценке горбачевских реформ. Валерий Чалидзе почти безоговорочно поддерживает линию нового советского руководства, приходя к выводу, что провозглашенная Горбачевым гласность открывает новую эпоху в истории СССР. "Очевидно, Горбачев — первый советский лидер, который понял тот факт, что, если правительство не может или не хочет использовать постоянное насилие против населения, то сама управляющая структура, созданная Сталиным, должна быть как-то изменена". "Лишь в ограниченных пределах,— продолжает Валерий Чалидзе, — советские лидеры могут использовать опыт развития других наций и других систем. Каждый шаг в изменении советской системы это историческое событие, которое не имело прецедентов. Мудрым и смелым решением в такой ситуации было бы спросить народ, как он хочет быть управляем и как следует изменить систему. И Горбачев сделал это! Его призыв к гласности — это призыв к сравнительно открытой критике и дискуссиям."

Приведенные мысли автора, в которых выражена суть его статьи, вызывают, по меньшей мере, два возражения. Во-первых, у нас нет никаких оснований считать, что Горбачев начал сколь-нибудь серьезные изменения сталинской структуры. Автор ведь и сам соглашается, что в Советском Союзе сохраняется полная государственная монополия в экономической, политической и культурной жизни. До сих пор не сделано никаких серьезных шагов в сторону свободного рынка. Нетронутой остается переживающая тяжелую стагнацию колхозная система. Вся власть в стране монополизирована одной-единственной коммунистической партией. В СССР мы не видим и зачатков политического плюрализма, без которого невозможно всерьез говорить о демокра-

тии. По-прежнему в стране действует тайная полиция. Хотя и в несколько ослабленном виде, существует цензура. СССР остается закрытым обществом, в котором граждане лишены свободы передвижения. Возможно, Горбачев и понял, что сталинская структура должна быть изменена. Вопрос, однако, в том, что практически сделано в этом направлении.

И во-вторых, мы не знаем, на какие факты опирается Валерий Чалидзе, утверждая, что Горбачев обратился с вопросом к народу, как он хочет быть управляем и как следует изменить систему. Всенародный референдум по этому вопросу мог бы стать действительно важным политическим шагом на пути демократизации СССР и в то же время неоспоримым свидетельством воли нового руководителя к переменам.

Но в том-то и дело, что провозглашенная в стране перестройка и гласность осуществляется исключительно с в е р х у — централизованно, по решению партийных органов, как очередное мероприятие КПСС. Тогда как свобода и демократия, по своей природе, не могут не включать в себя элемент стихии, рождаемой в низах общества.

Решением ЦК можно вернуть из ссылки академика Сахарова, можно помиловать группу неправоммерно осужденных диссидентов, можно опубликовать произведения еще недавно запрещенных литераторов, — словом, можно так или иначе ослабить вожжи.

Но нельзя директивой переиначить сам строй жизни общества, чтобы по решению очередного Пленума ЦК люди начали по-новому жить и мыслить. К сожалению, весь процесс перестройки как раз и осуществляется бюрократическим путем, оттого, по-видимому, и такие результаты. По сведениям, поступающим из Советского Союза, жизнь его граждан принципиально мало изменилась — и в экономическом, и в культурном, и в нравственном отношениях. И хотя, конечно, большая гласность, критика в печати, возможность высказаться без страха быть посаженным, — хотя все это и вносит оживление в советскую жизнь, тем не менее среди большей части населения царит пессимизм. Люди по-прежнему испытывают большие материальные тяготы. На низком уровне трудовая мораль общества. Ощутимых плодов перестройки советские граждане так и не видят.

Можно ли после этого считать, что в СССР происходят качественные сдвиги? Выступивший недавно перед большой русскоязычной аудиторией Нью-Йорка известный советский поэт Булат Окуджава сказал, что в СССР происходят очень сложные процессы, результаты которых — если они вообще будут — наступят очень скоро. В этом же духе отзывались о положении вещей побывавшие в Соединенных Штатах писатели Андрей Битов и Олег Чухонцев. На конференции в Вашингтоне, посвященной демократическому развитию современного мира, Юрий Орлов заявил, что политику перестройки Михаил Горбачев осуществляет совместно с органами КГБ.

У нас нет оснований ставить под сомнение искренность Горбачева и тем более подозревать его в сговоре с КГБ. Мы также не согласны с теми эмигрантскими изданиями, которые исходят из молчаливой предпосылки: "чем хуже, тем лучше"... и наоборот. Нам, людям, выросшим в России, пережившим с ней многие невзгоды и тяготы, совсем не безразлична ее судьба — будет ли она свободной и демократической или явит нам просто разновидность "либерального сталинизма". В этом смысле, изменения, происходящие в СССР, безусловно положительны. Любой шаг к свободе и демократии, сколь бы он ни был половинчат и ограничен, — это все-таки шаг к свободе, и любой человек, кому не безразличны судьбы России, не может не приветствовать его.

Нам понятно желание известного правозащитника Валерия Чалидзе видеть Россию другой, его желание видеть в Горбачева лидера нового типа, способного повести СССР по новому демократическому пути. Однако вряд ли мы вправе принимать желаемое за сущее, и вот так с наскока, с первой оценки, из нашего эмигрантского далека объявлять, что Россия уже встала на новый демократический путь.

МАГАЗИН — КНИГА-ПОЧТОЙ
"ЛУКОМОРЬЕ"

Представляет новую книгу:

ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ
"СТИХИ. ПОЭМЫ. ПРОЗА"

Издательство Хилея". Нью-Йорк. 1986 год.

637 стр. Цена — 28 долларов.

Сборник, содержащий множество редких иллюстраций и текстов, выпущен к 100-летию со дня рождения одного из талантливейших русских поэтов.

Наш адрес: LUKOMORYE BOOK STORE.

P.O. Box 161. Bay Station. Brooklyn, N.Y. 11235.

Пересылка одной книги — 1 дол. Каждой последующей — 50 ц.
Тел. (718) 891-1927 после 6 часов вечера. Суббота, воскресенье — весь день.

ВРЕМЯ И МЫ

НЬЮ-ЙОРК - ИЕРУСАЛИМ - ПАРИЖ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ЖУРНАЛА

ЗА 11 ЛЕТ ИЗДАНИЯ, С № 1 ПО № 93

На страницах журнала печатались такие выдающиеся современные писатели, как Сол Беллоу, Артур Кестлер, Олдос Хаксли, Эфраим Кишон, А.Б.Иошуа и многие другие.

Среди авторов журнала — известные писатели современной России и русского зарубежья: Василий Гроссман, Лидия Чуковская, Виктор Некрасов, Владимир Войнович, Василий Аксенов, Иосиф Бродский, Семен Липкин, Инна Лиснянская, Юз Алешковский, Владимир Марамзин, Александр Зиновьев, Аркадий Львов.

В разделе публицистики выступают: Андрей Синявский, Ефим Эткинд, Дора Штурман, Лев Наврозов, Амос Oz, раввин Адин Штейнзальц, Борис Шрагин и др.

С именем журнала "Время и мы" связано появление в русской литературе целого созвездия талантливых имен: Фридриха Горенштейна, Бориса Хазанова, Зиновия Зиника, Юрия Карабчиевского, Феликса Розинера.

Огромной популярностью у читателей пользуется раздел "Из прошлого и настоящего", где были опубликованы воспоминания о Бунине, мемуары Марии Иоффе (бывшего секретаря Л.Троцкого), Самуила Микуниса (в прошлом генерального секретаря компартии Израиля), письма Лескова, переписка Николая Милюкова, дневники Ольги Берггольц. Журнал высоко ценится среди либеральной интеллигенции современной России, откуда редакция постоянно получает письма и рукописи.

Стоимость полного комплекта журнала — 1186 дол.

Для подписчиков — скидка 15 %

Тот, кто приобретает комплект журнала, в качестве подарка получает полный комплект книг издательства "Время и мы".

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We

409 High wood Avenue,
Leonia, NJ 07605. USA.



Владимир СОЛОВЬЕВ

"Семнадцатое февраля. Было четвертое представление пьесы "Мнимый больной", сочиненной господином де Мольером. В десять часов вечера господин де Мольер, исполняя роль Аргана, упал на сцену и тут же был похищен без покаяния неумолимой смертью". В знак этого рисую самый большой черный крест. Что же явилось причиной этого? Что? Как записать?.. Причиной этого явилась немилость короля и черная Кабала!.. Так и запишу".

*Булгаков. Кабала святош.
(Мольер).*

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СКВЕРНОСТИ

Слово об Анатолии Эфросе

По-настоящему я познакомился с ним на генеральной репетиции "Мольера" в театре Ленинского Комсомола; хотя знал его давно, а подружился позднее. Кроме нас в зале больше никого не было, Эфрос прервал спектакль только однажды, казалось, он его не смотрит, погруженный в раздумья. Я знал, конечно, и о склоках внутри театра, и об интригах против главного режиссера извне и свыше. Его присутствие в зале меня немного смущало, но постепенно я оказался вовлеченным в трагический сюжет, который меж тем разворачивался на сцене. Это был поразительный, автобиографический спектакль, хотя, конечно же, Оля Яковлева, годившаяся по возрасту Эфросу в дочери, в кровном родстве с ним не состояла — в отличие от Арманды Бешар де Мольер, которую она играла: по версии Булгакова, та была не только женой, но дочерью Мольера.

Про отношения Эфроса с Яковлевой говорили много гнусностей, можно было подумать, что он и в самом деле совершает какой-то чудовищный грех, а не делает то же самое, что де-

лают мужчины с любимыми женщинами. И это была только малая часть "кабалы святош" против Эфроса — как и против Мольера. Этот заговор, варьируясь и расширяясь, преследовал Эфроса всю жизнь, пока не перехлестнул через границы его любимого отечества и не свел его в конце концов в могилу. "Банда", — в сердцах воскликнул Эфрос на репетиции "Чайки" и поставил пьесу Чехова страстно, тенденциозно и одно-сторонне: с точки зрения Треплева, который гибнет в смертельной схватке с мафией Тригорина-Аркадиной.

Ошельмованный в сотнях постановок как декадент, Треплев для Эфроса был не только трагическим, затравленным героем, но и — "быть может, какой-нибудь Блок. Кто знает?"

"Мольер", "Чайка", "Три сестры", "Отелло", "Мизантроп" — это был нескончаемый опыт Эфроса по изучению механики интриги, кошмара интриги, цель которой уничтожение человека. Не беру эту мейерхольдовскую характеристику сюжета "Отелло" в кавычки, потому что слегка переименовал ее. Яго ненавидит Отелло за то, что мавр — другой. Потому и мавр, чтобы наглядно продемонстрировать его альбинизм, одиночество и изгойство. Будучи сам мавром и парией, Эфрос рассказал о бессилии человека перед интригой — перед тем, как уничтожить его физически, она как ржа разъедает его душу.

Эфрос исключением не был. И дело не только в таких его вынужденных спектаклях, как "Человек со стороны" либо "Платон Кречет". Хотя эти пьесы Дворецкого и Корнейчука в его талантливой трактовке звучали более фальшиво, чем у бездарных режиссеров: те ставили их равнодушно и формально, а он, что называется, "с душой".

Я помню один наш с Эфросом разговор, который оставил у меня тяжелый осадок: он стал защищать то, что раньше ненавидел. Я понимал, что это спор не со мной, а скорее с собой прежним, тем более я никак не мог причислить Эфроса к распространенному среди советской интеллигенции типу *die harmonisch Platte*, гармонических пошляков. Но вот после стольких передраг с властями и чернью (в данном случае театральной — от русофильских критиков до обиженных им актеров), после потери театра, после запрещения его спектаклей, после тяжелейшего инфаркта, судьба его, наконец, вроде бы вырав-

нялась, и он, человек когда-то резких крайностей, сейчас стал искать, чтобы его индивидуальное совпало с общим, государственным. Он даже "Чайку" хотел теперь поставить заново, иначе: менее раздраженно и эгоцентрично, более объективно, а Треплеву дать повседневный, не такой чрезвычайный характер.

Это было где-то в середине семидесятых, как раз после инфаркта, из которого он чудом выкарабкался. Его раздражали крайности и жесты — и чужие, и свои собственные, прежние. Он сказал мне, что готов сейчас согласиться с собственными критиками. "И гонителями?" — спросил я. "Вы упрощаете, Володя". "А разве ваша теперешняя нетерпимость к крайностям не есть крайность?" Он рассмеялся, снимая напряжение: "Это не крайность, а страсть". "А прежде была не страсть?" В ответ последовала цитата:

**Чтоб жить, должны мы клятвы забывать,
Которые торопимся давать!**

Это было время, когда мир московской интеллигенции раскололся на уезжающих и остающихся. "Кто будет уезжать последним, пусть не забудет погасить свет", — это самодовольный, петушинный, отчаянный совет из анекдота, наподобие "После нас хоть потоп", и вообще, чем хуже, тем лучше. Сейчас, отсюда, через океан, я понимаю, что остающимся было не менее тяжело, чем уезжающим, которые могли себе позволить и громкие слова, и широкие жесты. А тогда не понимал. Когда мы образовали свое агенство "Соловьев-Клепикова Пресс", и "Голос Америки" стал пересказывать напечатанные в "Нью-Йорк Таймс" наши бюллетени, мы резко ограничили наши знакомства, чтобы никого не подводить, и общались только с теми, кто сам нам звонил. Звонка Эфроса я так и не дождался. Но, может быть, он тоже ждал моего звонка? В то время я об этом не подумал и уехал, не попрощавшись ни с ним, ни с Наташей Крымовой.

А тогдашний наш спор, часть которого я уже пересказал, начался со статьи Евгения Богата в двух номерах "Литературки" о том, как школьники избивали до полусмерти свою подружку, а два десятка мальчиков были зрителями и помогали совета-

ми: куда бить. Многовариантный, многопричинный, подробный, социологический, аналитический и проч. очерк, но — минуя первопричину: за что били? О причине вскользь, мимоходом, стыдливо, знак умолчания.

Несомненно, самосуд отвратителен в любом случае, а жестокость, насилие, садизм — башмаками в лицо! — тем более. Но — за что били? Из намеков и недомолвок выяснилось, что били за критику: жертва говорила в глаза и заглазно своим подружкам то, что о них думала. Это меня и взволновало, и я даже пожалел девочек, которых за их карательную акцию ждала нелегкая судьба в исправительных колониях. (Я был в одной из них в Суздальском монастыре — там не перевоспитывают, там калечат — на всю жизнь). Но откуда было знать девочкам, что то, что можно Зевсу, нельзя быку? Почему можно посадить Амальрика, Марченко, Синявского с Даниэлем — все равно за что, правду или злословие, а избить подружку нельзя, хотя она тоже вела антипропаганду, мутила воду, выносила сор из избы и т.д.? Почему государству можно, а им, девочкам, нельзя? И почему государство так тщательно охраняет прерогативу садизма? И наконец, в государстве, где критика официально наказуема, стоит ли удивляться самосуду за критику?

Эфрос притворился, что не читал статьи и вынудил меня ее пересказать. Он часто употреблял этот прием на репетициях, но я актером не был и в его театре не работал. Я пересказал тенденциозно и со своими замечаниями. Эфрос, оговорив субъективность своих выражений и вынеся за скобки самосуд, который ему был так же отвратителен, как и мне, сказал, однако, о том, что девочка (жертва) могла быть отвратительна, уродлива, нечистоплотна, злословила, ябедничала и вообще не "вписывалась". Я напомнил о плетении сплетни вокруг Чацкого и Альцеста — тоже ведь злословили, почище девочки, иногда без особой на то нужды. "А кто вам сказал, что они оба со своей невыносимой желчью были правы?" — возразил Эфрос. Это был давний спор — не мой и не эфросовский: а что если в самом деле фамусовское общество состоит из вполне приличных людей и является надежной опорой миропорядка,

а Чацкий возмутитель спокойствия, резонер и разрушитель? Мой собеседник так не думал, но я понял, что его раздражает, да он и не скрывал, и мы в конце концов забыли и о несчастной девочке, и о "миллионе терзаний" Чацкого: все было названо своими именами. Насколько Эфросу было тяжело, можно было судить по оброненной им фразе: "Остаться здесь труднее, чем уехать. И чтобы здесь жить и работать, необходимо большое мужество". Я сейчас не помню, как именно он сказал большое или большее.

Признаюсь, я не любитель сравнений — кто больше страдает (или страдал). Типа: "Что ты говоришь об Х., ему дали всего три года, в то время как У. сидит уже шестой!" Страдание — не чин, да и измеряется иначе. Тем более, я против апологетики страданий — мол, крест надо нести до конца, негоже выпадать из истории и покидать Голгофу. Еще как гоже! Разве не счастье было бы, если бы Мандельштам имел возможность поступить подобно Цинциннату Ц.? Кстати, задолго до своего первого ареста О.М. имел возможность уехать (вызов Балтрушайтиса из независимой Литвы), но предпочел остаться, и ужасно обидно, что он не эмигрировал из зачумленной сталинской вотчины. Самое сильное и жестокое стихотворение против эмиграции написала не Ахматова ("Мне голос был..."), а наш современник, реакционер и антисемит Станислав Куняев. И даже не одно, а несколько:

**Вам есть, где жить.
Нам есть, где умирать.**

**Вот чем кончился поиск судьбы,
вот какого он жаждал финала!
Ни оркестра, ни гласа трубы,
ни амнистии, ни трибунала.**

Такой дилеммы, такого выбора — между жизнью и смертью, между эмиграцией и судьбой — ни перед кем из нас не стояло: ни перед знаменитым Любимовым, ни перед безвестным Лифшицем. Эфрос выбрал остаться, я это говорю не как о заслуге, хотя из главных советских режиссеров ему было тяжелее других. К прочим обстоятельствам добавлялось, что

в отличие от Любимова или Ефремова, ему повезло родиться евреем, типичным, ярко выраженным, местечковым — жидом, а не евреем. Факт биографии, который при определенных обстоятельствах становится отметиной судьбы.

Когда мы сошлись ближе, я наслышался множество рассказов на эту тему от всех членов его семьи, за исключением собаки, имя которой я забыл. Наташа Крымова рассказывала о переживаниях своей мамы, среднего масштаба партийного деятеля, когда та узнала о предстоящем ее замужестве: "Ну, ладно, Эфрос, но чтобы так был похож!"

Спустя много лет их сын Дима вошел в театральную жизнь столицы (как художник) под фамилией "Крымов", хотя он боготворил отца и был против; и Наташа была против, — настоял Эфрос. В общем это так же несущественно, как то, что Гарри Вайнштейн стал шахматным чемпионом мира Каспаровым. Не знаю уж от кого и что скрывая, Эфрос еще со студенческих лет был для всех Анатолием Васильевичем", хотя в паспорте у него стояло "Исаакович", и однажды из-за этого разночтения ему не удалось получить гонорар за опубликованную статью. А в его некрологе, подписанном кремлевскими младотурками во главе с Горбачевым, был выбран паллиативный путь — в нем сообщалось о смерти Анатолия Исаевича Эфроса.

Ссылаясь на актерский опыт Станиславского, Мейерхольда, Вахтангова, Михоэлса, Ефремова, Любимова, я спросил как-то Эфроса, не хочется ли ему выйти на сцену. "С моей-то внешностью!" Я не понял. "Ну, для меня нужны специальные пьесы. Из местечковой жизни. А мне это не интересно". Эфрос не отрицал в себе еврейства, скорее загонял его в самый дальний угол своей души, — как Пастернак, но ему напоминали о нем чаще, чем Пастернаку.

Во всяком случае, кроме как в статьях об Эфросе, я больше не встречал таких явных рецидивов "борьбы с космополитами" — в том смысле, что, мол, негоже эфросам калечить нашу русскую классику; в том числе, у такого многоопытного погромщика, как Н.Абалкин.

На последнем собрании в театре Ленинского Комсомола

Эфрос пошел ва-банк и зачитал анонимные письма, где его прямо называли "порхатым жидом". Даже те в труппе, кто был против него, были возмущены и встали на его сторону. Однако это была Пиррова победа — этим своим отчаянным поступком он как бы отказывался от "Васильевича", это было отречение от отречения, так именно поняли чтение Эфросом анонимок те, кто его снял.

Его последний спектакль на сцене театра Ленинского Комсомола "Мольер" был запрещен. В иные, чем сталинские, времена это напоминало именно сталинские: так были лишены театров Мейерхольд и Таиров. Из крупных советских режиссеров послесталинского времени только Эфроса постигла такая злая судьба, потому что одно — когда тебе запрещают спектакли (это Эфрос испытал неоднократно), другое — когда тебя выгоняют из твоего театра. Амальрик в связи с этим написал: "Боюсь, что при смещении и назначении режиссеров с 1967 года этот критерий стал основным". И далее о Любимове: "Думаю, что если бы при всех прочих качествах он носил фамилию Цирлин или Цицельзон, от его театра остались бы рожки да ножки".

Насколько я знаю, Эфрос только однажды, да и то мимоходом, коснулся этой темы в своем творчестве, но поднял ее на такую трагическую, шекспировско-шейлоковскую высоту, что всем нам, знавшим его близко, стало впервые понятно, как болезненно он ее воспринимал. Яичница, этот побочный, почти стаффажный персонаж гоголевской "Женитьбы", в постановке Эфроса выдвинулся на передний план, вровень с главными персонажами. (Я говорю о спектакле на Малой Бронной, где Эфрос работал очередным режиссером, — раннюю его версию "Женитьбы"). Это вообще в эстетических да и в нравственных принципах Эфроса — для него не существовало второстепенных героев: переживания забытого Фирса были для него не менее важны, чем переживания Раневской; массовку, кордебалет, древнегреческий хор он не признавал.

Было бы упрощением видеть в "Женитьбе" только политический смысл, но и не обратить на него внимания невозможно. Начать с того, что Эфрос, конечно же, ошинелил "Женитьбу"—

метаморфоза, аналогичная той, которая произошла с "Шинелью" Ролана Быкова: так бы поставил фильм по гоголевскому сюжету Достоевский.

Изначально Эфрос хотел поставить ее именно как комедию — лежал в больнице после инфаркта и задумал веселый спектакль о совершенно невероятном событии, как Подколесин решил жениться, а в последний момент передумал и выпрыгнул в окно. В фойе театра решил вывесить фотографии актеров — женатых и неженатых, чтобы зрители по их лицам сами решали, что есть счастье, а что несчастье. Принесли ему в больницу пьесу — открыл он ее и стал читать.

"Вот как начнешь эдак один на досуге подумывать, так видишь, что, наконец, точно нужно жениться. Что в самом деле? Живешь, живешь, да такая, наконец, скверность становится".

Над словом "скверность" Эфрос надолго задумался.

Уже поставив спектакль, он, словно бы оправдываясь, ссылаясь на самого Гоголя: мол, стоит чуть подольше приглядеться к комедии, как она легко обернется трагедией — смех сквозь слезы, драма в форме водевиля и т.д. Да и вообще, умели ли русские писатели сочинять чистые комедии? Это уже мой вопрос — не эфросовский. Разве "Горе от ума" комедия? Или "Смерть Тарелкина"? Или "Вишневый сад"? Комедии-оборотни, с трагической изнанкой комедийных персонажей, потому что у каждого на душе своя скверность.

"Участь моя решена. Я женюсь", — нет, это, конечно, не Подколесин; так писал Пушкин в автобиографическом наброске в мае 1830 года, незадолго до своей трагической женитьбы. У Подколесина нечто схожее с пушкинским героем: он решает жениться — как будто в пропасть бросается.

"Женитьба" была поставлена в разгар отъездов, и это был ответ Эфроса на мучительный вопрос: Эфрос выбрал остаться, его героя в самый последний момент умчит черная карета.

Была в этом своя предопределенность: Эфрос не мог уехать, а Подколесин не мог остаться. И в самый идиллический момент спектакля, когда мы забывали о неслучайной фамилии гоголевского героя, ждущая своего ездока черная карета напоминала нам о соблазне, который ему не суждено преодолеть.

Не гоголевская тройка, не "какой русский не любит быстрой езды", а именно карета, русская карета, которая увозила героев куда глаза глядят — с кого это повелось? с Онегина? с Чацкого? либо с Чаадаева, который так никуда и не уехал, но послужил тем не менее прообразом для героя "Горя от ума"?

В отличие от своих предыдущих, нацеленных на современность постановок Чехова — заклеянных критикой и запрещенных властями "Трех сестер" и "Чайки" — Эфрос поставил "Вишневый сад" как спектакль исторический и даже заключил его в тесные хронологические рамки, подсказанные ему двумя идейными антагонистами, "старорежимным" Фирсом и картавым, а ля Ленин, буреви́стником Петей Трофимовым: между 1861 и 1917, с "воли" до революции. Да и разве не странно играть сейчас эту историческую и пророческую драму как сугубо психологическую?

С удивительной точностью обозначил Эфрос исторические координаты действия — в героях его "Вишневого сада" мы узнавали не себя, что присуще чуть ли не любой чеховской постановке, но отдаленных от нас исторических персонажей, которые словно сговорились не замечать Времени. Они не замечают — мы замечаем, потому что мы знаем, чем кончилось то, что именно тогда началось. На этой антитезе и строился весь спектакль, который ставил зрителя в положение активного соучастника действия.

Время для них остановилось — для Фирса пятидесятилетний Гаев все еще "молодо-зелено", и он его пестует, как неразумное дитя; Шарлотта не знает ни сколько ей лет, ни кто она; Петя Трофимов — вечный студент, таким он и умрет. Символ вневременного постоянства — столетний шкаф, и монолог Гаева — это обращение к двойнику.

Все не в ладах с настоящим, отсюда пустопорожняя болтовня Гаева и восторженные монологи Трофимова. Все они — прожектеры, мечтатели; их жаль и не жаль, уж слишком они легкомысленны: Время их взвесило на своих весах и нашло слишком легкими. Вот что Эфрос в первую очередь подчеркивал — вмешательство Времени в частные судьбы людей. Трагический смысл он подал гротескно.

При такой трезвой, жестокой, пародийной и одновременно трагической трактовке все герои в спектакле освещены особо ярким, бестеневым светом — на просторной сцене им совершенно некуда спрятаться: они на виду, вся их жизнь на виду, очевидна их обреченность. И то, что они так тщательно от себя самих скрывают, от зрителей вовсе не скрыто. Вот почему их суетливые потуги скрыть выглядят жалко. Ветер раздувает белые занавесы, вот-вот сорвет их и заодно с ними снесет весь этот зыбкий, призрачный, фиктивный мир, в котором живут — нет, доживают — герои "Вишневого сада". Погост посередине сцены ждет этих временных стояльцев, чье Время кончается, в свои вечные хоромы. И глядя этот спектакль, как-то особенно ясно становилось, почему "Русь слиняла в два дня. Самое большое — в три..."

Не знаю, жалел ли Любимов, что пригласил Эфроса в свой театр, но именно "Вишневый сад" расколол Театр на Таганке и поспорил двух этих великих художников, а вовсе не отъезд Любимова и назначение на его место Эфроса. В отличие от режиссера-постановщика Эфроса, Любимов — постановщик по преимуществу. Общее для него важнее частного, индивидуальность актера он обычно игнорирует, требуя от него только подчинения своим блестящим схемам.

Эфрос в разговорах ссылался то на Мейерхольда, то на Станиславского, он извлек уроки из обеих систем, свои концепции он обычно "заземлял" через актера, с которым очень любил работать... и одну из своих книг назвал "Репетиция — любовь моя". Если бы Эфрос не был режиссером, он мог бы стать блестящим критиком, его литературные разборы превосходны. Алла Демидова позднее объясняла:

"Представьте себе, — вот актер, а вот стул, с которым он должен работать, как с лошадью. По системе Станиславского, актер говорит: "Я вижу лошадь и соответственно себя с ней веду". По Любимову: "Я не могу не видеть, что это стул, но я должен обращаться с ним, как с лошадью". По Эфросу: "Это, конечно, стул, и я его воспринимаю и трактую, как стул, но если я загляну глубже, то почувствую, что сейчас поскачу на нем верхом!"

Иными словами, теза антитеза — синтез.

Речь идет не о том, чья система лучше, хотя в творческом споре Любимова и Эфроса, Эфрос был мне часто ближе. Это не значит, что я принадлежал к числу его восторженных поклонников и был "прикован к его театру, как жук к пробке". К примеру, я остался равнодушен к его "шекспириаде", и помню как-то на улице он на меня страшно раскричался из-за того, что мне не понравился "Отелло". Признаюсь здесь, что и любимовский "Гамлет" мне не очень нравится, за исключением разве что придуманного Давидом Боровским "занавеса", по сути главного героя спектакля.

В их политическом споре — после отъезда Любимова и назначения Эфроса на его место — я не беру ничьей стороны, а потому не принимаю и не понимаю упреков Любимова Эфросу,

как и странного его пожелания смерти собственному театру, у которого, видит бог, не было возможности последовать примеру своего руководителя и стать коллективным невозвращенцем.

Меня удивляет не безнравственность Эфроса, взявшего предложенный ему театр на Таганке после долгих раздумий и оттяжек — скорее трагическое легкомыслие его поступка. Ведь даже работа над "Вишневым садом" у Любимова была для него тяжелой, он чувствовал себя Станиславским в театре Крэга, а вернувшись к себе на Малую Бронную, с облегчением вздохнул: "Когда постранствуешь, воротись домой..."

Дело здесь не в этике — Эфрос явно не рассчитал своих сил, хотя самому театру на Таганке, несомненно, повезло: на место одного талантливого режиссера пришел другой талантливый. Во всяком случае, сейчас, без Любимова и без Эфроса, историческое значение этого театра закончилось.

Мне было тяжело читать выпады эмигрантской прессы против Эфроса, — это было продолжение его травли, продолжение заговора с целью уничтожения человека. Естественно, я бы отверг любые выпады Эфроса против Любимова, если бы они последовали, но их не последовало, — Эфрос отзывался о своем предшественнике с неизменным уважением, настоял на восстановлении его спектаклей, воспрепятствовал уничтожению его мемориального кабинета с испещренными автографами стенами. А когда Горбачевы пришли на "Мизантропа", ходайствовал о возвращении Любимова.

Один очень знаменитый здешний эмигрант пошутил в том смысле, что Любимов, наверно, послал Горбачеву телеграмму, поставив условием своего возвращения уход Эфроса, а Эфрос, как человек скромный и уступчивый, взял да и помер. Сейчас, когда пропагандистские жесты Кремля в сторону эмиграции вроде бы закончились, пора уже сказать, что в поединке Любимова и Эфроса победителей не было, одни только побежденные, одни жертвы — и мертвый Эфрос, и живой Любимов.

Я вспоминаю сейчас, как после спектакля "Брат Алеша" я заявил Эфросу своеобразный протест за то, что он лишил меня, зрителя, свободы восприятия — все первое действие я проплакал, а все второе — переживал свои слезы как унижение и злился на режиссера. Эфрос в

ответ рассмеялся и сказал, что он здесь вроде бы ни при чем, во всяком случае, злого умысла у него не было, так получилось — уж извините, я и сам плачу, когда гляжу. Вот уж, воистину, — над вымыслом слезами обольюсь...

Главная антитеза этого спектакля: подвижность — неподвижность. И не только спектакля, но и нашего восприятия героев Достоевского.

Ко времени смерти Илюши мы уже перестрадали за него, потому что знали и диагноз врача, и предчувствие Лизы, и предсказание Алеши — мы вымотаны, измочалены, эмоции наши исчерпаны.

Блестящими, сухими и злыми глазами следим мы за безумной и в безумии своем эгоистичной и бесчувственной Ариной Петровной и ее борьбой за игрушечную пушечку, последнюю реликвию, которая связывает отчужденное ее сознание с реальным миром. Она, что называется, козел отпущения: и для несчастного Снегирева, и для измученных зрителей. К тому же, она еще и цветочек просит, а ей не дают, и пушечку отбирают. Наше мстительное чувство удовлетворено, мы торжествуем, и тут только замечаем беспомощное, жалкое, детское, заплаканное и нелепое на фоне трагедии, ей невнятной, ее лицо. И становится нам тогда не по себе: от чудовищной нашей несправедливости.

Ах, как избирательна наша жалость: жалея одних, мы обижаем других. Ради мертвых, во имя их, унижаем и заставляем страдать живых. Вспомним о мертвых, когда они еще были живыми: Илюша ведь отдал помешанной своей матери ее бессмысленную игрушку, злополучную эту пушечку!

И когда унесут гроб с ее мальчиком, неподвижная (весь спектакль!) Арина Петровна вырвется из своего кресла и закричит, потому что так велико горе, что она пробьет ее сумасшествие, дойдет сквозь него до спящего сознания.

А "под занавес" алешина проповедь, его надгробное слово, его прощальная речь к зрителям — поначалу она кажется чудовищной, чуть ли не святотатством, особенно его призыв запомнить день похорон как что-то очень светлое и прекрасное. И не только его речь, но и сам он с его беспомощной добротой, иезуитской интуицией, всепониманием, всепрощением, релятивизмом и спекуляциями — даже смертью, ибо и с ее помощью этот фанатический проповедник продолжает искушать нас добром. Однако даже эта речь, потрясающая нас эмоционально и вызывающая сопротивление и негодование, оправдана в философском итоге спектакля нашими последующими о нем размышлениями. Речь о человечности, которая кажется нам поначалу бесчеловечной, возвращает нас в конце концов к человечности.

Я помню, как один оппонент "Брата Алеши" весьма толково подсчитывал его недостатки и противоречия, и я уже был готов признать его по крайней мере логическую правоту. Но тут кто-то вовремя перебил эту филиппику: "А Достоевского

вы любите?" "Терпеть не могу!" — решительно заявил эфросовский зоил, и я понял, наконец, что и мои претензии к этому спектаклю — это претензии не только к Эфросу, но прежде всего к Достоевскому за то, что он так безжалостно заставляет нас страдать. А может быть, и к самой жизни, которая мучает нас и казнит.

Среди советских режиссеров Эфрос был, несомненно, лучшим "читателем" классики, а среди его прочтений лучшим был мольеровский "Дон Жуан". Поначалу Эфрос думал в одном спектакле объединить две пьесы о сеvilьском соблазнителе — Мольера и Пушкина. Остался один Мольер, но внутренне, концептуально откорректированный пушкинским "Каменным гостем". Эфрос ставил не Мольера, а делал то же самое, что Мольер, Пушкин, Тирсо де Молина, Байрон, Моцарт, Гофман, Мериме, Бальзак, Шоу, — по-своему трактовал гениальный испанский миф. Вот его автокомментарий к спектаклю: "Это притча о человеке, который плохо живет и поэтому плохо кончит, ибо есть же, в конце концов, на земле справедливость, черт возьми!.. Отрицая, оскорбляя и высмеивая весь мировой порядок, он сам живет по самым его ужасным законам. Говоря о необходимости свободы, он все время ставит всех в непрерывную зависимость от себя и сам становится рабом своих страстей и идей. Высмеивая фальшь и ложь, сам он врет и лукавит. И что с того, что делает он это со страстью, что в нем и ум, и талант, и знания? Ниспровергая общепринятые нормы, он оказывается лишь губкой, впитывающей пороки своего времени..."

Пользуясь выражением Сганареля, спектакль Эфроса можно назвать диспутом.

Недаром оба они, Дон Жуан и Сганарель, его слуга, друг и враг, так часто спускались со сцены в зал — не только для того, чтобы обозначить пространство, но и для того еще, чтобы вовлечь в диспут зрителей. Впрочем, зрители были вовлечены в него и помимо этих "пробежек".

Поразительное оформление придумал к спектаклю Давид Боровский, этот общий у Любимова и Эфроса художник. Поначалу оно казалось невзрачным и невыразительным — сарай-развалюха, между досками щели и прозоры, и сквозь них чернота. И только по ходу действия

раскрывался замысел художника: дать Дон Жуану непрочное, временное обиталище на земле, состарившееся и изношенное, как его усталая жизнь, с подступившей и со всех сторон блокировавшей его смертью — покров над бездной, только не тютчевский златотканый, а из мешковины, рваный, дырявый, с заплатами.

И все: отец, Эльвира, Сганарель — говорят с Дон Жуаном от имени Бога. Небеса для них не реальность, но цитата, ссылка на авторитет. Жуана коробит от этого всеобщего рефрена — у него личные отношения с Богом, и никому в них не дано вмешаться.

Николай Волков с самого начала играл Дон Жуана усталым, обремененным содеянным злом, не способным уже к любовному вдохновению и красноречию. Он соблазняет по привычке, по обязанности. Это дань легенде о самом себе, на самом деле ему давно уже не до женщин. Он не способен к выбору — это его трагедия: между двумя смазливymi крестьянками он мечется, как лев в клетке. Не соблазнитель, а совратитель, совратитель невинности и чистоты, — чтобы окрестный мир окрасить в один и тот же адекватный его циничной и безверной душе колер. Спор Жуана не с обветшалой догматикой Средневековья и даже не с человеческой совестью, а с самим Богом, ни меньше ни больше: где пределы человеческого духа, что человеку можно и что нельзя, и есть ли, вообще, пределы? Где границы, положенные человеческой воле и человеческой свободе, или — они безграничны?

Редко кто, как Эфрос, умел показать на сцене смерть — шекспировские герои, чеховские Тузенбах, Фирс и Треплев, Илюшенька, Дон Жуан, булгаковский Мольер... Даже в "Женитьбе", где никто не умирает, он пустил по сцене похоронную процессию, а в "Вишневом саде" разместил на сцене кладбище. Его "некрофильство" было синдромом сердечника, но художественно оно выплеснулось по-пушкински: "День каждый, каждую минуту привык я думой провождать, грядущей смерти годовщину меж их стараясь угадать".

Эфрос отрепетировал свою смерть во многих спектаклях, а умер неожиданно, неподготовленно, что называется, на посту, как его Мольер, только тот на сцене, а Эфрос в Министерстве культуры, повалившись на стол министра и испустив на его глазах дух. Было ему всего 62 года от роду, родители его живы до сих пор. Есть что-то в его смерти зловещее и гнусное, какая-то скверность, словно заговор, догнал его в конце концов и прикончил.



Михаил ЛЕМХИН

КТО ЖЕ ОНИ, КУМИРЫ ?

"ЭТИ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ" РОК-МЕЦЕНАТЫ

В декабре 1986 года в 49-м номере журнала "Огонек" появилась любопытная статейка "Эти "доброжелательные рок-меценаты". Журналисты Андрей Комаров и Михаил Сигалов рассказали в ней захватывающую дух историю о двадцатипятилетней американке, "пиратке" и "контрабандистке", Джоан Стингрэй.

Последняя познакомилась в Ленинграде с любительскими рок-группами и подпольно вывезла их записи в США, где напечатала двойной альбом с "зазывным" примечанием на обложке: "Красная волна. Четыре подпольные группы в СССР".

Далее Джоан Стингрэй принялась рекламировать свой товар и дала интервью, в котором "исказила... действительное положение молодых музыкантов". При этом американские журналисты — авторы интервью — продемонстрировали "элементарное незнание темы" к примеру, назвав руководителя "Аквариума" Бориса Гребенщикова "отцом советского рок-н-рола"

По мнению авторов заметки в "Огоньке", это незаслуженно принимает роль других известных музыкантов этого направления. В заключение Комаров и Сигалов приходят к выводу, что мы стали свидетелями очередной антисоветской акции: "смелая американская мисс помогает угнетенным советским рок-музыкантам".

КТО ЖЕ ОНИ, КУМИРЫ?

"Что же такое этот "Аквариум"? — спросят, возможно, читатели. — И кто такой отец советского рок-н-рола?". И я бы не удивился таким вопросам.

Дело не в том, что многие годы рока не существовало среди казенной музыкальной продукции, — мало ли чего не существовало. Галич тоже не существовал, однако в любом интеллигентном доме имелись его записи. Уж я не говорю о Высоцком.

Все дело в том, что рок — и особенно отечественный — считался как бы музыкой для подростков. Почему сложилось это положение? В какой степени оно справедливо? Вопросы эти уведут нас слишком далеко в сторону.

Сейчас в Союзе отношение к року изменилось. Потеснив слащавую эстраду, року даже нашли место в системе официального искусства. Теперь не говорят, что рок — это музыка для подростков из подворотен. Теперь говорят: рок — музыка молодежи.

Недавно еще о ленинградской рок-группе "Аквариум" писали только на Западе. В Союзе жизнь ее теплилась как бы милостью начальства: разрешим — дышите, а захотим — и не будет вас.

Переписывались с магнитофона на магнитофон "самиздатские" альбомы "Аквариума", иногда группа выступала — с молчаливого согласия властей — в клубах, домах культуры, чаще всего — в рок-клубе при Доме народного творчества.

Рок-клуб этот, появившийся, если я не ошибаюсь, в 1981 году, дал полулегальное положение ленинградским рокерам. Они все стали официально зарегистрированными самостоятельными коллективами. "Аквариум", однако, при том же самостоятельном статусе, был вне конкуренции. Его музыкальный и литературный уровень качественно отличался от уровня всех остальных рок-групп, зарегистрировавшихся в клубе.

Что касается Москвы, то здесь пальму первенства долгое время удерживал московский рок-ансамбль "Машина времени". Но потом одна за другой в его репертуаре стали появляться песни, по существу не отличающиеся от эстрадной продукции фирмы "Мелодия". Ансамбль получил официальный статус и уже выступал повсюду. Песни руководителя ансамбля Андрея Макаровича принялась распевать каждая рес-

торанная команда.* "Машина" даже снялась в фильме "Душа", где София Ротару, народная и проч. и проч. артистка, выводит молодую группу в большой мир и символически благославляет ее.

Впрочем, ансамбль, похоже, пытался сидеть на двух стульях. Приумножая официальные успехи, "Машина времени" хотела сохранить и свою "неформальную", что ли, популярность. Разумеется, это явилось источником различных неприятностей, ибо с того момента, как группа приобретает официальный статус, казенные требования к ней в чем-то становятся гибче, а во многом, как раз наоборот, жестче и суровее.

"Аквариум" никакого официального статуса не имел, в кино не снимался, денег не зарабатывал. Вольно или невольно, соблазны красивой жизни прошли мимо, и это, конечно, благоприятно сказалось на отношении к нему молодежной аудитории.

"То, что делает Борис Гребенщиков, для него очень органичное — читали мы. — У многих рок-музыкантов есть как бы такая установка: "Мы это поем, но вы-то знаете, что мы валяем дурака, а на самом деле мы совсем другие люди". "Гребенщикову это абсолютно не свойственно", — такая характеристика, данная руководителю "Аквариума", о много говорит.**

Вероятно, именно эти качества песен Гребенщикова "оценил" Всесоюзный научно-методический центр при Министерстве культуры СССР. В письме от 1 октября 1984 г., адресованном студиям звукозаписи и дискотекам, "Аквариум" упомянут в следующем контексте: "Учитывая тот факт, что в последнее время обострился интерес зарубежных туристов к творчеству некоторых советских ВИА* и рок-групп, а так же учитывая факт трансляции их произведений в зарубежных странах, считаем необходимым запретить проигрывание в г.Москве магнитофонных записей самодельных ВИА и рок-групп, в творчестве которых допускается искаженное отражение советской действительности, пропагандируя чуждые обществу идеалы и настроения".******

*Помню, я с удивлением обнаружил, что ребята в ресторане при гостинице "Балтийская" с энтузиазмом "лабают" "Поворот". В "Балтийскую" селят дипломатов, прибывающих в Ленинград, и все там — не исключая репертуара ресторанного ансамбля — проходит двойную проверку.

**Цитирую по статье И.Александрова "Приблизительный воин с моим подсознанием в руке", Русская мысль, 20 декабря 1985, стр. 6.

***ВИА — вокально-инструментальный ансамбль.

****Документ опубликован в "Русской мысли" 20 сентября 1985 г., стр. 2.

Авторы письма в одном были правы. Зарубежные туристы действительно проявляли интерес к творчеству советских рокеров. Разумеется, интерес разного свойства. Кто-то — социологический, поскольку речь шла о взаимоотношениях неформальной молодежной группы с властями. Кто-то — этнографический, и здесь нет ничего странного: Запад имеет довольно туманное представление о реальной жизни советских граждан.

Любопытствующих иностранцев старались оттеснить подальше, а в крайнем случае, если они, прорвавшись, начинали недоумевать, ответ им был готов. Ответ простой и универсальный. Де сам дурак, и все тут!

Например, в британской прессе появилось несколько статей о ленинградских рокерах, тут же "Ленинградская правда" печатает статью Н.Барановской "Импровизация на заданную тему, или немзыкальные истории, сочиненные западными журналистами".

О чем, вы думаете, идет речь в этой статье? О музыке?

О том, что улица Рубинштейна (где расположен Дом народного творчества), не широкая, как написали англичане, а узкая и еще о том, что малограмотный корреспондент "Обсервер" не знает разницы между "панк-роком" и "тяжелым роком". Я не шучу, этим, практически, и исчерпывается содержание статьи.

Но, кроме любознательных туристов, случались еще и профессионалы — музыкальные критики, музыканты. Именно с ними было больше всего проблем: они, конечно, с удовольствием гуляли по Ленинграду, любовались разведенными мостами, однако у них был совершенно конкретный интерес: что делают их советские коллеги? Как они играют? Какую музыку они играют?

Одним из таких туристов и была Джоан Стингрэй, композитор и певица из Лос Анджелеса, которую "разнес" журнал "Огонек".

Когда в 1984 году она собралась в это путешествие, приятель, эмигрант из Союза, дал ей телефон Гребенщикова: "Он самый известный рокер". "Какой рокер, ты шутишь. Там и нет никакого рока".

В Москве ее предубеждение усилилось — "было холодно, серо и уныло". Но вот она приехала в Ленинград и встрети-

лась с Гребенщиковым, оказалась в самом центре неофициальной музыкальной жизни.

"Ленинград и Москва", — сказала Стингрэй, вернувшись в Лос Анджелес, — почти как две разные страны". В Ленинграде ей понравилось все: и музыка, и увлеченность, с которой рокеры с ней говорили, и их беззаботность, и их образ жизни, и их самоотверженность.

Увлеченности Стингрэй хватило на то, чтобы, съездив в Союз еще четыре раза, вывезти записи "Аквариума" и трех других ленинградских групп — "Кино", "Алиса", "Странные игры" и выпустить в Лос Анджелесе двойной альбом с этой музыкой "Красная волна". Он вышел летом 1986 года, встречен был прессой с интересом, появилось десятка полтора заметок и статей, которые толковали не столько о музыке, сколько об удивительном положении советских рокеров и об энтузиазме Джоан Стингрэй.

Сама Стингрэй всячески подчеркивала, что ее проект "никакого отношения к политике не имеет". В своих интервью она даже сообщала о намерении послать по экземпляру альбома Горбачеву и Рейгану. Мол, музыка вне политики, но — за мир.

По действовавшим стандартам вряд ли появление такого альбома на Западе могло серьезно осложнить жизнь "Аквариума". Немного пожурят — и все. Взять с них нечего.

Однако за время, прошедшее с момента, когда "Красная волна" была задумана, и до выхода альбома в свет, положение рок-групп заметно изменилось. Началась оттепель № 2.

ОТТЕПЕЛЬ № 2

Рок-музыка перебралась на другую ступеньку иерархической лестницы советской культуры: если раньше рок терпели, то теперь его признали.

"Аквариум" оказался одним из символов дня.

Само вознесение "Аквариума" на пьедестал произошло очень быстро.

Ленинградская молодежная газета "Смена" в номере от 19 января 1986 года сообщает результаты опроса читателей, ко-

торые выбрали наиболее интересных певцов, музыкантов, композиторов.

Борис Гребенщиков по результатам анкеты не вошел даже во второй десяток, и автор заметки об итогах опроса упоминает Гребенщикова лишь через запятую, как одного из интересных ленинградских музыкантов.

И вдруг — концерты, статьи, интервью (Вознесенский в "Огоньке" доходит до того, что сравнивает Гребенщикова с Бобом Диланом), выступления по телевидению и, наконец, договор на пластинку.

Объявлен прогресс. Все культурные ведомства кинулись на поиски нового. В музыке этим новым оказался "Аквариум". В изменившихся обстоятельствах альбом, выпущенный Джоан Стингрэй, был явно не к месту. Не своим содержанием, а именно фактом выхода — не в Союзе, а на Западе.

Хотя, конечно, "в обстановке гласности" можно было бы и промолчать или отреагировать разумно: мол, консерваторы не выпускали пластинок, вот и утекло за кордон, или что-нибудь в этом роде.

Но не промолчали. Отреагировали. Старым испытанным методом. Вот так и появилась огоньковская статейка, которую вы прочли в начале.

Статьейка, или, как сами авторы определили ее жанр, "реплика", — разнuzданно глупая, развязная; но неприятнее всего то, что какого-то покаянного письма потребовали от Бориса Гребенщикова, — и он его написал.

Сам факт, что потребовали, заставили, напоминает довольно худые времена. Характерно, что Гребенщиков вел себя достаточно независимо, когда был на дне. На подъеме, уже после заключения договора, не дал редактировать свои песни, сказав чиновникам на студии, — или будет так, или совсем не нужно. И отстоял. Чиновники отступили.

А вот на гребне успеха — не выдержал.

Что за письмо, — мы не знаем. Но довольно странно писать в ВААП о том, что какая-то фраза на конверте американской пластинки "не отражает реального статуса ансамбля". Что это значит? При чем тут ВААП, признанный, как явствует из названия, охранять авторские права? Гребенщиков по своей воле

записывал песни, используя привезенную Джоан Стингрэй аппаратуру, своими руками отдавал ей пленки, — кто нарушил его права?

Понятно, что все это игра, и речь не об авторских правах, но жаль, что Гребенщиков в эту игру согласился играть.

В РОССИИ С РОКОМ ПОРЯДОК

Нечто вроде ленинградского рок-клуба появилось и в Москве. Называется — рок-лаборатория.

Курирует эту "лабораторию" Всесоюзный научно-методический центр народного творчества и культпросветработы (!!!) Так вот, заведующая культпросветработой Ольга Опрятная сообщила корреспонденту ЛГ, что, оказывается, есть рок-группы, которые в "лаборатории" зарегистрироваться не пожелали.

"Чем вызван их скептицизм? — задает вопрос корреспондент ЛГ. — Может быть, опасением, что через год-другой после открытия лаборатории там начнется причисление музыкантов и музыки?"*

Товарищ Опрятная на это откликнулась целой тирадой, смысл которой легко уместить всего в одно предложение, — "За кого вы нас принимаете, мы против мелочной опеки".

Но интересно было бы выслушать и другую сторону, что думают сами музыканты, которые не присоединились.

Корреспондент ЛГ с ними почему-то не беседовал, либо не пожелал об этом нам рассказать, за него сделал это корреспондент американского журнала "Rolling Stone" Майкл Бенсон.

"Это действительно опасно — встречаться с ним", — говорил московский знакомый Бенсона, Саша, поджидая вместе с ним Сергея Захарова, лидера одной из неприсоединившихся групп.

"У меня нет иллюзий относительно рок-лаборатории, — цитирует далее Бенсон Захарова, — лабораторию придумали, просто чтобы зарегистрировать всех, кто имеет отношение к миру рок-музыки. Другая цель — чтобы люди, вроде вас, вернувшись домой, написали: "В России с роком полный порядок".

Надо сказать, Сергей Захаров — не единственный, кто так думает.

"Новое отношение начальства к року — это часть продуманной кампании, задача которой уменьшить разрыв между молодежью, ее интересами и партийной идеологией", — вот еще одно суждение, приводимое Бенсоном.

* В. Голованов. "Словно рок над этим роком". Литературная газета, 15 октября 1986, стр. 8.

У ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ — СВОИ ЗАДАЧИ

Мы привыкли держать начальство за идиотов, не способных на осмысленные действия. Мы — 30-40-летние — прожили всю нашу жизнь при подобных порядках. Но вот, похоже, начальство обновилось. А ведь это не значит, что жить стало легче, — вероятно, наоборот, — труднее.

Я никому не даю советов — что нужно конкретно делать и как именно себя вести, — не знаю. И вообще, всегда легче ткнуть пальцем: вот этого не стоило делать! Я понимаю уязвимость такой позиции, и все же возьму на себя смелость сказать: нельзя допускать одного — разрешать собою манипулировать.

"Так что же длеать? — сказал мне недавно один заезжий художник, — что делать, когда видишь, что человек старается расшатать что-то в этом гигантском механизме, очень рискует, и все это происходит под злобное шипение целых толп. Ведь неловко, понимаешь, стоять в стороне, говоря, я интеллигент, и смотреть, как ему ломают шею".

Мне кажется, все мы — там, здесь, не важно — все мы оказались не готовы к нынешнему повороту событий.

Когда начальство тупо перло на тебя в танке, точнее в бронированном своем лимузине, все было понятно, как на войне. Там — они, здесь — мы. И никаких точек соприкосновения. Обмануть им тебя было нечем. Ты мог только сознательно им продаться. Но даже и покупая, что они могли посулить? Принять тебя в свою компанию? Так тебя тошнило уже от мысли жрать с ними из одной миски номенклатурную икру.

А сейчас — масса точек соприкосновения, целые, я бы сказал, территории. И это сбивает с толку.

Хотя, если задуматься, что значит "стоять в сторонке" или "не стоять в сторонке"?

Беда в том, что вопрос поставлен, как говорят математики, не корректно.

Почему, собственно, вопрос — поддерживать или не поддерживать — вдруг оказался решающим? У интеллигенции есть,

как известно, свои собственные задачи в мире. Они и есть неизменны, они решающие, и Брежнев, Сталин, Ленин, Хрущев, Горбачев совершенно тут ни при чем.

Совсем недавно об этом напомнил в печати профессор Аверинцев: "Можно ли утверждать, что способность "наиболее остро" чувствовать большие проблемы, всеобщие, а не только собственные, — непременное, само собой разумеющееся, постоянно и во всем проявляющееся свойство интеллигенции? Это ее, то есть наша, обязанность, которая, как всякая обязанность, исполняется иногда получше, иногда плоховато, так себе, иногда вовсе не исполняется. И, как всякая обязанность, она объективно остается в силе и тогда, когда ее никто и не думает выполнять (...) Интеллигент по буквальному этимологическому смыслу своего самоназвания — это тот, кто как раз обязан понимать; уклоняясь от усилий понимания, он уклоняется от своего прямого дела (...) И сегодня, как всегда, дело интеллигента — заботиться не о том, понимают ли его другие, а о том, понимает ли он других. Это должно быть его тревогой".*

Какими бы функциями мы ни наделяли интеллигенцию, как бы ни ограничивали (или не раздували) ее задачи, никто не отрицает, что первая из них — сохранение нравственных идеалов, того эталона, который невозможно держать за семью печатями в Палате мер и весов.

Задачи интеллигенции, по существу, неизменны. Задачи политиков — сиюминутны. Предполагается, что стратегические планы политиков ориентированы на вечное, нравственное. На практике — это лишь слова. Но даже и благие устремления нередко превращаются в свою противоположность, трансформировавшись по требованию политической минуты.

И когда интеллигент начинает играть в поддавки, нельзя даже сказать, что он проигрывает, он просто переходит в другую плоскость, начинает существовать в другой системе координат и как интеллигент самоустраняется. По словам того же Сергея Сергеевича Аверинцева: "Тут не поможет поделить интеллигентов (...) на "истинных" и "неистинных"; о втором разряде уже слишком неинтересно говорить".

Допустим, раньше удавалось протолкнуть в печать, скажем,

* О.Огнева, "По линии наибольшего сопротивления", Интервью с проф. С.С.Аверинцевым, "Советская культура", 21 февраля 1987 г.

некий рассказ Платонова — это была радость. Разумеется, никому и в голову не приходило удивляться, что в примечаниях не отмечено, мол, этот рассказ уже был напечатан по-русски, допустим, в журнале "Грани" в таком-то году.

Было все понятно: пропихивали, кого надо, обманывали, уговаривали, рисковали.

Теперь начальство заявляет, что устраняет ошибки прошлого и устанавливает справедливость. Что все делается их усилиями, трудами, с их согласия и даже по их настоянию. Вот так. И общество должно именно их благодарить за Платонова и Гумилева.

Но почему же, публикуя поэму Твардовского, стихи Ахматовой и Гумилева, роман А.Бека, повесть Платонова, ни звука о том, что не впервые эти произведения печатаются, что все это можно было прочесть (и кое-кто читал) изданным на Западе. Это и называется гласностью?

И всем все понятно. И все делают вид, что так и надо. И еще низко кланяемся и повторяем, как заклинание, что наконец-то все честно, справедливо, нравственно, и теперь, если еще победить консерваторов, то, вообще, желать будет нечего. Но только раньше мы были здесь, а начальство там, а теперь академик Лихачев (человек бывший эталоном порядочности на протяжении многих лет) публикует в "Литературной газете" статью, призванную доказать, что сейчас служение обществу и служение власти — это примерно одно и то же.

КТО С КЕМ ВМЕСТЕ ТЕПЕРЬ?

30 января "Русская мысль" напечатала отрывок из частного письма, пришедшего из Союза. Автору этого письма удалось буквально в одной фразе сформулировать проблему — "Самоидентификация с политикой "перестройки", хоть тактическая, хоть искренняя, приводит к дезорганизации окружающих".

Случай Дмитрия Сергеевича Лихачева — самое яркое подтверждение этих слов.

Или, на обложке "Огонька" появляется фотография — Воз-

несенский, Евтушенко, Рождественский и... Окуджава. Друзья! А в журнале, под обложкой, напечатана беседа корреспондента с поэтами.

"Впервые за много-много лет мы собрались вместе", — не без гордости говорит Евтушенко.

Да что же такое случилось, что все собрались на подмосковной даче Евтушенко? Кто с кем вместе теперь? Евтушенко — трубадур и пропагандист нового начальства, подпевала Вознесенский, Рождественский — номенклатурный товарищ, даже на внешность которого длительное пребывание в кабинетах наложило печать. И Окуджава?

Как же это такое возможно? Братание? Волк и агнец в трогательных объятиях. Рай наступил на земле?

Наступил, отвечает Евтушенко: "Мы смертельно устали, патроны и силы кочались. Над нашими головами начали кружиться иностранные вертолеты, гостеприимно сбрасывая заманчиво покачивающиеся над нашими головами веревочные лестницы. Но по ним карабкались только слабые, обменявшие борьбу за свободу в своем Отечестве на радиостанцию "Свобода". А мы не сдавались, мы верили, что день, когда наши надежды станут явью, придет. Нет, не напрасно мы срывали наши глотки в дискуссиях и на эстраде, которая была для нас полем боя за этот день. Сегодня к управлению многими сферами нашей жизни приходят те люди, которые когда-то студентами слушали наши стихи, прорываясь в залы без билетов".

Неужели Булат Окуджава не понимал, направляясь на этот шабаш, что он своим авторитетом поддерживает казенных функционеров?

Еще раз сошлюсь на Аверинцева: "Если я, именно я, вдруг заговорю с наигранной решительностью призыва, чересчур размашисто, чересчур широковещательно, мне перестанут верить. А потерять доверие я боюсь".

А Окуджава не боится? Почему? Нельзя было отказаться?

Белла Ахмадулина, приглашенная на фотосеанс пятой, ответила вежливо и однозначно: "Я вам не шут гороховый".

Еще пример? Аркадий Натанович Стругацкий дает интервью альманаху "Книжное обозрение".

"Почему не все ваши произведения увидели свет?" — спрашивают у него.

"... Наша давно написанная повесть "Гадкие лебеди" не была опубликована потому, что какой-то мерзавец переслал ее за границу, в белоэмигрантское издательство "Посев". (Мы выступили по этому поводу с протестом в "Литературной газете" в 1972 году). Эта повесть печатается в настоящее время под названием "Время дождя" в рижском журнале "Даугава".*

Без всяких комментариев прислали мне из Ленинграда эту публикацию друга. Я тоже не знаю, что здесь сказать.

Читать это стыдно.

И не в том дело, что неправда, что несчастную рукопись мурыжили десятки редакций и все мыслимые издательства, вплоть до Магаданского, завернули ее. Не в том дело, что повесть написана была в 1967 году, а опубликована в 1972, т.е. через пять лет. Это шелуха. Главное, что тогда, в 1972 году, Стругацкие через силу сочинили этот "протест", теперь, в 1987, когда уже нет никакой необходимости, А.Н. упоминает о нем, чуть ли не с гордостью.

Хотелось бы знать, что думают восемнадцатилетние, кто смотрит сейчас на них — на Окуджаву, Аркадия Стругацкого. Равняются? Отталкиваются? Пожалуй, лично меня это волнует больше всего.

КТО ЖЕ В ПРОИГРАВШИХ ?

Возможно, композиция этой статьи кажется несколько странной.

Почему я в центр поместил обстоятельства рок-группы "Аквариум" и описал их подробно, хотя невооруженным глазом видно, что тема статьи не музыка и не жизнь музыкантов?

Я не поклонник "Аквариума". Не был им и раньше в Ленинграде, хотя с интересом слушаю их музыку. Вне всяких сомнений, Борис Гребенщиков — человек талантливый и иск-

* "Огонек", 9, 1987 г.

ренных, но (по-моему, и это вне всяких сомнений) больше всего нуждается "Аквариум" в профессиональной и доброжелательной критике. Понять свое место и, одновременно, — на что ты претендуешь. Разобраться — чего ты хочешь и как этого достичь.

Однако я о другом. О молодежи, которая ищет кумиров и, отыскав, обряжает их в белые одежды непогрешимости.

Здесь, на Западе, положение рок-музыкантов в обществе совершенно особое: только они, и никто другой, имеют контакт с молодежной аудиторией. Не литераторы, не кинематографисты, не политики, а только музыканты. Если они одушевляются общей задачей, они серьезная сила, и влияние их огромно.

Не исключено, что горбачевская команда в какой-то степени учитывает этот западный опыт, отсюда их внимание к рок-музыке. Потому и меня заинтересовала судьба "Аквариума".

Прошло совсем немного времени после публикации в "Огоньке" "реплики" о псевдомecenатке Джоан Стингрэй, и вот под рубрикой "Возвращаясь к написанному" — еще одна реплика.

Заголовок "Рок-музыканты за доверие"* настраивает на совершенно иной лад. Тут же и фотография Бориса Гребенщикова вместе со злокозненной Стингрэй и даже комплименты в адрес этой "контрабандистки". И — невероятное! — фотография обложки альбома "Красная волна", той самой обложки, на которой было обнаружено нечто ужасное, против чего протестовал Гребенщиков.

Ничего, выходит, ужасного на обложке нет. Ужасное, оказывается, про этот альбом написали американские журналисты "Что ж, — разводит руками огоньковец В.Ковалев, — таковы нравы "свободной" прессы Запада. Что касается конфликта ВААП с фирмой "Стингрэй продакшен", то он улажен, — за использование записи советских исполнителей в коммерческих целях выплачен штраф".

Тут же с энтузиазмом излагается проект совместных выступлений "Аквариума" с американскими музыкантами, — это обещает устроить Стингрэй, которая, к удивлению В.Ковалева, "оказывается" и сама музыкант.

*В.Ковалев, "Рок-музыканты за доверие". Огонек, 7, 1987 г., стр. 3.

Хэпи энд? Вероятно. Все счастливы. Власти выиграла партию. Прижали — Гребенщиков покаялся. Стало нужно им — помирился, пришел с бывшей "контрабандисткой" в редакцию, сфотографировался.

В выигрыше, между прочим, Джоан Стингрэй. Хоть "Огонек" и упоминает какой-то там штраф, однако трудно себе представить, что это была ощутимая для нее и для ВААП сумма.

На апрель назначена ее свадьба с гитаристом из группы "Кино" Юрием Каспаряном, а ведь ее вполне могли бы и не пустить в Ленинград на собственную свадьбу. Не так ли?

В выигрыше Гребенщиков: в "Мелодии" вышла пластинка, светят гастролы в США. Впрочем, я совсем не думаю так уж плохо о Борисе Гребенщикове и не хочу сказать, что это его последнее слово и на нем надо поставить крест. Я лишь констатирую: он вступил в игру, и счет открыт. Выиграть он может в той игре много — разные жизненные блага, все нужное человеку, скучно перечислять.

В проигравших, как обычно, оказалась безымянная аудитория — читатели журнала "Огонек", "Литературной газеты", "Книжного обозрения", поклонники "Аквариума". Они получили в качестве образца для подражания еще один пример лицемерия и конформизма.



Евгений МАНИН

ПАРАДОКС ЕВРЕЙСКОГО ГЕТТО

Мы живем в удивительно удобное время — время величайшего умственного комфорта. Напрягать свой мыслительный аппарат кажется теперь таким же нелепым, как, скажем, пахать землю с помощью волов, запряженных в плуг. У нас есть десятки-другой готовых словесных штампов, наподобие поздравительных открыток, где весь текст уже напечатан и остается только, по возможности правильно, подписать свое имя: "Узники Сиона", "Жертвы Катастрофы", "Отпусти народ мой!" и всякие другие, на любой случай.

Ежегодно 16 мая, в годовщину уничтожения Варшавского гетто — один из самых страшных эпизодов истребления евреев нацистами, в печати и на телеэкранах в изобилии появляется популярный лозунг-штамп "Это не должно повториться!" Что именно "это", откуда это "это" взялось, что этому "это" предшествовало, почему вообще появилось гетто, и что означает это странное слово, — вряд ли один человек из ста задумается над этим. А жаль! Во времена узников Варшавского гетто еще не народилось поколение журналистов с мелодраматическими наклонностями провинциальных трагиков прошло-

го века, придумавших перечисленные выше штампы. Узники Варшавского гетто были просто узниками Варшавского гетто, и от этого их трагедия и право на бессмертие не стали меньше.

Мне довелось читать в нашей периодике очерки об истории гетто, исполненные прямо-таки с кавалерийской лихостью. Из них следует, что гетто появились в какой-то день совершенно внезапно, как цыпленок из яйца: было все хорошо, и вдруг — крак! — и все стало плохо. Почему это явление связано только с католическими странами? Неважно: связано и все. В северной Италии существует удивительный еврейский традиционный праздник — "Праздник основания гетто". Как объяснить эту странность? Оказывается — "парадоксальностью еврейской природы" (есть у нас, значит, кроме прочих качеств и такое). Что это за слово — "гетто"? Выясняется — это название какого-то литейного завода.

Две с половиной тысячи лет назад уже Геродоту было известно, что ни одно историческое событие не возникает просто так: каждое событие предопределяется каким-то другим, ему предшествовавшим, и само служит причиной последующего. Так, идя от звена к звену, можно восстановить весь причинно-следственный ход событий. Впрочем, для сторонников "спонтанного" возникновения гетто Геродот, может быть, и не авторитет, тем более, что он не еврей.

Благоговевая перед памятью погибших, я предлагаю читателям очерк об истории гетто в самой сжатой форме. Каждый из приведенных в очерке фактов — исторически достоверен. Цель очерка — заставить читателя задуматься над причинами, приведшими наш народ к трагедии гетто, и решить самому — что именно не должно повториться в будущем.

1. НАЧАЛО.

Необычным был этот пронизывающе-дождливый декабрьский день 445-го года до н.э. в Иерусалиме. Огромная толпа стояла окаменев на площади перед только что отстроеным храмом и в страхе смотрела на высокого худого человека,

вперившего в толпу горящие фанатизмом глаза и как бы гипнотизирующего ее своим негромким, но ясно слышным даже в самых дальних рядах голосом. Это был Эзра, первосвященник и последний из "соферим" — редакторов, составителей и переписчиков Торы.

— Вы хотите знать, за что Господь так сурово покарал вас? — спрашивал Эзра, обводя толпу тяжелым, пристальным взглядом.

В толпе послышались рыдания. На протяжении ста сорока лет, от поколения к поколению, передавался леденящий душу рассказ об осаде Иерусалима могучим повелителем Халдеи царем Навуходоносором, о страшном последнем штурме, разрушении великого города и священного храма, о бесконечной веренице пленников, угоняемых в далекий Вавилон, и о последнем царе Цедекии — закованный в цепи, с выколотыми глазами, он брел во главе колонны. И во все долгие десятилетия Вавилонского плена люди задавали себе один и тот же вопрос: за что Господь так жестоко покарал избранный народ свой?

— Я скажу вам за что! — продолжал Эзра. — Вы не отделились от народов иноплеменных, вы взяли их дочерей за себя и за сыновей своих, и смешалось ваше семя святое с народами иноплеменными. Покайтесь же в этом перед Господом и отлучите себя от народов земных и от жен иноплеменных с детьми их!

И все собрание громко вскричало:

— Как ты сказал, так мы и сделаем! Клянемся в этом!

Вот что произошло в двадцатый день месяца Кислев, в 3316 год от сотворения мира. Знай Эзра, к каким печальным последствиям приведет этот день, и он бы никогда не потребовал подобной клятвы. Знай народ, сколько несчастий уготовила ему эта клятва, и он никогда бы не дал ее.

Этот день резко изменил весь образ жизни евреев. До этого они жили так же, как и все прочие бесчисленные народы и племена, населяющие Сирию и Палестину. Женщина должна

была быть преданной женой, хорошей матерью и поклоняться тому же богу, что и муж; а была ли она вавилонянка, аморреянка или из колена Иудина, — это никого не интересовало. От соседа требовалось, чтобы он был добрым, хорошим и услужливым человеком, а финикиец он, арамянин или иудей, — не имело ни малейшего значения. Теперь все стало не так. От отцов к детям, от дедов к внукам передавалась раз и навсегда данная клятва — "отделить себя от народов земных"; эта клятва входила в плоть и кровь, всасываясь с материнским молоком, и нарушить ее было немыслимо.

Необъятная Персидская империя, простиравшаяся от Инда до Нила, с ее жесткой центральной властью, четким делением на провинции-сатрапии, мощным чиновничьим аппаратом, первоклассными дорогами, соединяющими столицу империи Персеполь с самыми отдаленными ее частями, введенным впервые в истории регулярным почтовым сообщением, — создавала все условия для бурного расцвета торговли. Этому способствовало также необычайно терпимое отношение персов к бесчисленным народам, вошедшим в состав империи, и их религиям. Поэтому, начиная именно с этого времени, началась постоянная эмиграция евреев из крохотной области Яхуд (Иудея) в сатрапии Сирия во все крупные города империи. Этот процесс непрерывно продолжался и тогда, когда Персидскую империю сменила еще более грандиозная империя Александра Великого, и в эпоху эллинистических царств, и в течение всей истории Римской империи. К началу новой эры население Римской империи составляло около 50 миллионов человек; седьмую часть населения (7 миллионов) составляли евреи. Из них 3 миллиона жили в Палестине, а остальные 4 миллиона расселились по всем значительным центрам империи — от лазурных берегов Тавриды на востоке до пыльных равнин Лузитании на западе, и от солнечных Вавилона и Александрии на юге до туманных городов северной Галлии на севере. И в каждом городе ситуация была совершенно одинаковой: еврейская община занимала определенную часть города и жила тесной, замкнутой группой, не имея ничего общего, кроме чисто деловых связей, с остальным населением города.

Это явление, наблюдаемое в течение длинной вереницы столетий, стало привычным, и каждый народ по-своему называл как бы чужеродное тело внутри городов — район, где, "отделившись от народов земных", замкнуто жили евреи, но на всех языках это означало одно и то же: еврейский квартал или еврейская улица. В Римской и Византийской империях, а также в средневековой Италии эти районы официально назывались *Vicus Judaeorum*, в Португалии — *Judiaria*, в северной Франции — *Juiverie*, в Провансе — *Carriere des Juifs*, в Англии — *Jews' street*, в Германии — *Judenviertel*, *Judengasse*.

К началу так называемого зрелого средневековья (X век) самые богатые и влиятельные еврейские общины находились в горах северо-восточной Италии — Ломбардии: Милане, Равенне, Павии, Мантуе, Падуе, Вероне, Венеции. Они появились здесь еще при первых императорах Римской империи и были свидетелями всех бурь, потрясавших западный мир в эти десять столетий. Они видели вторжение варваров и падение империи; они были последовательно подданными остготских, лангобардских и франкских королей; вторгались новые народы, смешиваясь с уже живущими здесь, образуя новый удивительный сплав — итальянскую нацию. И только одно оставалось неизменным в этом сумасшедшем вихре — еврейские общины; они все так же замкнуто жили в своих кварталах, своей собственной, особой жизнью, "отделившись от народов земных".

В 961 году феодальные сеньоры Ломбардии присягнули на верность германскому императору Отто Великому, и Ломбардия стала частью Священной Римской Империи.

Как же относились к евреям три основные категории населения средневековых ломбардских городов — феодальные сеньоры, духовенство и простые граждане?

Крупные феодалы, в вассальной зависимости от которых находились города, были людьми практичными, и теологические тонкости их интересовали мало. Единственное, что их интересовало, — это собственное могущество, позволявшее им держать в руках своих вассалов и, по возможности, не подчиняться императору. Для этого требовались большие день-

ги — на содержание армии и поддержание образа жизни, приличествующего столь важным вельможам. Эти деньги можно было добыть двояким способом: путем сбора налогов и одалживанием под проценты. Величина налоговых сборов находится, как известно, в прямой зависимости от экономического процветания региона, т.е. интенсивности торговли. А торговля в те времена, в основном, находилась в руках евреев, как, впрочем, и ссудные кассы, где деньги можно было одолжить под проценты (собственно итальянские купцы и банкиры появились несколько позже). Отсюда ясно, что отношение ломбардских феодалов к своим еврейским подданным было хоть и не бескорыстным, но вполне доброжелательным.

С церковью дело обстояло сложнее. В соответствии с древним пророчеством, в тысячный год от рождения Христа ожидалось второе пришествие, во время которого, наряду с прочими важными событиями, евреи осознают, наконец, свои заблуждения и добровольно перейдут в лоно католической церкви. Рассчитывая на это, высшее духовенство — папа, архиепископы и епископы — относились к евреям, если и не доброжелательно, то, во всяком случае, без явной враждебности. Зато низшее духовенство, интеллектуально мало чем отличавшееся от своих прихожан, в проповедях поносило "христоразвращателей"-евреев на чем свет стоит, оказывая немалое влияние на формирование психологии средневекового простолюдина.

Что касается этих последних, то тут все было просто и ясно. Горожанин X-го века относился к евреям с суеверным ужасом и нескрываемым отвращением, видя чуть ли не в каждом из них прямого потомка Иуды Искарота. Их замкнутая, обособленная жизнь, непонятный, "тарабарский" язык, на котором они говорили между собой, чуждые обряды и праздники, а также общеизвестное богатство еврейских общин, — вызывали у горожан чувство подозрительной враждебности и зависти. Умение евреев читать, писать и считать — явление крайне редкое по тем временам — принималось за что-то вроде магии, а врачебное искусство было не что иное, как продажа души дьяволу. И если почтенные бюргеры еще держались в рамках приличий, то мастеровая молодежь и разный городской

сброд не видели для себя большего удовольствия, чем ворваться в субботний праздник в еврейский квартал и устроить там дебош. Городские власти, сами видевшие в евреях чужаков и кровопийц-ростовщиков, оставляли, разумеется, подобные выходы безнаказанными.

Однажды, во время одного из таких дебошей, в Равенне сгорела синагога. Вслед за этим представители всех ломбардских еврейских общин обратились к собравшимся на совет в Мантуе имперским князьям с всеподданнейшей просьбой — разрешить им обнести свои кварталы стеной для защиты самих себя и своего имущества. Князья сначала ответили отказом, поскольку феодальные законы предусматривали только для городов право обносить себя стенами, если подобное право было милостиво даровано сеньором в виде особой "хартии о привилегиях". Но, как уже упоминалось выше, отношение имперских князей к евреям было вполне доброжелательным, с некоторой даже примесью зависимости. Кроме того, почтительная просьба была подкреплена солидным количеством мешков с полновесными золотыми цехинами. Оба этих немаловажных обстоятельства сыграли свою роль, и разрешение было дано.

Строительство стен внутри города было делом доселе неслыханным; горожане были шокированы и раздражены; евреи же громко ликовали, считая, что победа, одержанная ими в данном случае, ничуть не менее значительна, чем победа, одержанная Мордехаем над Аманом во времена Эсфири. Праздник, посвященный этому событию (несколько позднее он получил название "День основания гетто"), неукоснительно соблюдался из года в год, и как традиция дожил до наших дней, хотя и не всякий ломбардский еврей сможет сегодня связно объяснить его происхождение.

Итак, за немногими исключениями, в одном ломбардском городе за другим начинают возводиться внутренние стены, полностью отделяющие еврейский квартал от остального города. Требование Эзры "отделить себя от народов земных" на этот раз было выполнено буквально. Стена была глухой, с единственными воротами (они так и назывались — "еврейские

кие ворота" — Porta Ebreo), которые на ночь и в праздники запирались, а в обычные дни были открыты и охранялись изнутри стражей, специально выделяемой еврейской общиной.

Ярость горожан была бессильной против решения сеньоров, и они постепенно привыкли к нововведению. В официальных бумагах обнесенный стеной квартал по-прежнему именовался Vicus Judaeorum, но на городском жаргоне ломбардцы называли этот "город в городе" Ebreo Borghetto, что в буквальном переводе означало "еврейский поселок" (Borghetto — это уменьшительная форма от borgo — городок, подобно немецкому burg, французскому bourg, английскому burgh).. Поскольку никто другой, кроме евреев, подобных поселков не имел, длинное название сократилось сначала до "боргетто", а потом — до простого "гетто", и это новое жаргонное словечко прочно вошло в ломбардский диалект. Прочие итальянцы, а тем более народы, живущие за пределами Италии, не имели пока об этом слове ни малейшего представления.

Между тем, это слово начало, как это обычно бывает в языке, приобретать иные оттенки и значения. Поскольку, как уже говорилось, никто, кроме евреев, не создавал себе подобных "поселков", словом ghetto ломбардцы стали называть евреев в собирательном значении, подобно русскому слову "еврейство" или английскому Jewry. Позднее, когда средневековый антисемитизм расцвел пышным цветом, и к еврею редко обращались иначе, чем "грязная свинья", слово "гетто" приобрело дополнительный презрительно-брезгливый оттенок: "свинюшник", грязная трущоба. Но основной смысл слова "гетто" оставался пока неизменным — еврейский квартал, обнесенный для защиты стеной и охраняемый изнутри.

2. РАСПЛАТА

Мы уже говорили о том, что средневековый простолюдин отличался тремя характерными особенностями: невежеством, подозрительностью и суеверием. Пока евреи жили замкнутой группой, но на виду, горожане относились к ним неприязненно, даже враждебно, но и только. Все изменилось, когда

жизнь, отделивших себя от города стеной, стала невидимой. Тут уж перечисленные выше три качества, обильно сдобренные буйной фантазией, заработали вовсю. Сначала по Италии, а потом по ближним и дальним европейским странам поползли зловещие слухи о том, какими мерзостями занимаются евреи, отгородив себя стенами от честных христиан. Они вызывают злых духов и с их помощью напускают на людей порчу, травят воду в колодцах, напускают засухи, наводнения и опустошительные эпидемии. Они оскверняют христианские святыни — распятие и просфору, плюя на них, и повелевают нечистой силой, читая католические молитвы задом наперед. Они замешивают свою мацу на крови невинных детей, выкрадывая их у горожан по ночам. Сомневающимся выставляли неопровержимый аргумент: если бы это было не так, если бы не нужно было скрывать все эти мерзости, — для чего же отгораживаться стенами от порядочных людей?

Эти слухи расходились, как круги на воде, и чем дальше доходил такой круг, тем все более ужасающими подробностями эти слухи обрастали. Десятилетия шли за десятилетиями, сменялись поколения, уже давно был забыт первоисточник этих слухов, да и сами слухи превратились в абсолютную убежденность, что все именно так и есть, что все несчастья идут от евреев, и что не будь их — на земле тотчас воцарилось бы царствие небесное. Сдерживаемая злоба накапливалась в душах, рвалась наружу, и нужен был лишь повод, чтобы вся эта дикая ярость вырвалась на свободу...

Это случилось в марте 1096 года, почти точно столетие спустя после первого Праздника основания гетто. Многотысячные толпы титулованного и нетитулованного сброда с нашитыми на груди белыми крестами двигались с севера на юг по дорогам Франции, Германии и Чехии, направляясь к Белграду и далее — к Константинополю. Начиналась одна из самых удивительных страниц европейской истории — эпоха Крестовых походов, и участники первого похода устремились к своей возвышенной цели — вырвать Иерусалим из рук "неверных". До первой стычки с "неверными" должно было пройти больше года, но уже сейчас, в Европе, путь благочестивого воинст-

ва был залит кровью в самом буквальном смысле — кровью евреев. Вся так долго сдерживаемая ненависть вырвалась на волю, и погромы 1096 года стали чем-то вроде генеральной репетиции "Окончательного решения еврейского вопроса", проведенного восемь с половиной столетий спустя. Банды крестоносцев не ставили своей целью уничтожение каких-то определенных еврейских общин или даже евреев какого-то определенного государства. Они истребляли евреев вообще как расу, поскольку евреи, по глубокому убеждению крестоносцев, за свои тайные гнусные деяния не имели права на жизнь. Руан, Реймс, Верден, Кельн, Шпейер, Вормс, Трир, Майнц, Магдебург, Прага, Мец, Регенсбург, Нейсе — вот далеко не полный список городов, где евреи были полностью истреблены. Само истребление проводилось с неслыханной жестокостью: мужчин разрубали на куски, топили, сжигали, сажали на кол, женщин насиловали, вспарывая им потом мечом живот, детей разрывали пополам или разбивали им головы об стену. Иногда католическое духовенство, потрясенное происходящими на его глазах зверствами, пыталось укрыть евреев в стенах аббатств и монастырей. В этом случае аббатства и монастыри брались штурмом, а спасители разделяли страшную участь спасаемых.

Если 1096 год — это дата первого массового истребления евреев, то 1144 — дата первого кровавого навета. Выше уже говорилось о том, что слухи о похищениях по ночам и убийствах в ритуальных целях христианских детей появились некоторое время спустя после возникновения первых ломбардских гетто. Теперь, впервые, в этом преступлении была прямо обвинена еврейская община Норвича, столицы графства Норфолк в восточной Англии. По Англии прокатилась волна погромов, и вскоре кровавый навет стал обычным явлением во всех европейских странах, и следствием его были либо погромы, либо изгнание евреев из страны.

В 1198 году папский престол занял честолюбивый, хитрый и жестокий граф Джованни Лотарио да Конти, как папа принявший имя — Иннокентий III. Когда в 1200 году безрезультатно окончилось очередное ожидание второго пришествия и

добровольного крещения всех евреев, Иннокентий III осознал, что в ближайшее тысячелетие оба эти события, по всей вероятности, не состоятся. Разочарование могло вызвать нежелательное брожение в головах верующих, поэтому для его нейтрализации было применено безотказное средство. В 1215 году под председательством Иннокентия III состоялся 4-ый Латеранский собор, принявший среди прочих постановлений два постановления, касающиеся евреев, "дабы предотвратить распространение греховных ересей и оскорбление чувств возлюбленных чад наших". Смысл первого постановления заключался в том, что верный сын католической церкви должен был иметь возможность издали распознать еврея, чтобы избежать оскверняющего контакта. Для этого евреям предписывалось носить определенного покроя одежду, особой формы желтую шапку и нашитый желтый же круг (о шестиконечной звезде в то время еще не знали). Второе постановление имеет непосредственное отношение к нашему рассказу. Существовавшие уже более двух столетий ломбардские гетто, основание которых по-прежнему неукоснительно праздновалось тамошними евреями, натолкнуло папу на простую, но эффектную мысль: превратить гетто, созданные евреями для себя, в нечто, обратившееся против них же. Второе постановление гласило, что районы городов, где проживают евреи, должны быть обнесены стенами с единственными воротами, охраняемыми городской стражей с н а р у ж и , стражей, позволяющей евреям выходить в город лишь с особого разрешения.

Эдикт был написан на отличной латыни и ломбардскому жаргонному словечку "гетто" там, разумеется, места не было, но год выпуска этого эдикта и есть год рождения гетто в нынешнем понимании этого слова. Сначала как будто ничего и не изменилось: темпы жизни средневековья были неизмеримо медленнее, чем в наш сумасшедший век. По-прежнему существовали лишь огороженные ломбардские гетто, правда, уже со стражей с н а р у ж и , а не изнутри; их обитатели как-то сразу и не поняли, что они отныне находятся, по сути дела, в тюрьме и продолжали ежегодно торжественно справлять Праздник основания гетто. Прошло столетие, прежде чем было построено гетто, соответствующее решению Латеранского собора.

В 1241 году полчища монголов, пройдя огнем и мечом по Руси, хлынули в страны Восточной Европы — Польшу, Чехию и Венгрию. Сопrotивление этих стран было без труда сломлено, и все крупные их города были превращены в груды развалин. Западную и Восточную Европу от монгольского ига спасла лишь неожиданная смерть кагана (великого хана) Угедэя: монголы повернули обратно, чтобы принять участие в избрании нового великого хана.

Разрушенные города медленно отстраивались, и двадцать лет спустя, в 1261 году, польский король Болеслав Пятый даровал хартию на права города восстановленному Вроцлаву. Здесь-то, в отстроенном Вроцлаве, и было предусмотрено первое в Европе гетто, в его новом понимании и новом виде. Вслед за Вроцлавом, гетто появляются и в других отстраиваемых восточно-европейских городах. Назывались они пока по-прежнему — "Еврейские кварталы".

Первое гетто нового типа в Италии было построено в Венеции, в 1516 году (здесь евреи не строили собственного гетто), и сразу было названо привычным ломбардским словом "гетто". Политическое влияние, престиж и огромная территория Венецианской республики сразу сделали это слово общепитальянским, и когда в 1555 году эдиктом папы Павла Четвертого было предписано строить гетто в Риме и прочих городах папского государства, это слово стало употребляться во всем католическом мире.

Великая Французская революция, сделав всех граждан равными перед законом, особым декретом отменила гетто, и в течение первой половины XIX века большинство европейских стран последовали примеру Франции.

Россия, как обычно, все делала с большим опозданием, зато с большим размахом. 3 мая 1882 года был издан "Закон о черте оседлости", ограничивающий право проживания евреев пределами определенных губерний, а 6 апреля 1906 года был принят так называемый "Закон о 101 пункте жительства", где точно перечислялись населенные пункты, в которых предписывалось жить евреям. Гетто в европейском смысле этого слова на территории России не строились никогда.

Общеизвестно, что нацисты, среди прочих своих отрицательных качеств, отличались полным отсутствием оригинальности мышления. Поэтому, когда речь заходит о том, что Германия в период нацизма была отброшена обратно к средневековью, это надо понимать не фигурально, а буквально. "Закон о евреях", изданный в октябре 1939 года, есть точная копия постановления 4-го Латеранского собора, с той только разницей, что вместо предписания носить особую одежду, евреям ставили в паспорт знак "J" /Jude/, а вместо желтого кружка они были обязаны носить желтую шестиконечную звезду — эмблему сионизма. 15 ноября 1939 года было официально объявлено о начале "функционирования" Варшавского гетто. Его конструкция и охрана ничем не отличалась от средневековых гетто, а вот идея отличалась (все-таки цивилизация шагнула на 700 лет вперед): ранние ломбардские гетто ставили своей целью добровольную изоляцию евреев от остального населения; более поздние гетто — принудительную изоляцию евреев; нацистское гетто — варшавское и десятки других — ставили своей целью принудительную изоляцию евреев и их медленную, мучительную смерть от голода и болезней. То же можно сказать и об идее повального истребления евреев: она была перенята у средневекового крестоносного сброда, только там счет велся на десятки тысяч, а здесь (опять же сказывается прогресс XX века!) — на миллионы.

3. ОПЯТЬ НАЧАЛО?

Попробуем восстановить основные звенья цепи событий: клятва "отделить себя от народов земных" — обособленная жизнь в городах — первые ломбардские гетто с охраной изнутри и "Праздником основания гетто" — ломбардские гетто-тюрьмы с охраной снаружи — европейские гетто-тюрьмы — нацистские гетто для истребления евреев. "Это не должно повториться!" — великолепный лозунг, главное выяснить, что же именно не должно повториться — только последнее звено этой цепи, или что-то еще, что, быть может, вольно или невольно привело к этому последнему звену?

Два недавних и, на первый взгляд, не столь уж важных события, отмеченных в газете "Джуиш Таймс", привлекли мое внимание.

Первое из них носило несколько даже комический характер. Наряду с уже имеющимися мышатами-героями американских мультфильмов — Микки-маусом, Джерри-маусом и Майти-маусом — появился еврейский мышонок Файвель-маус. Он понравился, стал популярным и начал появляться в телерекламах наряду с тремя другими своими сородичами. И тут произошло нечто непредвиденное. В газету посыпались гневные письма американских ортодоксальных евреев и их детей, возмущенных тем, что "истинного еврейского" мышонка Файвеля посмели смешивать с "инородными". По-видимому, мышонок Файвель также подлежит упомянутой клятве Эзры и "отделению от народов земных".

Событие второе — отнюдь не комическое. Ортодоксальная община одного из городков-пригородов Нью-Йорка начала обносить свою территорию каменной оградой. Прочие жители обратились в суд с требованием запретить строительство ограды и разрушить уже построенное, поскольку строительство этой ограды нарушает их гражданские права — мешает свободному проходу и проезду, а также уродует внешний вид городка. Представители еврейской общины, в свою очередь, заявили, что запрещение строить ограду будет означать нарушение их гражданских прав — свободы вероисповедания и соблюдения религиозных обрядов. На вопрос судьи, о каких именно обрядах идет речь, представители еврейской общины заявили, что в соответствии с религиозной традицией, они должны отгородить себя от остальных жителей, ибо сказано: "Отделите себя от народов земных".

**Александр Орлов
ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ СТАЛИНСКИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Эта книга принадлежит одному из видных деятелей сталинского НКВД, но почти 30 лет она была неизвестна русскому читателю. Чудом уцелев, генерал Александр Орлов бежал в 1938 году в Соединенные Штаты и, оставаясь 15 лет неузнанным, прожил здесь до конца своих дней. Книга Орлова — это документальное свидетельство эпохи, раскрывающее самые глубокие тайны сталинской секретной полиции.

...КАК ГОТОВИЛОСЬ УБИЙСТВО КИРОВА...

...ВСТРЕЧА СТАЛИНА С НИКОЛАЕВЫМ...

...КАК БЫЛИ ВЫРВАНЫ ПРИЗНАНИЯ У ЗИНОВЬЕВА И КАМЕНЕВА...

...ИХ СДЕЛКА СО СТАЛИНЫМ В КРЕМЛЕ...

...ДОПРОСЫ И ПРИЗНАНИЯ ПЯТАКОВА, БУХАРИНА, РАДЕКА...

...ПОДРОБНОСТИ ГИБЕЛИ АЛЛИЛУЕВОЙ...

...ЯГОДА ПЕРЕД КАЗНЬЮ...

...ЕЖОВ, КАКИМ ОН БЫЛ...

...ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СТАЛИНА ПАУКЕР ОБ УТЕХАХ ВОЖДЯ...

Таковы лишь штрихи, лишь отдельные эпизоды документальной эпопеи Александра Орлова.

По свидетельству специалистов, ни одна из изданных до сих пор книг о советской тайной полиции не может сравниться с книгой Александра Орлова как по документальной точности излагаемых фактов, так и по захватывающему интересу, который она вызывает у читателей. Тот, кто открыл первую страницу этой книги, уже не сможет закрыть ее, не дочитав до конца этот зловецкий детектив сталинской инквизиции.

Книга Орлова (350 стр.) иллюстрирована редкими фотографиями 30-х годов. Цена книги - 15 долларов. Пересылка - 1 доллар.

Заказы и чеки посылайте по адресу:

**"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
LEONIA, NJ 07605, USA
Tel.: (201)592-6155**

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО



А. Белинков

А. БЕЛИНКОВ

СТРАНА РАБОВ,

СТРАНА ГОСПОД...

"НОВОМУ КОЛОКОЛУ" - ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ

Исполнилось пятнадцать лет со дня выхода в свет "Нового колокола". Это было по-своему уникальное литературно-публицистическое издание, выпущенное группой бывших советских писателей и журналистов, получивших политическое убежище на Западе. Облик "Нового колокола" прежде всего определили статьи и эссе Аркадия Белинкова, человека и писателя удивительной судьбы, чей талант безусловно оставит след в истории русской литературы и политической мысли.

В этом номере мы предлагаем читателю, быть может, одну из самых блестящих статей Белинкова "Страна рабов,

страна господ..."; вызвавшую в свое время чрезвычайно острую дискуссию в эмиграции.

Со своей стороны мы также считаем, что многие положения статьи не бесспорны, особенно в свете последних событий в СССР. И тем не менее, на наш взгляд, статья представляет большой интерес — и по своим мыслям, и как прекрасный образец высоко-гражданственной публицистики.

Так было и так будет впредь.

*Из речи министра внутренних дел и шефа жандармов
А. А. Макарова.*

Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты 1912 г. Сессия пятая, ч. III 1912, стр. 1953.

В России власть побеждает легко. В России, чтобы победить, нужно только поймать. Суд в России не судит, он все знает и так. Поэтому в России суд лишь осуждает. Но для того, чтобы осудить не только того, кого поймали, но еще и тех, которых пока не поймали, нужно, чтобы ловила не одна полиция, а все общество. И общество в России всегда охотно, готовно и стремительно шло навстречу. Поэтому в эпохи, когда свобода, достоинство и мысль людей уже до конца сожраны государством, общество всей душой начинает заверять победителей в том, что его не во всем правильно поняли и что оно всегда в мыслях своих было со своими душителями.

Декабристы начали писать первые страницы раскаяний и верноподданических заверений. Потомки этими раскаяниями и заверениями залили российскую общественную историю, особенно в эпоху, которая объявила себя прямой наследницей декабристов.

Вот что думали, писали и говорили о себе люди, замахнув-

шиеся на российскую власть, окруженные враждебностью и отвращением не одних лишь мундиров гвардии, юстиции, двора, жандармерии и народного просвещения, а общества, к которому они принадлежали сами, и не только по рождению, но и по мыслям. Они осудили себя и их осудили самые лучшие, самые прогрессивные, самые либеральные, самые радикальные люди эпохи.

Что же думали сами декабристы о том, что они сделали?
А вот что:

" Я желал обнаружить перед его величеством всю искренность нынешних моих чувств. Это — единственный способ, которым я смог доказать ту жгучую и глубокую скорбь, которую испытываю я в том, что принадлежал к тайному обществу. Верьте, ваше превосходительство, сия скорбь непрерывно сокрушает мое сердце горем и страданием; я счастлив по крайней мере тем, что не принимал участия ни в каких действиях... Каждый миг моей жизни будет посвящен признательности и безграничной преданности его (царя. — А.Б.) священной особе и его августейшей фамилии..."

Это написано через пять недель после восстания — 21 января 1826 года автором "Русской правды", вождем самого радикального крыла декабризма П.И.Пестелем.

Приговоренный к смертной казни, замененной пожизненной каторгой, другой декабрист писал:

"Я хотел революции? Я, который говорил, что если есть в России что-либо похожее на элемент революции, то сей элемент есть единственно крепостное состояние нескольких миллионов. Желанием, целью моею было: устранить сей элемент революции — и я мог хотеть революции!.."

Рапорт Следственной комиссии представил все адское дело во всей полноте, со всеми подробностями беспримерного разврата и бешеной кровожадности... Душа моя содрогнулась, ужасные ощущения ее терзали. Тогда я увидел, что совещания, на коих я некогда присутствовал, превратились, наконец, в настоящее скопище разбойников, я увидел, что люди, с которыми я некогда говаривал, явили себя истинными злодеями и что в то самое время, когда я с ними говорил, мысль злодейства уже таилась в их сердце развращенном".

* Значительная часть документов, которые я цитирую, собраны в публикации Н.К.Пиксанова "Дворянская реакция на декабризм". В кн.: Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли. Т, п. М.-Л., "Academia", 1933.

Цитируя отрывки из работы Н.К.Пиксанова, я делал ссылки только на его собственный текст. На документы ссылаюсь главным образом тогда, когда представляет интерес имя цитируемого автора.

В отличие от предшествующего письма это было написано не в Петропавловской одиночке, человеком, закованным в железо, а в Лондоне действительным статским советником Н.И. Тургеневым, которому решительно ничего не угрожало и который мог писать все, что хотел, в том числе и обличительные инвективы. Не один из создателей и вождей "Союза благоденствия" и в Лондоне, где через двадцать девять лет Герцен начнет издавать "Полярную звезду", на знаменитой обложке которой будут изображены пять казненных декабристов, не захотел писать обличительных инвектив и не пытался представить в благородном свете дело, за которое твоих близких повесили, а тебя самого приговорили к вечной каторге.

В тетради 1828 года, где Пушкин писал "Полтаву", несколько раз повторен рисунок виселицы с пятью телами. Эти рисунки опубликованы в 1908 году, и вокруг них не раз бушевала полемика и до сих пор стоит недоумение. В полемике выяснилось, что рисунки сделаны не в 1828 году и относятся не к подавленной попытке освобождения Украины (у Пушкина это изображено как патриотическая борьба России со шведской экспансией), а в 1826 году и относятся к подавленной попытке освобождения России от тиранической власти. Что же касается недоумения, то оно было вызвано тем, что один из рисунков находится под строкой "И я бы мог как шут на..." Рисунок и подпись оказались в соседстве с потрясшим Пушкина известием: "услыхал о смерти Рылеева, Пестеля, Муравьева, Каховского, Бестужева 24 (июля 1826 года)"* (шифром). Повешены друзья, погибло дело, которому они служили и в которое он, по-своему, верил, сгорели надежды, кончилась молодость. Его миновала страшная чаша сия, и слава Богу, а ведь в деле много было такого... и он бы мог как шут...

Как шут, то есть как декабристы. Декабристы — люди, с которыми он учился в лицее, дружил в Петербурге, Москве, Каменке, которым посвящал стихи — Пущин, Кюхельбекер, Рылеев, Пестель, В.Давыдов, И.Якушкин, Никита Муравьев — шуты? Все это странно, трудно объяснимо. Несмотря на то,

* Абрам Эфрос. Рисунки поэта. М., Academia, 1933, стр. 358

что издан академический "Словарь языка Пушкина", смысловая особенность и оттенок слова "шут" в этом контексте неясны. "Словарь" устанавливает, что Пушкин в своих произведениях двадцать семь раз употребил это слово.* Его значение было изменчиво, но чаще всего оно было связано с тем, "... кто своим видом или поведением вызывает насмешку, является общим посмешищем".**

Сразу же вслед за пушками выпалил в декабристов еще совсем молоденький, но уже сильно последовательный двадцатитрехлетний Федор Иванович Тютчев.

* Словарь языка Пушкина. Тома I-IV, 1956-1961, Государственное издательство иностранных и национальных словарей. Академия наук СССР, Институт языкознания, М., т. 4, 1961, стр. 990.

** Двадцать семь раз употребил Пушкин слово "шут". Три раза это слово Пушкин относит к себе самому: "Государю неугодно было, что о своем камер-юнкерстве отзывался я не с умилением и благодарностью. — Но я могу быть подданным, даже рабом, — но холопом и шутом не буду и у царя небесного" (Полн. собр. соч., т. 12, стр. 329). "... я не должен был вступать в службу и, что еще хуже, опутать себя денежными обязательствами... Теперь они смотрят на меня как на холопа, с которым можно им поступать как им угодно. Опала легче презрения. Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у Господа Бога" (т. 5, стр. 156), "... подал я в отставку. Но получил у Жуковского такой нагоняй, а от Бенкендорфа такой сухой абшид, что я вструхнул и Христом и Богом прошу, чтоб мне отставку не давали. А ты и рада, не так? Хорошо, коли проживу я лет еще 25; а коли свернусь прежде десяти, так не знаю, что ты будешь делать и что скажут Машка, а в особенности Сашка. Утешения им мало будет в том, что их папеньку схоронили, как шута, и что их маменька ужас как мила была на Аничковских балах." (т.15, стр.180).

Все три "шута" написаны в 1834 году. 1834 год был особенно тяжелым: пожалование камер-юнкером, перлюстрация письма к Наталье Николаевне, неудавшаяся отставка, осложненные отношения с двором, едва не кончившиеся ссорой, совершенное расстройство именина отца, долги, семейные, издательские, дворцовые, цензурные, денежные затруднения, неурядицы, беды. Писать, жить, дышать становилось все тяжелее. Первое стихотворение, которое он написал в 1834 году, было таким: Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...

Давно усталый раб, замыслил я побег

В обитель дальную трудов и чистых нег.

А в плане продолжения этих стихов слова: "религия, смерть".

В конце июля или в начале августа 1834 года в ресторане Дюма Пушкин знакомится с Дантесом.

**Вас развратило Самовластье,
И меч его вас поразил, —
И в неподкупном беспристрастье
Сей приговор Закон скрепил.**

**Народ, чуждаясь вероломства,
Поносит ваши имена —
И ваша память для потомства,
Как труп в земле, схоронена.
О жертвы мысли безрассудной,
Вы уповали, может быть,
Что станет вашей крови скудной,
Чтоб вечный полюс растопить!
Едва, дымясь, она сверкнула
На вековой громаде льдов,
Зима железная дохнула —
И не осталось и следов.**

Это одно из самых трагических, точных и несправедливых стихотворений в русской лирике.

Существенно, что в нем отмечено обстоятельство, на котором стеснительные историки избегают останавливаться: "народ", лучшими проверенными идеологиями почитавшийся за хранителя истины и чистоты, и поэтому чуждый в высшей степени отвратительного ему "вероломства", "поносит" имена людей, погибших за свою свободу, доля которой, несомненно, была бы уделена и ему.

О том, что не хватит этой скудной крови, твердили (и не без основания) все оставшиеся на свободе друзья и не уставали твердить сосланные, высланные, заключенные, разжалованные. Вечный полюс, громада льдов, железная зима... Все это слишком хорошо известно русской истории.

Так думал молодой поэт.

А вот как думал старый историк:

"Я был во дворце с дочерьми, выходил и на Исаакиевскую площадь, видел ужасные лица, слышал ужасные слова, и камней пять-шесть упало к моим ногам. Новый император оказал неустрашимость и твердость. Первые два выстрела рассеяли безумцев с Полярною Звездой, Бестужевым, Рылевым и достойными их клеветами..."

Это писал через пять дней после восстания, за полгода до смерти великий писатель Николай Михайлович Карамзин писателю Ивану Ивановичу Дмитриеву.

А вот что писал через день после восстания В.А.Жуковский (арзамасская "Светлана") :

"Какая сволочь! Чего хотела эта шайка разбойников?.. Можно сказать, что вся эта сволочь составлена из подлецов малодушных. Они только имели дух возбудить кровопролитие, но ни один из них не ранен, ни один не предпочел смерть ужасу быть схваченным и приведенным на суд с завязанными на спину руками. Презренные злодеи, которые хотели с такой безумной свирепостью резать Россию. Изменники или, лучше сказать, разбойники-возмутители, были одни офицеры, которые имели свой план, не хотели ни Константина, ни Николая, а просто пролития крови и убийства, которого цели понять невозможно Тут видно удивительно бесцельное зверство. И какой дух низкий, разбойничий! Какими бандитами они действовали! Даже не видно и фанатизма, а просто зверская жажда крови, безо всякой, даже химерической цели".

По свежим следам 26 декабря, еще один писатель А.Ф.Воейков сообщил княгине Е.А.Волконской:

"Все, что избрал Ад, французские якобинцы, гишпанские и итальянские карбонары и английские радикалы, было придумано нашими преимчивыми на злодейство Пугачевыми. Обольщение, деньги, вино, обещание дозволить солдатам три дня грабить город, покушение захватить сенаторов и учредить временное правительство, умысел овладеть крепостью и захватить казенные деньги, убийство, гнуснейшая клевета — вот орудия, достойные извергов, отрекшихся от Бога, царя, отечества, от матерей, жен, детей и от доброго имени".

Либеральный деятель в высшей степени пристойного "Вольного общества любителей словесности, наук и художеств" известный поэт-баснописец А.Е.Измайлов неистовствует:

"Ах, скоты, скоты, мерзавцы! Представь себе, сочинили конституцию (верно хороша) и назначили кандидатов в сановники Республики, например, завирашку Бестужева хотели сделать третьим консулом, Кюхельбекера цензором... Выйдет в свет подробное описание этого злодейского и вздорного заговора".

"... князь Трубецкой... о подлец! божился перед государем, что он ни в чем не виноват, но когда уличили его собственным рукописанием, то он упал на колени и просил о сохранении ему живота. Как животолюбивы подлецы".

"Еще говорят, будто стонет Финский залив от того, что бросили в него с 14 на 15 число декабря всех праведно и неправедно убиенных. Веришь ли, что есть скоты, которые говорят: да, конечно, лучше было бы похоронить хоть не бунтовщиков. Время было рыть могилы и отворить по кладбищам".

Интеллектуальная элита России отнеслась к декабризму сурово, испуганно и мстительно.

Примерное поведение российских любителей словесности, наук и художеств производило вполне выгодное впечатление на строгое, но справедливое и умеющее ценить по заслугам начальство. Строгое, но справедливое начальство с глубоким удовлетворением отзывалось о поведении писателей, еще недавно считавшихся отменными шалунами. Управляющий III отделением собственной его величества канцелярии Максим Яковлевич фон-Фок писал Александру Христофоровичу Бенкендорфу:

"Дух здешних литераторов лучше всего обнаружился на вечеринке, данной Сомовым (взятого наилучшим образом по делу 14 декабря, но выпущенного с "очистительным аттестатом", — А.Б.) 31 августа 1827 по случаю новоселья. Здесь было немного людей, но все, что, так сказать, напутствует мнение литераторов: журналисты, издатели альманхов и несколько лучших поэтов... За ужином, при рюмке вина вспыхнула веселость, пели куплеты, читали стихи Пушкина, пропущенные государем к напечатанию. Барон Дельвиг подобрал музыку к стансам Пушкина, в коих государь сравнивается с Петром. Начали говорить о ненависти государя к злоупотреблениям и взяточникам, об откровенности его характера, о желании дать России законы, и, наконец, литераторы до того воспламенились, что как бы порывом вскочили со стульев с рюмками шампанского и выпили за здоровье государя. Один из них весьма деликатно предложил здоровье цензора Пушкина, чтобы провозглашение имени государя не показалось лестью, — все выпили до дна, обмакивая стансы Пушкина в вино. "Если бы дурак Рылеев жил и не вздумал беситься", сказал один, "то, клянусь, что он полюбил бы государя и написал бы ему стихи". — "Молодец, дай Бог ему здоровье, лихой", вот что повторяли со всех сторон. Весьма замечательно, что ныне при частных увеселениях вспоминают об государе произвольно, как бы по вдохновению."

Так думали, говорили и поступали писатели, лучшие умы, друзья повешенных и растоптанных, люди, которые не могли не понимать, что чем больше они будут помогать государю императору и III отделению его канцелярии, тем больше эта самая канцелярия будет показывать им, что такое власть, которую они обожают.

А вот что думали, писали и утверждали те, кого мы по справедливости не считаем лучшими умами, а также надеждой России.

Петербургская аристократия:

"Я часто спрашиваю себя, не сплю ли я и неужели же у нас, в России, могли быть задуманы все эти ужасы, которые с минуты на минуту могли произойти! Перо мое не в состоянии описать вам все то, что чудовища замыслили в адских своих планах... возбуждение против них так велико, что никто не пожалел бы их, если бы они были приговорены к смерти... Говорят, что все будет опубликовано: и их планы государственного правления, и самый их заговор. Это необходимо сделать, чтобы показать обществу, до чего доходила их чудовищность и глупость... Какое это должно быть ужасное чувство — иметь в своей семье преступника... Еще более сложная работа — направить в иную сторону стремления этих молодых до крайности развращенных умов".*

"... они (заговорщики. — А.Б.) везде, да поможет Господь их всех переловить... Здесь, слава Богу, открывают новых и спешат их отправить в крепость, в которой скоро не хватит места для помещения."***

"Этот столь зловещий заговор, эти преступления, задуманные исподтишка и с видом хладнокровия, и теперь еще наполняют меня ледянящим ужасом! Какие новички на этом страшном поприще: они начали тем, чем наиболее преступные кончают".***

"И эти варвары льстили себя управлять Россией! Но не до конца прогневался на нас Господь, не дал им восторжествовать".****

"О безумие! О злодейство! Я говорю: злодейство, потому что если бы этим, просто сказать, разбойникам удалось сделать переворот, то они бы погрузили Россию в потоки крови на 40 лет".*****

* Графиня М.Д.Нессельроде, жена министра иностранных дел — М.Д. Гурьевой, жене видного дипломата Н.Д.Гурьева.

** В.П.Шереметева. Дневник В.П.Шереметевой, урожденной Алмазовой. 1825-1826 годы. М., 1916. Запись от 18 декабря 1825 года.

*** С.П.Свечина из Парижа — М.Д.Нессельроде. Начало 1826 года.

**** Е.М.Оленина, жена статс-секретаря и президента Академии художеств А.Н.Оленина — своей дочери В.А.Олениной. 24 декабря 1825 г.

***** А.Н.Оленин — В.А.Олениной. 24 декабря 1825 года.

"... надобно казнить убийц и бунтовщиков. Как, братец, проливать кровь русскую!.. Надобно сделать пример: никто не будет жалеть о бездельниках, искавших вовлечь Россию в несчастье, подобное французской революции..."**

"... надеюсь, что это не кончится без виселицы и что государь, который столько собой рисковал и столько уже прощал, хотя ради нас будет теперь и себя беречь и мерзавцев наказывать".**

Это переговаривается между собой исполненная рыцарских доблестей и патрицианских добродетелей аристократия обеих столиц.

А вот как без затей, по-простому, по-хорошему, просят оторвать всем, кому следует, головы провинциальные хари.

Семинарист Владимирской-на-Клязьме семинарии:

"Слышал вот какие вести: в С.-Петербурге воспоследовал бунт по случаю вступления на престол императора Николая Павловича... Впрочем, бунтовщики не остались без наказаний: артиллерия заставила их раскаться в дерзости..."

"Их намерение было возродить всеобщую революцию... Страшное чудовище; неужели чистые недра твои, о Россия, могли скрывать в себе адские семена?"

Провинциальное дворянство:

"Все напуганные масоны и не масоны, тогдашние либералы, вследствие крутых мер правительства, приникли, притихли, быстро превратились в ультраконсерваторов, даже шовинистов — иные искренно, другие надели маски. Но при всяком случае, когда и не нужно заявляли о своей преданности "престолу и отечеству".

"Все пошили себе мундиры; недавние атеисты являлись в торжественные дни на молебствие в собор, а потом с поздравлением к губернатору. Перед каждым, даже заезжим лицом крупного чина, снимали шляпу, делали ему визиты".***

* Московский почт-директор А.Я.Булгаков — своему брату, Петербургскому почт-директору К.Я.Булгакову. 22 декабря 1825 года.

** Новороссийский генерал-губернатор и наместник Бессарабии граф М.С.Воронцов — финляндскому генерал-губернатору А.А.Закревскому. 7 февраля 1826 года.

*** И.А.Гончаров. Воспоминания. Часть II. На родине. В кн.: Собрание сочинений в восьми томах. 1952-1955, т.7, М., Государственное издательство художественной литературы, 1954, стр. 247

Купечество:

"Купеческое сословие проникнуто энтузиазмом к настоящему правительству".

"Ходившие по городу более недели дурные слухи не произвели ни малейшего впечатления на купеческое сословие, проникнутое самым лучшим духом".*

А вот доблестное российское духовенство, которое всегда обожало свою паству, особенно если она была в министерских чинах и генеральских званиях. Все прочие почитались за грешников и значения не имели:

"... священник, исповедуя умирающую девяностолетнюю купчиху, между прочим спрашивает, "не принадлежит ли она к тайному обществу".**

"Да гремит немолчное проклятие из уст ваших на соблазнитель, адом на погибель вашу изверженных и ныне правосудием небесным паки во ад низвергаемых! Да будут руки ваши готовы изыскать и карать тех, которые, может быть, еще во тьме и прахе пресмыкаются. Преследуйте их неумолимо".***

Великие поэты и кавалерственные дамы, крепостные крестьяне и наместник края, почт-директор и католическая истеричка, придворный историограф и владимирский семинарист, президент Академии художеств и симбирский воспитатель, отставной министр юстиции и костромское купечество, артист имперских театров и жена вице-канцлера, финляндский генерал-губернатор и военный священник, знаменитый партизан 12 года и прославленный сыщик, профессора университетов, редакторы журналов, дипломаты, помещики, чиновники, журналисты, баснописцы с визгом торжествовали победу над людьми, которые стремились к свободе.

И они не зря, не зря вешали и визжали, пороли и улюлюкали.

*М.Я. фон-Фок --А.Х.Бенкендорфу. 3 августа 1826 года.

** И.А.Гончаров. Воспоминания. Часть II. На родине. В кн.: Собрание сочинений в восьми томах. 1952-1955, т. 7, М., Государственное издательство художественной литературы, 1954, стр. 520.

***Протоиерей Григорий Мансветов. Слово к православным русским воинам на 1826 год.

Пушки на Петровской площади в четыре часа пополудни прочистили уши русского общества, и оно тотчас обнаружило, что решительно ошибалось в старых своих мнениях. Так прежде оно думало, что Рылеев и Бестужев суть истинные и обещающие таланты, Якубович — храбрец и brigand (браво!), князь Сергей Трубецкой, ходивший под ядрами Бородина, Люцена и Кульма — герой, Николай Тургенев — высокий ум, а оказалось, что это шайка бездельников, вероломных убийц, карбонаров, мошенников, трусов и безмозглых глупцов. А вот Николай Павлович решительно всех восхитил своим геройством и поистине ни с чем не сравнимым великодушием. Недавно же, еще в три часа пополудни, все думали, что Николай Павлович, "бывший бригадный и дивизионный начальник", известный "неприятностью сурового... нрава", вызвавший "неудовольствие гвардии за учения и экзекуции", "за жестокое обращение с офицерами и солдатами", "был ненавидим, особенно войском", "пристрастный к фрунту, строгий за все мелочи и нрава мстительного", "зол, мстителен, скуп".* "Скажем всю правду, — с тяжелым вздохом произнес Ф.Ф.Вигель, — он совсем не был любим". А что оказалось на самом деле? на самом деле оказалось, что "если мы, жены и дети наши не зарезаны, алтари не осквернены, престол не опровергнут, столица не в пепле и Россия стоит еще, то всем этим обязаны мы единственно присутствию духа и геройской храбрости молодого императора нашего Николая Павловича, который между кинжалами убийц и пулями бунтовщиков распорядился и повелевал с таким же хладнокровием, с такою же решимостью, как будто бы во дворце своем в спокойное время".**

Вот каким оказался Николай Павлович. А некоторые уже поняли, что даже еще лучше. А ведь как недалёковидны люди и как не понимают они, что всякий мерзавец может стать великим политическим деятелем и корифеем науки чуть только он волей судьбы или безволием людей получит возможность убивать, выгонять, уничтожать, сажать в тюрьмы миллионы

* Из письма А.Кучанова, показаний на следствии и воспоминаний декабристов М.А.Фонвизина. Д.И.Завалишина, Г.С.Батенькова, А.М.Булатова.

** Л.Ф.Воейков — княгине Е.А.Волконской. 26 декабря 1825 года.

людей, резать книги, спускать с цепи цензуру, выкручивать руки, отрывать головы, заплевывать национальную культуру. У нас любят героев. У нас героем является любой, особенно такой, который устанавливает порядок, борется за дальнейшее искоренение сельского хозяйства и укрепляет неокрепшие умы. В связи с этим все, кто был по-настоящему заинтересован в дальнейшем улучшении дальнейшего исторического процесса нашей родины, захлебнулся от счастья, поняв наконец, как прекрасен Николай Павлович:

"В день своего восшествия на престол император Николай спас Россию. Эти слова включают в себе также ту любовь и преклонение перед ним, которые испытывают к нему все его подданные. Он был восхитителен".*

"... каждый рассказывал какие-нибудь смешные анекдоты и злоупотребления, всегда прибавляя: "при этом государе все это кончится. На него вся надежда, он все знает, он все видит, всем занимается, при нем не посмеют угнести невинного, он без суда не погубит, при нем не оклеветают понапрасну, он только не любит взяточников и злодеев, а смиренного и доброго при нем не посмеют тронуть".**

Вот как в нашей могучей стране, населенной нашим великим народом, создавшим своими героическими руками самую лучшую в мире историю и в рекордно короткие сроки самые выдающиеся электростанции, обожают душителей, особенно с того дня, когда они окончательно обретают власть, от которой укрыться нельзя.

А зачем укрываться? Кто же станет укрываться от милостей, которыми тебя осыпают за заслуги перед родиной и народом? Только злодеи. Именно злодеи. Такие, как Рылеев, Каховский, Пестель, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин, Исаак Бабель. А преданные родине и народу люди никогда не станут укрываться. Напротив, они испытывают чувство искренней и трогательной благодарности. Вот послушайте:

"Папенька на этих днях несказанно был обрадован пожалованным новым членом в Совет..."***

"Милостей пропасть. Поздравляю тебя с двумя фельдмаршалами: Сакеном и Витгенштейном, восемь андреевских лент, шестнадцать полных генералов, бездна других орденов и такая же генерал-лейтенант"

*М.Д.Нессельроде — П.Н.Гурьевой, 19 декабря 1825 года.

** М.Я. фон-Фок — А.Х.Бенкендорфу. Декабрь 1827 года.

*** Е.М.Оленина — В.А.Олениной. 24 декабря 1825 года.

нантов и генерал-майоров. Три дюжины фрейлин, с дюжину камергеров и камер-юнкеров и четыре графа: бар. Строганов, Курута, Чернышев и Татищев.**

"Вчера, в первый день Рождества, московскому губернатору князю Голицыну и графу Толстому посланы ордена св. Андрея Первозванного; Бенкендорфу и Комаровскому, отправленному в Москву с сообщениями о восшествии на престол, — ордена св. Александра. Алексею Орлову пожаловано графское достоинство, что меня очень радует. Все очарованы государем, он продолжает восхитительно держать себя, роль же его, конечно, очень трудна".**

А в это время перед высочайше утвержденным Комитетом для следственных изысканий о злоумышленных обществах арестованные отвечали так:

"Заимствовал я сей нелепый, противозаконный и на одних безмозглых мечтаниях основанный образ мыслей от сообщества Бестужева и Рылеева не более как с год. Родители же мои дали мне воспитание, приличное дворянину русскому, устраняя от меня как либеральные, так вообще и противные нравственности сочинения. Единственно Бестужев и Рылеев (а более последний) совратили меня с прямого пути. До их же знакомства я гнушался сими мыслями".

Так чернил себя и своих ближайших друзей князь Александр Иванович Одоевский, человек чести, аристократ, превосходный поэт, друг и родственник Грибоедова, через год пришедший в себя и написавший:

... цепями,
Своей судьбой гордимся мы,
И за решетками тюрьмы
В душе смеемся над царями...

Один из самых решительных деятелей Общества соединенных славян, сторонник народной революции, человек, давший клятву убить императора и готовившийся для "нанесения удара государю", во время восстания Черниговского полка пытавшийся поднять окрестные войска, Иван Иванович Горбачевский, приведенный к Левашову, забормотал:

"Так как я обязан своим несчастьем братьям Борисовым, то они, больше никто (при этом он в первом же своем письменном показании выдал шестнадцать человек. — А.Б.) мне сии преступные мысли вло-

* В.И.Туманский — жене. 24 августа 1826 года.

** М.Д.Нессельроде — П.Н.Гурьевой. 26 декабря 1825 года.

жили... они совершенно знали мои мысли, мою преданность к государю и к своему долгу, они знали, чем я занимаюсь, как я воспитан и что я знаю, следовательно, имели ли они Бога в душе так жестоко, так обманчиво поступить с человеком, который никакого зла им не сделал и не желал?"

"Ваше превосходительство, всего того, что они говорили и делали, перо мое не в состоянии выразить, даже трудно пересказать; одним словом, ежели бы не сии злонамеренные люди, то бы сего ничего не было".

И разгоряченные, с пылающими от радостного возбуждения щеками победители, потирая от удовольствия руки и перебирая ногами, тут же стали тыкать пальцем в подловатые признания поверженного врага. Победители нахохлились, напыжились от собственного благородства, укрепились в сознании своей храбрости, а в трусости, ничтожестве и мизерности своих врагов утвердились.

А их враги заложили тягчайшую традицию русских политических процессов, полных саморазоблачений, выдач, предательств, раскаяний, измен и отступничества. Люди, не раз встававшие перед судьями в длинном и тягостном списке русских политических процессов (особенно после юбилея восстания), не сохранили душевных сил и не поняли, что самые героические поступки до суда немедленно теряют значение, забываются и компрометируются жалким поведением на суде. Декабристы и те, кто впоследствии стал называть себя их наследниками, отвратительным, презренным поведением на следствии и суде опорочили великое дело, на которое они шли и за которое претерпели кару, не меньшую, чем та, которая постигла бы их, если бы на суде они продолжали бы дело, начатое до суда.

Нет ничего слаще обществу, всегда дрожащему от страха, увидеть поверженного врага, но во сто крат слаще увидеть врага, который поносит себя сам. И таких врагов это ничтожное общество рабов, потомков рабов и пращуров рабов увидело перед собой.

Вот над чем торжествовали обомлевшие от страха и едва пришедшие в себя победители:

"... эти негодяи, при составлении заговора считавшие себя римля-

нами, оказались ничтожествами: будучи схвачены, они без конца говорят и пишут, есть надежда, что все удастся раскрыть..."**

"Подлец этот (С.Трубецкой. — А.Б.) открыл все имена сообщников своих".

"Многие из них показали гадкую слабость души, многие друг друга обличали и сказывали имена тех, которых еще не знали за их сообщников: кажется, фанатик Рылеев в числе этих подлецов".**

"Более всех трусили из них Рылеев, Сомов и князь Трубецкой"!***

Русское общество, обнаружив "гадную слабость души" своих врагов, торжествовало и требовало расправы, а власть, в России всегда являющаяся тем же обществом, только таким, на которое напялили мундиры и наляпали погоны, охотно кивала обществу во фраках, а когда возникла необходимость, то и в поддевках, и в пиджаках, и в зипунах, и робах.

Но бывали минуты, когда эта самая российская власть пыталась немножко сдержать это самое общество дрожащих от страха и злобы скотов. Вот чего хотело русское, как всегда дрожащее от страха и злобы, общество:

"По сравнению с этими извергами приходится и смерть находить чем-то очень мягким..."****

"... когда подумаешь о том, что они получают то, что готовили другим, теряется жалость, и желание видеть их всех в крепости — единственное успокоение... да поможет Бог всех их собрать..."*****

"... все безумцы, начинщики и производители сего возмущения схвачены, кроме двух, коих шинели найдены у прорубей и кои, вероятно, попали на пристанище самое для них приличное, не надеясь более найти оно на земле. Туда им и дорога, этим злодеям!"*****

"Дать прощение таким чудовищам — значит пренебречь правосудием, первым долгом монархов."*****

* М.Д.Нессельроде — Н.Д.Гурьеву. 30 декабря 1826 года.

** Ф.С.Хомяков — А.С.Хомякову. 24 декабря 1826 года.

*** А.Е.Измайлов — П.Л.Яковлеву. 4 января 1826 года.

**** М.Д.Нессельроде — М.Д.Гурьевой. 30 декабря 1825 года.

***** В.П.Шереметева. Дневник В.П.Шереметевой, урожденной Алмазовой, 1825-1826 годы. М., 1916. Запись от 18 декабря 1825 года.

***** Петербургский почт-директор К.Я.Булгаков — московскому почт-директору А.Я.Булгакову. 17 декабря 1825 года.

***** С.Р.Воронцов - М.С.Воронцову. 7 февраля 1826 года.

"Необходимость строгого примера требовала их казни"*

Русское правительство просто не может себе позволить такой кровожадности, которой требует от него общество. Оно чувствует себя несколько неловко и считает нужным как-то оправдаться, стараясь хоть немного успокоить пылающий энтузиазм лучших своих сынов.

"Мнение всех благомыслящих людей сильно клонится в пользу правительства, его действий и его направления. Даже больше: находят, что следовало бы строже наказывать, чтобы зажать рты сочинителям разных вестей и тем, которые распускают слухи, лишенные всякого основания".**

"Можно положительно сказать, что большинство из них (ссылаемых — А.Б.) не выдержало бы трудностей пути и не добралось бы до места назначения, если бы с ними поступали со всей строгостью законов. Многие осуждают это снисхождение, так как, говорят, "оно никогда не проявляется в отношении людей простых, хотя и менее виновных, чем заговорщики. Нет никакого основания быть снисходительным к этим последним, объясняя это снисхождение уважением к тому положению, какое они занимали в свете, и к тем семьям, к которым они принадлежали по рождению: связи человека, осужденного на гражданскую смерть, навсегда порваны, и он должен до конца испить справедливо заслуженную им чашу позора". Управляющего тайной полицией немного коробит такая, ну, несколько неумеренная кровожадность, он считает, что это негуманно. Со вздохом, хорошо зная русское общество, в котором он живет и для которого трудится, управляющий добавляет: "Надо было, конечно, ожидать этих толков... но все же не следует говорить это людям, близко стоящим к семействам осужденных, а между тем многие из них высказывали подобные мнения".***

А общество клопочет от гнева. Нет предела его возмущению. Оно положительно взбешено.

"Где была полиция? — трясаясь от негодования, срывающимся голосом визжит общество, — что делали градоправители наши и военные начальники? У них под носом составилась и приведен в действие заговор обширный, гибельный! Почти явно на площадях, в казармах, на улицах проповедовали бунт, зачинщики давали друг другу ночные пиры, готовили переодевание, чистили оружие, набивали боевые патроны. Полиция крепко почивала и ничего или почти ничего не видела!"****

* Протоиерей Григорий Мансветов. Слово к православным русским воинам на 1826 год.

** М.Я. фон-Фок — А.Х.Бенкендорфу. 11 августа 1827 года

*** М.Я. фон-Фок — А.Х.Бенкендорфу, 29 июля 1827 года.

**** А.Ф.Воейков — княгине Е.А.Волконской. 26 декабря 1825 года.

Правда, все правда. Куда глядели? Где был с ночи 13 декабря да утром 14 военный губернатор столицы? А? Где был? Не знаете? А я скажу вам. У Катеньки Телешовой, танцорки. Да еще явился перед императором близ строя бунтовщиков, застегивая пуговицы. Хорошо это? Эх, Россия, Россия, и бунт упредить не умеют, и вешают то не тех, то не так, и всегда мало. Лучшие умы советуют: "Мы имеем нужду в медиках, химиках, технологах, но весьма сомнительно, чтобы проявление в отечестве нашем русских Кантов и Фихте принесло какую либо оному пользу" (А.Перовский-Погорельский). "Кадетские корпуса, рассадник офицеров русской армии, требуют физического преобразования, большого присмотра за правами, кои находятся в самом гнусном запущении. Для сего нужна полиция, составленная из лучших воспитанников" (А.Пушкин). А полиция, хотя ее все время направляют, видите ли, никак не может поспеть: "Деятельность надзора растет с каждым днем, и у меня едва хватает времени для принятия и записывания всех заявлений"* Не хватает дня? Сиди ночью. А не справляешься, найдем другого. Незаменимых нет. Самое ценное это люди, кадры.

Правительство иногда поправляло общество, общество, как это всегда органически свойственно истинной, а не фальшивой демократии, восхищалось мудростью правительства, и все шло как нельзя лучше. От победы к победе. Потому что главное это единство правительства и народа. Это единство строилось на крепком фундаменте: общество восхищалось правительством, правительство тем, кто это делал, не жалея себя, объявляло благодарность.

Тут сошлись все: члены Государственного совета и девицы с веселой набережной реки Охты, пристально и неутомимо изучающие жизнь писатели и станковые приставы, дамы, чарующие своей неотразимой красотой, и густопородистые кобылы Клейдесдальского завода, сильфиды из балета "Пламя Парижа" и вросшие в свои чугунные бороды нигилисты. И все прокляли их. И правильно сделали. Потому что они хотели свободы. А это для нашей родины хуже, чем жрать битое стекло.

* М.Я. фон-Фок — А.Х. Бенкендорфу. 14 августа 1826 года.

Хочешь свободу? Поезжай на острова Капингамаранги, Океания, 1° 14' северной широты, 155° 17' восточной долготы. Только мы тебя немножко проверим на станции Чоп, 48° 28' северной широты, 22° 15' восточной долготы.

В крепости "Санк-Питер-бурх", заложенной царем Петром в устье реки Невы на Заячьем острове, по которой — крепости — потом был именован зачатый здесь город, в этой крепости, прозванной, спустя время, по святым апостолам Петру и Павлу, общественная мысль России навсегда определила свое течение и свое свойство, лишь изредка — в 40-е, 60-е и 80-е годы нарушавшиеся. В той крепости и в те дни началось осмысленное, хорошо и навсегда задуманное тесное и искреннее единение правительства и общества, православия, самодержавия и народности, веры, царя и отечества, под разными названиями в разное время навсегда в этой стране обретшими несокрушимую силу, неприкосновенность, непрерываемость, неприкасаемость и власть.

"Благодаря провидению и Господу, мы теперь совершенно спокойны, лишь бы Бог помог доброму государю истребить, так сказать, корень заговорщиков"**

Общество с облегчением вздохнуло.

"Сами рассудите, эти мальчишки в отношении к государственному управлению разве имели право переменять форму правления? Это может сбыться от времени и действием самого правителя".**

"... совершали благодарственное молебствие об избавлении престола и отечества от коварных замыслов извергов".

Это расстрогало "... до глубины сердца, верного перед престолом и благоговейного перед Богом".***

Николай Павлович посылает великого князя Михаила Павловича к старому Шереметеву выразить сочувствие по поводу ареста сына. Великий князь присутствует при такой сцене: "Старик плачет и говорит ему: "Если сын мой в этом заговоре, я не могу более его видеть, и даже я первый вас прошу его не щадить. Я бы и сам пошел смотреть, как его будут наказыв-

* В.П.Шереметева. Дневник В.П.Шереметевой, урожденной Алмазовой. 1825-1826 годы. М., 1916. Запись от 18 декабря 1825 года.

** А.Кучанов — Я.Ф.Скарятину. 1826 год.

*** Семинарист Владимирской-на-Клязьме семинарии. Дневниковая запись. Август 1826 года.

вать. С тех пор, что я существую, я был верным подданным моему государю и всему его семейству, никогда ни в какой истории не участвовал против моего государя и законов. Этот ребенок меня убивает!"* Перед этапом сына привели к отцу проститься. Отец-герой не хочет пускать сына на порог. Все семейство рыдает, Николай Павлович смахивает слезу, в связи с последним обстоятельством папенька маленько приходит в себя и все-таки обнимает сына. Здесь мы присутствуем при зарождении героической традиции, впоследствии приобретшей более совершенную форму перехода на другую сторону улицы при встрече с кем-либо из родных арестованных.

Итог сердечному единению общества и правительства подвел сам Николай Павлович:

"Здесь все усердно помогают мне в этой ужасной работе. — пишет он усталой рукой, — отцы приводят ко мне своих сыновей , все желают показать пример и, главное, хотят видеть свои семьи очищенными от подобных личностей и даже от подозрений этого рода".*****

А закованные в железо и заключенные в одиночки каялись, сдавались, клеветали друг на друга, плакали, проклинали, клялись в верности государю-императору, доносили на своих товарищей, божились, продавали, лгали.

Я где-то слышал, что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Нас пытаются уверить (разными способами, среди которых преобладают тюрьмы, цензура, гонения, клевета, голод, убийство), что никак нельзя. Это вам нельзя, тем, кому это общество до смерти нравится, кто вместе с ним участвовал в злодеяниях, кто дрожит от страха перед этим обществом, у кого нет желания, нет сил, не хватает смелости освободиться, у кого нет уверенности в своей правоте. Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества? Никак нельзя? Но из какого же общества пришли те, кто его разрушал? Из какого общества прибыли братья Гракхи? Откуда взялся Лютер? С кем рядышком были Вольтер, Руссо, Бомарше? Откуда явились Робеспьер и Оуэн, Гейне и Жорж Занд? В каком

* Великий князь Михаил Павлович. Дневниковая запись от 20 декабря 1825 года.

** В другие эпохи сыновья приводят своих отцов и особенно часто — жены своих мужей. Первый мотив разрабатывается преимущественно в поэзии, второй в драматургии.

*** Письмо великому князю Константину Павловичу. 23 декабря 1824 года.

обществе жили и от какого общества были свободны Герцен, Толстой, Бакунин, Мандельштам? Все значительные личности, протестанты, истинные художники, мыслители и духовные вожди были свободны от общества, а кто свободен от общества, тот враждебен ему. Даже, если эти протестанты, художники и вожди, как Гете, Бальзак, Гоголь, Гончаров, Достоевский, разделяли мнение общества, в своих произведениях они всегда выступали его разрушителями.

А декабристы? И декабристы, кающиеся, прокливающие, рыдающие, тоже были свободны от общества. Не очень долго — девять лет, с 1816 по декабрь 1825 года, — но ведь создавая Союз спасения и Союз благоденствия, Общество соединенных славян, Северное и Южное общества, они, очевидно, были свободны от мнения графини Марии Дмитриевны Нессельроде и княгини Дарьи Христофоровны Ливен, от суждений начальника артиллерии и смотрителя императорской конюшни, от миропонимания кавалергардов и мировоззрения начальника караула.

От того, что все-таки декабристы вели себя на следствии омерзительно, от того, что Пушкин написал обесчестившие его стишки "Клеветникам России", за которые его горько осуждал Вяземский, ставший через двадцать пять лет после этого поганым царским цензором, от того, что Боккаччо, перепуганный насмерть монахом картезианцем, стал усердно каяться и почти перестал писать, струсивший Некрасов кланялся и писал оду Муравьеву-вешателю, Радищев, попав в руки Шешковского, вел себя мерзко, Галилей испуганно отрекся, совершенно не следует, что нельзя быть свободным от общества. Ибо, когда декабристы создавали тайные организации и выводили солдат, Пушкин писал "Вольность" и "Поэт и толпа", Боккаччо "Декамерон" и Галилей "Диалог о двух главнейших системах мира", они были свободны. Одни и те же люди в разных обстоятельствах бывают свободными или схвачены железом. Историческое значение имеет только независимость от общества.

Но в обществе, даже русском, не всегда, нет, не всегда все бывает так благополучно, как этого бы хотелось. Особенно

лучшим представителям нации. И поэтому среди всеобщего злобного клочкотания и злорадного взвизгивания вдруг чье-нибудь чуткое (полицейское) ухо услышит чье-либо неудовольствие.

Можно жить в обществе и быть свободным от общества, если ты видишь, что это общество гнусно и у тебя хватает чести и смелости сказать об этом.

И было несколько случаев в России, а не на островах Кап-пингамаранги, Океания (1° 14' северной широты, 155° 17' восточной долготы), когда действительно сказали.

Князь Петр Андреевич Вяземский вот что сказал:

"И после того ты дивишься, что я сострадаю жертвам и гнушаюсь даже помышлением быть соучастником их палачей? Как не быть у нас потрясениям и порывам бешенства, когда держат нас в таких тисках... Я охотно верю, что ужаснейшие злодейства, безрассуднейшие замыслы должны рождаться в головах людей, насильственно и мучительно задержанных. Разве наше положение не насильственное? Разве не согнуты мы в крюк? Откройте не безграничное, но просторное поприще для деятельности ума, и ему не нужно будет бросаться в заговоры, чтобы восстановить в себе свободное кровообращение, без коего делаются в нем судороги..."*

Не пресеченной оказалась чисто декабристская поэтическая традиция. Стихи профессиональных и непрофессиональных поэтов, не перебежавших к победителю, написаны людьми, внимательно читавшими запрещенные стихи Пушкина и запрещенные стихи Рылеева и Кюхельбекера:

**Придет ли сей великий день,
Когда для русского народа
Исчезнет деспотизма тень
И встанет гордая свобода?
Но трепещи, страшись, Деспот,
Придет день общего волнения...****

* П.А.Вяземский — В.А.Жуковскому. Март 1826 года.

** Стихотворение юнкера А.Зубова. Автор этого стихотворения вскоре был посажен в дом умалишенных, в числе прочего и за то, что он с другими товарищами рубил бюст государя императора, приговаривая словами: "Так рубить будем тиранов отечества, всех царей русских" ("Отголоски декабристского восстания 1825 года". "Красный архив", 1926, № 16, стр. 193).

Знаменитые языковские стихи:

**Рылеев умер как злодей! —
О вспомни о нем, Россия,
Когда восстанешь от цепей
И силы двинешь громовые
На самовластие царей !***

А вот что пишет женщина из круга графини М.Д.Нессельроде, В.П.Шереметевой, С.П.Свечиной — Е.П.Сушкова (в замужестве графиня Ростопчина).

**Удел ваш не позор, но — слава, уваженье
Благословение правдивых сограждан...
Быть может... вам и нам ударит час блаженный
Паденья варварства, деспотства и царей.
И нам торжествовать придется мир священный
Спасенья Россиян и мщения за друзей!**

Это написано после восстания, разгрома, арестов, допросов, суда, сразу же после казни.

А вот что было написано в пору, когда страсти уже улеглись.

"Скоро настанет время, когда дворяне, сии гнусные сластолюбцы, жаждущие и сосущие кровь своих несчастных подданных, будут истреблены самым жестоким образом и погибнут смертью тиранов. 1829 — 10. Один из сообщников повешенных и ссыльных в Сибирь. Второй Рылеев".

* Стихи А.Зубова и Н.Языкова написаны в 1826 году, то есть после пушкинского стихотворения "К Чаадаеву" со строками:

Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой...

и до "Во глубине сибирских руд" со строфой

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

Очевидно, Пушкин уже в 1818 году создал устойчивую систему, вскоре потерявшую авторство, а в 1827 году сам написал так и о том, что стало уже общепозитической системой, нормой, оставшейся после разгрома восстания близкой каким-то немногим людям, не предавшим своих друзей, свои привязанности, свою молодость.

Внизу добавлено:

"Ах! если бы это свершилось. Дай, Господи! Я первый возьму нож".

Это было написано не в петербургском кабинете на велени, а карандашом на двери заездного двора села Рахманова Московской губернии.

В 1831 году появилось воззвание, подписанное А.Н.Ермоловым (фальсификация). В воззвании было сказано:

"Вспомни, каким родом казни, доселе неизвестным в России, Николай Павлович истребил в 1826 г. первых героев свободы нашей".

"Он обольщен гнусными советниками, предпочел царствовать беззаконно, обогрив площади и стогны Петровой столицы кровью жителей и украсив Петропавловскую крепость виселицами!"

В 1826 году студент Харьковского университета В.Розалион-Сошальский написал прозаический монолог "Рылеев в темнице", за что был привлечен к дознанию.

В том же году в Москве был создан кружок братьев Критских, через полгода разогнанный. Кружок был радикальный. Его члены собирались "действовать к учреждению конституции". А так как в России это дело немыслимое, то в их планы входило "и покушение на жизнь государя императора". По повелению государя императора члены кружка были заключены в крепости на разные сроки. "Прикосновенные" сосланы и уволены от службы.

В 1831 году был уничтожен кружок Сунгурова, который вербовал единомышленников "в такое общество, которое, по словам его, было остаток от общества 14 декабря 1825 г. и имело целью конституцию". По утвержденному государем императором приговору члены кружка были определены в солдаты и высланы в Оренбург. Н.П.Сунгуров был отправлен в Сибирь, пытался бежать, был пойман, перерезал себе горло, остался жив, умер в Нерчинском руднике.

В те годы еще не все народонаселение России состояло из рабов, льстецов, дрожащих от страха прохвостов и звероподобных душителей, хотя уже многое свидетельствовало о том, что в процессе вековой эволюции народонаселение под благотворным воздействием абсолютистской идеи превратится в стадо предателей, доносчиков, палачей и свободоненавистни-

ков. Но в те годы еще не все было совершенно благополучно. Вот что позволяли себе неокрепшие умы:

"Мы, молодежь, менее страдали, чем волновались и даже почти желали быть взятыми и тем стяжать и известность и мученический венец".*

Другой молодой человек не только страдал и желал быть взятым, но имел значительные идеи.

Этим молодым человеком был Герцен.

Он сказал:

"Мальчиком 14 лет, потерянным в толпе, я был на этом молебствии (по случаю коронации Николая Павловича. — А.Б.) и тут, перед алтарем, оскверненным кровавой молитвой, я клялся отомстить за казненных и обрекал себя на борьбу с этим тронем, с этим алтарем, с этими пушками".

Начиная с 1827 года в столичных журналах, альманахах и даже отдельными изданиями стали печататься стихи и проза Рылеева, А.Одоевского, А.Бестужева, Кюхельбекера. Конечно, без имени или подписанные инициалами авторов. (Одна из немногих, может быть, уникальных гуманных традиций русской литературной жизни: так печатали Чернышевского.)

Этим, или почти только этим, исчерпывается сочувствие страны к декабристам и особенно к их делу. Русское общество приплясывало на плахе и, кланяясь, облизываясь, приседая и рабствуя, подносило оды, дифирамбы, гимны, величания и песнопения на все восемь гласов августейшей фамилии, III отделению, флигель-адъютанту, целовальнику, действительному статскому советнику, коменданту крепости, палачам и тюремщикам, доносчикам и предателям, знатным педерастам и влиятельным метресскам, члену Государственного совета и собаке дворника, спасшим отечество от самого страшного несчастья, которое только могло выпасть на долю нашего любимого, столь выстрадавшего отечества, от моровой язвы, труса, мора и глада, саранчи и татар, от потопа и засухи, пожара и дыбы, — от свободы.

Во все времена все политические неудачи вызывают к себе одинаковое отношение: общество презрительно осуждает неудачников. Для того, чтобы осуждение не очень заметно сов-

* А.И.Кошелев. Записки. Изданы после его смерти в 1884 году.

падало с официальным, которое даже интеллигентному человеку часто бывает противно, искали и, вспотев, находили серьезные недостатки у тех, кто потерпел неудачу. Хари пигмеев перекашивались от ненависти и страха. Они — хари — дули прямой кишкой, содрогаясь при мысли о возможных последствиях на основании глубокого изучения русской истории. Облизывая пересохшие губы, припоминали, не сказано ли чего-нибудь лишнего, и, чтобы не было уж совсем стыдно, торопливо придумывали, за что бы укорить мерзавцев, которые не дрожали. И находили: Аристофана они осуждали за то, что у него нет ничего святого. Пастернака за то, что его стихи абсолютно непонятны народу. А Герцена за то, что он печатался за границей. Вот если б он печатался в России... Но, помилуйте, как же он может печататься в России?! Да, конечно, но в то же время печататься за границей... в этом есть что-то безнравственное... выносить сор из избы...

Так жила, думала, радовалась, маялась, злобствовала и умирала страна.

А в этой стране, которая никогда не знала и никогда не узнала, что такое свобода, и, которой свобода никогда была не нужна, бродили какие-то "странные господа", узнавшие, что человек имеет право думать, что хочет, говорить, что хочет, писать что хочет, то есть думать, говорить и писать то, что он считает нужным, полезным и важным, что он имеет право бороться с произволом и несправедливостью и утверждать — по русским понятиям, совершенно ни с чем не сообразное, — что правительство невежественно и жестоко, что оно захватило прерогативу решать что полезно и что вредно отечеству и своим подданным, ввергать свою и чужую страны в войны и разбойничьи дипломатические заговоры, что самые способные влачат жалкое существование, а тупицы, негодяи, прохвосты и наглецы, уничтожавшие миллионы людей, сначала жандармы Европы, а потом и Азии, торжествуют победу.

Общество с такой жадной жестокостью осуждает людей, погибающих за свободу, потому что ему в иные времена нужна не свобода, а хоть какая-нибудь уверенность в том, что не оторвут руки-ноги. Люди, боровшиеся за свободу, замахнулись на власть, а власть в России не только душила, но и сторожила общество, чтобы его, упаси Бог, не утащили либералы.

Победа и поражение всегда связаны с состоянием общества и приходят в зависимости от того, что обществу нужно. Поэтому, когда восставших постигает неудача, общество начинает оплевывать их за измену родине и предательство, а вот когда приходит победа, тогда общество с искренним восторгом приветствует восставших, потому что они спасли родину от тирании и упадка сельского хозяйства. Но так как победы редки, то большую часть времени русское общество благодарно хлопоствует перед государством, а в трудную годину братья и сестры и вовсе связывают себя с государством неразрывной веревкой. Единение общества с государством всегда было и навсегда останется зловещим симптомом распада, разложения, испуга, подкупности, продажности общества и всевластности государства. Если общество осуждает людей, борющихся за свободу, это значит, что оно уже неисправимо испорчено рабством рабов и рабством господ.

При всем этом и те, и другие рабы могут иной раз шепнуть, оглянувшись, что-нибудь такое этакое почти полулиберальное, четвертьпрогрессивное.

Никогда нельзя обольщаться ропотом, шепотом и ворчаньем общества. Да, да, общество ужасно возмущено тем, что нигде нет качественных галстук и даже гречневой крупы или еще хуже того — не печатают некоторые очень хорошие стихи, которые еще больше укрепили бы могущество родины. Но попробуйте сказать этому обществу об устоях, о каменных плитах, на которых оно стоит, и это общество сразу забудет и про галстуки, и про стишки, и даже про гречневую кашу. Оно сразу же вспомнит о том, что — это его родимое государство, которое его защищает от пакостников, от внешних и внутренних врагов, что вместе с этим родимым государством оно выигрывало войны, одерживало победы, участвовало в одних преступлениях и плясало на одних фестивалях.

Нет, когда восставшие терпят поражение, общество всегда считает, что вешают мало, охраняют плохо, и что нет подлинной заботы.

"Не только никто не старался в своих суждениях оправдать по возможности деятелей тайных обществ, но все их осуждали, и кара прави-

тельственная, конечно, не превосходила той кары, которая на них налагалась мнением общества... чему явным доказательством может служить то, что известия о наказаниях, к которым были приговорены члены бывших тайных обществ и которые были неоднократно перечитаны, не вызвали сострадания".*

А, вместе с тем, общество, если бы оно более внимательно изучало окружающую действительность, увидело бы, что власть не клюет носом, а, поплевав на ладони, занимается делом. Дело было серьезное.

"Рассказы из Петербурга о том, кого там брали и сажали в крепость, как содержали и допрашивали арестованных и пр., еще более увеличивали всеобщую тревогу. Матушка очень за меня боялась... ей постоянно чудилось, что за мной ночью приехали, и потому на всякий случай она приготовила в моей комнате теплую фуфайку, теплые сапоги, дорожную шубу и пр."**

Русское интеллигентное общество так струсило и так старалось показать, что оно струсило и поэтому заслуживает самой высокой похвалы, что это вызвало недоумение, даже озабоченность III отделения:

"После несчастного происшествия 14 декабря, в котором замешаны были некоторые люди, занимавшиеся словесностью, петербургские литераторы не только перестали собираться в дружеские круги, как то было прежде, но и не стали ходить в привилегированные литературные общества, уничтожившиеся без всякого повеления правительства".***

Общество неистовствовало от злорадства, отвращения и страха. Страх был русский: увязывали теплые вещи и ждали стука в дверь.

Страх надо было как-то прятать, и его прятали, прикрываясь верой. Клялись, что верят в сообщение о "маловажном происшествии", напечатанном в "Прибавлении" к "Санкт-Петербургским ведомостям", в царский манифест, в то, что "изверги решились... открыть гроб императорский, закричать, что это не его тело, что государя убили или заключили, начать убийства, бунт и воспламенить — за вымышленный ими предлог — мщение солдат и буйной черни, пьяной, слепой, нищей и

* Барон А.И. Дельвиг. Мои воспоминания. 1912.

** А.И. Кошелев. Записки.

*** М.Я. фон-Фок. 1827 год.

готовой на всякие неистовства".* Потому что, если во все это верить, то надо или сказать, что ты тоже с клеветниками и вешателями, или восстать и погибнуть. Здесь правительство помогло обществу: оно лишь несколько месяцев побуждало его клеймить преступников, а потом перестало само о них говорить и велело помолчать до особого распоряжения (1826-1855)

Это был один из самых умных, самых верных, ставший классическим прием борьбы русского правительства со своими врагами, прием, к которому в будущем стали прибегать все чаще и успешнее — замалчивание.

Постепенно совершенствуясь, классический прием приобрел канонический норматив: газетная травля, официальное заявление, гневные обличения академиков, слесарей, колхозного крестьянства, полковников в отставке, творческой интеллигенции, пенсионеров, дорогих коллег (особенно), искреннее раскаяние ошельмованного, поношение самого себя и признание им своих злодейских ошибок, исключение (варианты: снятие, разжалование, объявление сумасшедшим, арест), восторженные аплодисменты трудящихся, молчание.

Это молчание никогда не было только глупостью, презрением или трусостью. Оно всегда было хорошо рассчитано и начиналось в заранее выбранное время. Было понято, что лучше врага забыть, чем поносить, потому что, когда долго поносят, то люди начинают задумываться и, глядишь, кому-нибудь и покажется, что в газетной травле, официальном заявлении, негодующем осуждении полковника в отставке, самооплевывании ошельмованного и его уничтожении, а также в одобрении трудящихся некоторые моменты не кажутся абсолютно убедительными. А если замолчать, то и дело сделано, и урок показан, и оставлено впечатление, созданное таким могучим инструментом истины, как вопли уязвленных, рев толпы, палка власти, битие в барабан и треск невиданных успехов, на фоне которых совершается гнусное злодеяние.

Испытанное умение общества превратить страх в веру и участие многое определило в позиции тех, кто сам боролся с этой удушающей властью и знал, что нужно готовить шубу и сапоги.

* А.Ф. Воейков — княгине Е.А. Волконской. 26 декабря 1825 года

Страх, безоговорочная уверенность в справедливости расправы, мастерство, с которым было скомпрометировано освободительное движение правительством и гораздо лучше самими декабристами, клевета и замалчивание создали впечатление, что с декабризмом покончено. И многие люди, продолжая декабристское дело, думали, что они делают нечто совсем другое.

Белинскому было тринадцать лет, когда вспыхнуло и погребло восстание. Все его творчество прошло в полтора последующих десятилетия. Ни разу ни в одной из своих работ, а они составляют тринадцать томов Полного собрания сочинений, он не упомянул декабризма, событий 14 декабря, Союза спасения, Союза благоденствия, Северного общества, Южного, Общества соединенных славян, "Русской правды" Пестеля, "Конституции" Никиты Муравьева, самих Пестеля и Никиту Муравьева. Всякий раз, когда ему приходилось писать о Бестужева-Марлинском или о Кюхельбекере, он старательно обходил их связь с декабризмом. Нигде, написав сотни страниц о Пушкине и Грибоедове, он ни словом не обмолвился об их роли в декабризме и о роли декабризма в их жизни.* Никаких оснований подозревать автора "Письма к Гоголю", за которое он мог попасть на каторгу, в трусости у нас нет. Это было отношением к декабризму. У Белинского отношение это с 1837 года становится враждебным. Через одиннадцать лет после приговора Верховного уголовного суда Белинский пишет: "Дать России в теперешнем ее состоянии конституцию, — значит погубить Россию. В понятии нашего народа свобода есть воля,** а воля... — озорничество. Не в парламент пошел бы освобожденный русский народ, а в кабаки побежал бы он пить вино, бить стекла и вешать дворян, то есть людей,

* Об этом написано классическое исследование Юлиана Григорьевича Оксмана — "Белинский и политические традиции декабристов" ("Декабристы в Москве". Сборник статей под редакцией профессора Ю.Г. Оксмана, "Московский рабочий", М., 1963), — в котором впервые за столетие обращено внимание на такой поразительный факт и с бесспорной убедительностью доказаны причины, его вызвавшие.

** Характерно, что так же свободу определяет и Никита Муравьев: "Что есть Свобода?... Жизнь по Воле". ("Любопытный разговор". В кн.: Декабристы, стр. 249). Разница лишь в том, что Муравьеву такая свобода нравится, а Белинскому нет.

которые бреют бороду и ходят в сюртуках, а не в зипунах...". Однако после того, как он "проклинает свое гнусное стремление к примирению с гнусной действительностью" ничего похожего на такие умозаключения в его статьях не встречается. Но отношение к декабризму остается неизменным. Быть может, это произошло потому, что в эпоху "примирения" с гнусной действительностью, то есть с гнусным обществом, Белинский относился к деятельности декабристов так же, как и общество, а когда "примирение" проклял, прошло уже двадцать лет после восстания и было уже не до того. Пришли другие события, другие программы, идеи, намерения, цели и люди. Проклятие замечательного человека встало как раз посередине между 20-ми и 60-ми годами. Для 60-х годов 20-ые интересы не представляли.

Я цитировал обширные куски из труда Н.К.Пиксанова, опубликованного некоторые документы впервые и собранного вместе опубликованное ранее. Свод Н.К.Пиксанова, несомненно, производит серьезное впечатление.

Издавая материалы об отношении русского общества к декабризму, исследователь был озабочен не только полнотой и тщательностью публикаций, но и тем, чтобы убедительно показать, как вело себя это общество в нашей рабской стране.

Так как меня больше литературоведения ("хороший роман "Война и мир" или в нем есть недостатки") интересует история беспросветной, сохранившейся навсегда и неизменной при всех исторических обстоятельствах традиционной подлости русского интеллигентного общества, то я с большим вниманием отнесся к его публикации. (Написав о беспросветной, сохранившейся навсегда и неизменной при всех исторических обстоятельствах традиционной подлости русского интеллигентного общества, я не спешу с оговоркой, приписанной специально для вас: "некоторая часть" или даже "большая часть" или "значительная" или "преобладающая часть" этого общества. Я не делаю этого не для того только, чтобы показать вам совершенно невыносимым, и не для того, чтобы еще раз показать вам свое презрение, но главным образом потому, что судьбу всего русского общества определяет именно эта "большая" или "значительная", или "преобладающая

часть", а "меньшая" или "незначительная", или "убывающая часть" не имеет никакого значения. При таком решающем обстоятельстве точный счет теряет какой бы то ни было практический смысл").

Но не для того я обращался к страницам Н.К.Пиксанова, чтобы приветствовать его решающие выводы, которые выглядят так:

"Декабристы могли отрицать существующие порядки и бороться с наличной властью, но в пределах своего родного класса.

Этим объясняется многое в возникновении, ходе и исходе их борьбы с правительством, и без этого многое было бы загадочным и необъяснимым".*

"Для понимания и декабристского восстания и последовавшей реакции важно установить, что исход восстания мог бы оказаться иным, если бы декабристы-дворяне захотели опереться на солдат, рабочих и крепостных крестьян".**

Здесь начинается марксизм, который при неудачах, постигающих его (то культ личности Сталина, то культ личности Мао Дзедуна, то дурное поведение Тито, то неуместные выходы Ходжа, то нейтралитет Чаушеску, то исторические постановления в области литературы и искусства 1946-1948 годов, то подавление Венгерского восстания, то убийство Пастернака) называется уже не "марксизм", а "вульгарный социологизм" или "ревизионизм", или "догматизм", или Бог вещь еще как. Не знаю. Никто не знает, как он называется, и я не знаю. Убедился в невежестве после того, как лучшие годы жизни отдал изучению этой науки (главным образом не в книгохранилищах). По истечении лучших лет начал заниматься другими науками и чувствую, что стал образованнее.

Все эти публикации и все размышления над ними публикатора с быстротой рассеивающегося дымка утрачивают какое-либо значение, когда таким способом нас стараются убедить в том, что революция это только форма классовой борьбы и все дело исключительно в неразрешимых противоречиях между

*Н.Пиксанов. "Дворянская реакция на декабризм". В кн.: Звенья. Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли. Т. II. М.Л., "Academia", 1933, стр.187.

** Там же, стр. 193-194.

производительными силами и производственными отношениями, а интеллигенция, прости Господи, не то прослойка, не то подстилка.

Ни трудом Н.К.Пиксанова, ни какими-либо другими трудами, в том числе трудами Ивана Шевцова, Сергея Михалкова и академика М.В.Нечкиной, убедить в этом всех не удалось до сих пор. Несмотря на то, что нас уже можно убедить во всем, ибо мы пережили коллективизацию и оппозицию, войны справедливые (освобождение Западной Украины, Западной Белоруссии и южной части Финляндии) и несправедливые (потеря Конго (Киншаса), Западного Берлина, Южной Кореи, Синайского полуострова, западной части Иордании, западной части Сирии), культ личности и волюнтаризм, а также исторические постановления в области литературы и искусства.

И все-таки, несмотря на войны, уничтожения и постановления, оказалось, что убедительно написать о заведомо лживых вещах нельзя. То есть убедить можно, а убедительно написать нельзя. Высказывалось предположение, что правильность мысли о производительных силах и производственных отношениях, а также подлинного места интеллигенции, внушаются людям часто не научными трудами, а другими способами.

Всю жизнь изучая научные труды, большая часть которых посвящена доказательству лживых идей, научные труды, рекомендованные мне такими авторитетными учреждениями как 125 средняя школа города Москвы, Искусствоведческий факультет Московского государственного университета, Литературный институт им. А.М.Горького Союза писателей СССР и другими заведениями, предприятиями и организациями, в которых я учился или преподавал, или мимо которых с благоговением проходил, стараясь держаться подальше, я ни в одном из этих научных трудов не обнаружил того, что помогло бы мне понять, почему главной задачей русской истории всегда были попытки задушить свободу и почему русская интеллигенция всегда охотно этому помогала.

Это я понял, читая совсем другие книги и черпая образованность на протяжении тринадцати лет из иных кладезей мудрости, нежели 125 школа города Москвы, Искусствоведчес-

кий факультет Московского государственного университета, Литературный институт им. А.М.Горького Союза писателей СССР и других заведений, учреждений, предприятий и организаций, лучшими из которых были Культурно-воспитательные части (КВЧ) 19-го Долинского Комендантского отделения, 3-го Сарептского, Лечебно-санитарного отделения, 26-го Исель-Гельдинского, 4-го Самарского, 7-го Катурского, 18-го Карабасского отделений Управления Карлага МВД СССР, а также 8-го Ново-Майкудукского и 9-го Спасского отделений Управления Песчаного лагеря МВД СССР.

Многочисленным и многолетним следствием, голодом, пытками, карцерами и одиночками, ночными допросами и дневным бдением, стоянием на коленях, стоянием на цыпочках, стоянием навтыжку, стоянием по стойке смирно, стоянием с перегнутой под прямым углом поясницей, уныло и бесконечно воняющей парашей, светом тысячеваттной лампы, сжигающим глаза, и воем, разрывающим уши, холодом и жарой, арестом родных и изобличениями недавних друзей, десятисуточными конвейерными допросами, изменой, ложью, лицемерием, клеветой, перлюстрацией писем и записями подслушанных телефонных разговоров, поиском пятого угла и камерными стукачами, принудительным лечением и запрещением оказывать медицинскую помощь, плесенью на стенах камеры и бронзой в генеральских кабинетах, неотступной тоской по женщине и лишением книг, лязганьем ключей надзирателей и папироской следователя, потушенной в ухе, очными ставками и черными воронами, нарами с прогнившей соломой и голыми электрическими проводами, вдавленными в рот, боксами, в которых можно только висеть на соседях, мокрым цементным полом и склизким деревянным намордником на окне, клопом и вошью, лишением передач, запрещением курить, пересылками и этапами, неизвестностью, искушениями и соблазнами, доносом любимой женщины, доносами близких, доносами соседей, доносом дворника, доносами друзей и доносами врагов, доносами знакомых и доносами незнакомых, доносами старух и доносами детей, доносом профессора, у которого ты был любимым студентом и доносом факультетского

швейцара, который любил тебя за то, что ты вежливо раскланивался с ним, доносом водопроводчика, которого ты в темноте не заметил, и доносом монтера, которому ты заплатил больше, чем следовало, доносом молодого поэта, робко поступавшего к тебе, которого ты похвалил, и доносом пожилого прозаика, которого ты разругал, доносом неудачника, живущего в квартире слева, и доносом счастливчика, живущего в квартире справа, доносом курьера, доносом карьериста, доносом лентяя и доносом энтузиаста, доносом холерика и доносом сангвиника, доносом меланхолика и доносом флегматика, доносом труса и доносом храбреца, доносом слепца и доносом ясновидца, доносом блондина и доносом брюнета, доносом дурака и доносом умника, доносом любимого писателя и доносами любящих сослуживцев, доносом актрисы, которая тебе нравилась, и доносом ее любовника, которому ты не нравился, доносом актера, которого ты любил, и доносом его любовницы, которая не любила тебя, доносом жены твоего приятеля, которая боялась твоего разлагающего влияния, и доносом приятеля, который боялся твоего влияния на его жену, доносами пожарников, летчиков, астрономов, агрономов, жуликов, министров, кинозвезд, могильщиков, литературоведов, клоунов, кораблестроителей, пионеров и октябрят, стрелочников и живописцев, футболистов и энтомологов, венерологов, социологов, паразитологов, палеонтологов и отоларингологов, доносами доброхотными и доносами подневольными, доносами друг на друга, доносами на самих себя, доносами всей страны на тебя и на всех, доносами, доносами, доносами, четырьмя стенами тюрьмы и тюремной решеткой власти, которая судит, часто удается убедить подсудимого в том, что она лучше знает, что именно полезно отечеству.

Конечно, когда декабриста ставят перед тысячеваттной электрической лампой, а за его спиной, развалясь, сидят торжествующие враги, то ему это снести труднее, чем ходить под ядрами по Бородинскому полю, зная, что сзади стоят восхищающиеся друзья.

Я приводил материалы, извлеченные из публикации Н.К. Пиксанова не для того, чтобы убедить любезного читателя

в том, что декабристы были разгромлены, потому что, будучи представителями своего класса, в высшей степени неуместно выступили против него в то время, как по августейше начертанной концепции должны были выступить против другого. Если это соображение (борьба классов, прости Господи) кажется так им убедительным, то зачем же останавливаться и распространять его только на поражение? И так, вперед: декабристы на площади были разгромлены, а на суде посрамлены, потому что принадлежали к тому же обществу, против которого восстали. Но ведь восстание декабристов не было стихийным крестьянским бунтом, и к нему (или к другой форме изменения существующего порядка вещей) готовились десять лет. То есть десять лет готовились выступить против своего класса, а, выступив, поняли, что ошиблись и что на самом деле нужно было выступать против другого класса? Такая концепция производит сильное впечатление и возбуждает острое любопытство. Хочется узнать, почему аристократ Герцен выступил против своих и не раскаялся в этом? Или почему родовитый дворянин Писарев в борьбе 60-х годов оказался не со своим дружкой по классу Тургеневым, а с сыном протоиерея семинаристом Чернышевским? Или почему А.И.Солженицын, рожденный не во дворце султана, стал защищать Ивана Денисовича и Матрену от своего же генералиссимуса и его злодеев?

Полная монументального благородства стоит русская историография половину столетия перед неразрешимым вопросом: как это одни и те же люди могли с гордо поднятой головой ходить под ядрами и ползать на коленях перед императором. Потом догадалась: одно дело за своего родного государя идти на вражеский редут, другое дело против своего государя идти на его дворец.

Днями и ночами русская историография, охватив руками голову, размышляла над вопросом: как случилось, что люди, готовившие в течение десяти лет государственное переустройство, в самую удобную для такого предприятия минуту оказались растерянными и не знающими за что взяться. Потом догадались: борьба разных течений в самом декабризме была настолько сильна, что парализовала все серьезные попытки принять что-либо радикальное.

Среди особенно выдающихся концепций существует и такая: декабристы были так чисты и прекрасны, что не могли лгать даже высочайше утвержденному Тайному комитету, не говоря уже о самом государе императоре. Но если они не могли лгать, то есть не говорить правду Тайному комитету, то почему же они могли лгать, то есть говорить неправду о своих друзьях, единомышленниках, братьях?

Декабристы так охотно осудили сами себя и так готовно разрешили себя уничтожить, потому что еще до поражения они подозревали, а после поражения убедились в том, что их дело, кроме них самих, никому не нужно. И они были правы. В такой стране, как Россия, где образованное общество и народ испорчены и развращены потомственным рабством и рабовладением, страхом, национальной традицией и исторической наследственностью, свобода никогда не была нужна. Образованное общество, то есть рабовладельцы, пользовались необходимой ему свободой, а народу нужна была свобода не в форме бесцензурного книгопечатания, а в форме хлеба. Образ правления — абсолютная монархия, конституционная монархия, демократическая республика, республиканская диктатура — его не интересовал.

Декабристы были разгромлены, потому что боролись за свободу в стране, которая всегда ненавидела эту свободу во всех классах, потому что в этой стране должен погибнуть всякий, борющийся за свободу. Но всегда надо помнить о том, что если в этой обреченной стране перестанут бороться за свободу, то будет уничтожено, сожрано, вытоптано, заплевано все, что веками создавалось теми, кто оставался свободным.

Общество, не игравшее в России никакой роли, и, таким образом, как бы не существующее (общество осознается как социальная организация, когда оно кому-нибудь противопоставлено), позволило абсолютизму захватить безудержную, неограниченную не то что конституцией, но просто разумностью власть, оказалось само втянутым в преступления диктатуры. Декабристам не на кого было опереться в борьбе и не с кем было делить победу. Победе грозило достаться только победителям, то есть тем, кто захватил власть. Другим людям, живущим в этой стране, для которых будто бы добывалась

победа, пришлось бы довольствоваться лишь ливнем поднимающих на новые ратные и трудовые подвиги фраз. И поэтому декабризм мог кончиться или поражением, или военным бунтом, после которого к власти пришла бы горстка людей, вынужденная защищаться от огромного количества поверженных, и, защищаясь, применять беспощадные методы подавления, вернувшись, таким образом, к тому, против чего начиналась борьба — к самовластию и диктатуре. Пестель мог обещать все что угодно, но ничего другого, кроме самовластия и диктатуры, из его концепции получиться бы не могло.

Другие люди, живущие в этой стране, касательства к тем, кто для них добывал победу, не имели. Да и они, эти люди, и не играли бы особенно серьезной роли после победы. Поэтому далеки были декабристы от народа или близки ему, может быть, и представляет какой-то интерес, но только в связи с вопросом о победе и поражении. Все остальное к народу отношения не имеет. Все остальное связано с одним вопросом: во имя чего нужна была победа.

Революции совершаются для тех, кто их совершает, и поэтому восстание Степана Тимофеевича Разина нужно было донским казакам, мордовским, марийским, чувашским, русским и татарским крестьянам.

Декабристы вышли на Петровскую площадь не для защиты интересов донских казаков и татарских крестьян. Они были небольшой группой людей — единственной в русском обществе 20-х годов, — которой была нужна свобода, потому что они уже были интеллигенцией. Интеллигенция всегда была и навсегда останется единственной общественной группой, которая не может существовать без свободы духа. Всем остальным людям нужна другая свобода: свобода власти, богатства, хлеба, войны. Абсолютистское государство может дать людям богатство, хлеб, власть, войну, может не дать, может дать одним и не дать другим. Но свободу духа абсолютистское государство не может дать никому. И поэтому интеллигенция в самовластной стране существовать не может: она или уничтожается, или растлевается, или — реже всего — хранит гордое терпенье.

Революция интеллигентов была раздавлена, потому что в

России интеллигенты всегда были ненавистны властителям и отвратительны вековым отвращением народу.

14 декабря 1825 года на Петровской площади в Петербурге произошла первая из двух* европейских революций в России. Ничего общего с привычным для этой страны крестьянским бунтом она не имела. Но декабристы вышли на площадь в то время, когда еще были живы люди, которые шли с Пугачевым, и те, кто этих людей судил. Судьи декабристов родились при матушке Екатерине Алексеевне, няньки с малолетства пугали их Пугачем да башкирцами. Всю жизнь они бялись черной бороды, красного петуха да дядьки с ружьем.

Альтернатива Пугачев — Аракчеев, которой так долго пугали историков, абсолютна естественна по психологическим мотивам и совершенно несостоятельна по историческим.

По историческим мотивам она для декабризма мало существенна.

Несмотря на то, что вся деятельность тайных обществ должна была завершиться военным бунтом и завершилась им, решающими в этой деятельности были идеологические и политические темы, а не военные. Альтернатива же Пугачев — Аракчеев — только военная. В ее пределах помещается лишь вопрос о том, как победить: захватить власть с помощью или без помощи народа. Ничего другого в этой альтернативе нет, а если бы каким-нибудь образом и оказалось, то сравнение программ несомненно обнаружило бы существенные отличия двух восстаний.

Я не буду останавливаться на этом подробно из-за смехотворности занятия. Идеологические задачи и возможности Пугачева были весьма ограничены, о чем можно судить по приводимому свидетельству: "Пугачев принял бумагу и долго рассматривал с видом значительным. "Что ты так мудрено пишешь? — сказал он наконец. — Наши светлые очи не могут тут ничего разобрать.""**) Идеологические задачи декабристов не осложнялись особенностями зрения. Декабристы умели читать. Многие умели не только читать, но и очень хорошо писать.

* Вторая — в феврале 1917 года.

** А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, тома 1-16, 1937-1949, т. 8. Издательство Академии наук СССР, 1938, стр. 335.

Члены тайных обществ, иногда даже такие, как Пестель, задумывались о современном европейском демократическом государстве с конституцией, парламентом, гласным судом, без цензуры и удушения свободы, независимо от того, было бы новое государство республикой или конституционной монархией. Что же касается Пугачева, то, вероятно, он мало размышлял о свободе печати, равно, как и о парламентских прениях. Общность декабристов с Пугачевым ограничивается вопросом, связанным с крепостным владением крестьянами. Можно с большой долей уверенности сказать, что декабристы не предполагали осуществить идеологическую программу Пугачева после победы. Петербургские и даже тульчинские интеллигенты не без основания боялись пугачевщины, и это, по-видимому, было единственным, что их с пугачевщиной связывало.

Декабризм был первым радикальным движением интеллигентной России, и поэтому его главным назначением было завоевание личной свободы. Именно это обстоятельство и вывело программу Пестеля за пределы истинного назначения декабризма, ибо Пестель думал не о свободе, а о победе. Что же касается свободы, то поскольку завоевать ее трудно да и вообще неизвестно, что из нее может получиться, самое верное это установить временное (на десять лет) неограниченное правление, то есть диктатуру. В случае, если десяти лет окажется мало, то особые обстоятельства позволят ее продлить. Особые обстоятельства могут быть разными. Об одном сообщает А.В. Поджио в своих показаниях:

"... я полагаю, что временное правление не продлится более года, а много-много два". На сие он (Пестель. — А.Б.) мне возразил: "О нет, не менее десяти лет, — разделение земель одно возьмет много времени". Тогда я ему сказал, что коль скоро так, то бесспорно многие устроятся сего продолжительного времени господства. — На это мне сказал:

— Что ж делать! А впрочем, между тем, можно будет обратить внимание общее на внешнюю какую-нибудь меру, как-то: объявить войну Порте и восстановить Восточную республику в пользу греков; таким образом явемся на поприще политическое с самыми благонадежнейшими видами для прочих народов Европы".

* "Декабристы", стр. 201.

Как видим, диктатуру установить ничего не стоит: всегда может что-нибудь случиться или можно найти, что случилось, или устроить, чтобы случилось.

Декабризм был общественным движением, стремившимся свергнуть абсолютизм, то есть диктатуру. И поэтому, когда Никита Муравьев говорит о том, что насилие родит насилие, то это не церковно-приходская банальность, а важнейший пункт спора с Пестелем о целях и способах изменения общественного строя. Никита Муравьев думал, что изменение общественного строя должно принести людям свободу, то есть счастье. Пестель полагал, что изменение общественного строя должно принести людям имущественное равенство. И, вероятно недоумевал: о каком еще беспокоиться счастье, когда оно — вот, пожалуйста, — имущественное равенство.

В отличие от европейского общества, которое только влияет на государство, русское общество всегда само себе государство. Оно всегда было и навсегда осталось обществом генералов, сановников, вельмож, ученых-генералов, поэтов-сановников, клерикалов-вельмож. И никакая свобода этим генералам, сановникам и вельможам была не нужна, потому что та свобода, которая им требовалась, была у них в полной мере. Им было за что обожать свою власть, своего монарха, своего жандарма, свое отечество, свою верноподданническую литературу.

Декабристы, естественно, собирались выдвинуть совсем иной слой, и они так же, как предшественники, стали бы добиваться, чтобы этот слой служил их государству, и добились бы. Только генералом бы стал подпоручик Лаппа, сановником прапорщик Бесчанов, вельможей штаб-лекарь Вольф. И Пестель предусмотрительно уже принимал кое-какие меры, чтобы не пробрался кто-нибудь из чужих, и оговаривал это специально: "... никто, не поступив предварительно в оное (тайное общество. — А.Б.), не должен быть облечен (после победы. — А.Б.) никакою гражданскою или военною властью".* И партии бы непременно запретил, потому что знал, как они мелят старых властителей. Да и вообще, если не приглядывать,

* "Декабристы", стр. 198.

то "легко родиться могут партии и разные козни".* Это глубоко наша, родная, русская идея стоит у него на первом месте: "Во-первых..."**

До победы было совершенно ясно, что общество, которое заняло бы место ушедшего, никак на прежнее не похоже, потому что Пушкин это не Дмитриев, Корнилович не Магницкий, а Пестель не Аракчеев. Но все это было ясно в годы, когда к победе еще стремились. А если бы победили? Установили бы временное правление, и на смену диктатуре Александровских генералов, сановников и вельмож пришла бы пестелевская диктатура генералов, сановников и вельмож. В обоих случаях подлежащее концепции — диктатура — остается. Подлежащее — главный член предложения, концепции, и оно подавляет все второстепенные члены. Люди приходят и уходят. Диктатура остается. И пестелевская диктатура подавляла бы Пушкина с не меньшей энергией, чем Александровская, и диктатуре Пестеля, быть может, поэт, который не клонит гордой головы, был бы еще более отвратителен, чем диктатуре Александра. Все это неминуемо, потому что обстоятельства, возникающие после государственного переворота в абсолютистской стране, требуют (или люди, совершающие переворот, думают, что требуют, или, зная, что другие так думают, пользуются этим) поступиться такими не являющимися жизненно необходимыми вещами, как демократия, искусство во имя интересов народа, то есть государства, которое все делает для блага народа. И тогда после нескольких месяцев или нескольких дней единодушия государства и общества начинается новое социальное расслоение, и снова одна часть общества яростно защищает свою власть, а другая — как всегда, меньшая, и, как всегда, лучшая — борется с нею. Победа декабризма была бы прекрасна и имела бы смысл лишь в одном случае: если бы она не отняла возможности бороться с ним. И эту возможность даже в России пытался предусмотреть Никита Муравьев и решительно отвергал Пестель. И он, конечно, был прав: таких диктатур, которые позволяют бороться с ними, не бывает. Нет ничего отвратительнее и страшнее диктатуры, независимо от побуждений, которыми она вызвана, и от целей, которые она ставит.

* "Декабристы", стр. 198.

** Там же, стр. 103.



Наталья БЕЛИНКОВА-ЯБЛОКОВА

ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ

АРКАДИЯ БЕЛИНКОВА

Между любовью и ненавистью лежит предубежденность. Это оказалось особенно верным по отношению к публикуемой выше статье, написанной в расчете на цензуру в СССР, но впервые напечатанной в свободном мире 15 лет назад. Тот, кто прочитал ее "там", понял подтекст. Но статья не была опубликована. Однозначное ее прочтение за рубежом обрекло автора на клеймо русофоба.

"Страна рабов, страна господ..." фактически не статья, а большая вставка в третье издание книги "Юрий Тынянов" (которое не осуществилось вследствие бегства Белинкова из СССР). В "Тынянове", как и в последующем за ним "Олеше", автор сформулировал "Закон Пушкина-Блока", по которому Поэт всегда противопоставлен черни.

Над третьим изданием "Тынянова" он работал вскоре после травли Пастернака и осуждения отборными силами Московской писательской организации Синявского и Даниэля. В событиях, связанных с восстанием декабристов, Белинков увидел возможность на материалах 19-го века протащить через цензуру свое отношение к современному государству и современной черни. "Вы Аристофана осуждали за то, что у него нет ничего святого. Пастернака за то, что его стихи абсолютно непонятны народу. А Герцена за то, что он печатался за границей... Но, помилуйте, как же он может печататься в России? Да, конечно, но в то же время... Выносить сор из избы..."

Последняя фраза произносилась на всех открытых и закрытых собраниях того времени.

Может быть, А.Белинков был наивен в своих намеках или даже выпадах против советского режима? Нет, он сознательно шел на риск. Рискованная дорога была построена на железном расчете. Свой текст он делил на три части. Наиболее вызывающая часть была обречена на безоговорочные уступки, другая была рассчитана на торговлю с редактором и в результате на возможные компромиссы, третья предназначалась для борьбы не на жизнь, а на смерть. Главное было — не уступить заранее. Дисциплина у А.Белинкова была. Самоцензуры — не было.

Но то, что было возможно в начале оттепели, оказалось практически нереальным уже в 1967 году, когда начались заморозки. Цензура стала бдительнее. Театр "Современник" попробовал было избежать общей участи и поставил "Декабристов". Автор пьесы Л.Зорин и научный консультант А.Белинков отходили от канонического представления о декабристах как рыцарях без страха и упрека. Для них важно было представить то, что произошло бы потом, вследствие победы восставших. Одним из самых выразительных эпизодов было обсуждение программы Пестеля. После свершения переворота предполагалось установление "временного неограниченного правления на неопределенный срок", т.е. тиранической власти взамен самодержавия. Актер, игравший Пестеля, шептал другому на ухо, каким образом будет осуществляться это "неограниченное правление".

Вскоре после премьеры журнал "Театр" заказал А.Белинкову рецензию на "Декабристов", и он решил воспользоваться вставкой к "Тынянову". Но прежде показал ее текст редактору журнала Юрию Рыбакову, которому в те дни по какому-то другому поводу устроили разнос в Идеологической комиссии ЦК КПСС. При таких обстоятельствах публикация рецензии стала невозможной. Вскоре текст вставки как бы сам собой превратился в статью под названием "Страна рабов, страна господ..." и стал известен в самиздате.

Пока в СССР завинчивали гайки, в Чехословакии расцветала весна. Рукопись статьи о декабристах попала туда и набиралась в одном из пражских журналов. Шел 1968-ой год. Воспользовавшись поездкой по странам Восточной Европы, А.Белинков бежал в те дни из социалистического лагеря.

В июне он поселился в Америке, в штате Коннектикут. В августе советские войска вошли в Чехословакию, и вопрос о публикации "Страны рабов, страны господ..." снова отпал. Неизвестными друзьями статья была переслана в США. И он сразу же предложил ее "Новому журналу". И она сразу же была отвергнута Р.Б.Гулем как играющая на руку коммунистическому режиму. При этом Гуль написал автору длинное возмущенное письмо. Полемика выглядела следующим образом.

А.Б. Русское общество в России всегда готовно и решительно шло навстречу (правительству).

Р.Г. ... в русском обществе до революции была как раз обратная тенденция — вечной оппозиции к власти вообще.

А.Б. Суд в России не судит. Он все знает и так...

Р.Г. Неужели вы с такой легкостью зачеркиваете великие судебные реформы Александра Второго и их последствия?

А.Б. В то время еще не все народонаселение России состояло из рабов, льстецов, дрожащих от страха прохвостов и звероподобных душителей.

Р.Г. Вот характеристика всего народонаселения. Неужто вы думаете, что эта характеристика может быть для кого-нибудь убедительна?

После смерти Белинкова в 1970 году я нашла в папке "Декабристы" такие заметки:

1. Эта работа написана в России и обращена против гнусного советского патриотизма.

2. Советская история — это русская история, только выбравшая из нее все самое реакционное, омерзительное, шовинистическое, кровавое и забывшая благородное, чистое и прекрасное.

3. Все, что происходит в мире, это произведение народного духа. "Фауст" — это эманация гения германского народа. А "Майн Кампф"? Одного Гитлера?

4. Главное, что нужно ввести в новый вариант "Декабристов", это, какие бывают свободы (крестьянам нужна была земля, буржуазии снижение тарифов... и пр.), только узенькому кругу интеллигенции нужна была духовная свобода."

После смерти А.Белинкова редактор "Нового журнала" не устал уличать его в русофобстве, и я напечатала в "Новом русском слове" довольно резкое письмо. Гуль ответил мне в той же газете, назвав мою статью "по-советски разухабистой", и опубликовал свой ответ Белинкову. Все вместе это называлось "Об инсинуации и русофобии".

Статью Гуля, которая появилась под тем же заголовком, можно считать наиважнейшей в истории русского зарубежья. Она стала волноломом, который разделил всех нас на эмиграцию из России и эмиграцию из СССР. Слово для размежевания было найдено — русофобия.

Вскоре из термина оно превратилось в ярлык. Ярлык, как приговор. С ним не спорят. В СССР за "ревизиониста" можно было схлопотать увольнение с работы, за "внутреннего эмигранта" заработать срок. В свободной Америке в эмигрантских кругах клянут ярлыком. Следовало бы писать не о "великой любви А.Белинкова к правде, а о его великой ненависти к России", "А.Белинков и сотрудники сборника разуверились в революционном идеале, поставили под сомнение национальное начало", "его ненависть к России хуже розенберговской", — так

писали русские эмигрантские журналы, странным образом пользуясь советской фразеологией.

Иным было отношение к А.Белинкову у людей из "третьей волны".

Когда Синявский, вырвавшись из советской тюрьмы, узнал о реакции на работы А.Белинкова за границей, он был поражен: "Аркадий был из тех, из оппонентов, из вернувшихся, из вылезших из могилы теней. Аркадий был из тех и шел он прямым обвинением... он любил Россию и написал ради нее несколько прекрасных книг... его "ненависть" была другой стороной его любви, если читать внимательно..."

Друзья Белинкова поразились его литературному мастерству, его способности превратить "любой исторический или литературно-исторический эпизод в злободневное, острое, сегодняшнее разоблачение".

Приведу только одно свидетельство, принадлежащее Леониду Владимирову. "Эффект книги "Юрий Тынянов" был чрезвычайен. ... люди, никогда в жизни не бравшие в руки литературоведческих книг, читали "Тынянова" ночами... Следуя примеру А.Белинкова, многие литераторы стали обращаться в книгах и статьях к веку минувшему для разоблачения нынешнего. Явление приняло массовый характер и вскоре перекинулось даже на театр. ... творчество Тынянова не служило Белинкову только поводом для политического памфлета. Сила книги в том и состоит, что она не была задумана как политический памфлет. Скорее это подробный и честный анализ творчества большого писателя, работавшего в условиях, никак для творчества не подходящих".

Но и поклонники А.Белинкова, и его недоброжелатели, высказывая прямо противоположные суждения, все же остаются в одной плоскости — чисто эмоциональной.

Сам А.Белинков говорил, что сравнить Сталина с Иваном Грозным — дело нехитрое. Он и не сравнивал. Он извлекал общий корень, выводил формулы, пригодные на все времена, подтверждал их историческими фактами и прилагал их к советской истории. Так появился закон о пределах нравственного сопротивления (см. "Олеша"), "закон Пушкина-Блока" (см. "Тынянов"), идея термидора, неизбежно следующего за революцией, совершаемой с благими намерениями (читай в подтексте) и т.д. Законы эти не были известны цензору, излагались они в образной художественной форме, что облегчало текстам проходить поверх барьеров. Помогало автору его литературное мастерство, но заключалось оно не в отдельных ловких приемах, а в том, что А.Белинков смело шагнул за рамки академического литературоведения. Поэтому появился другой язык, другая фразеология. Литературовед "нового типа" стал мыслить образами, пользоваться всем арсеналом средств художественной литературы: метафоры, сравнения, ирония, лирические отступления, сгущение речи, гротеск. В его руках предмет исследования (Гоголь, Олеша, Пушкин, декабристы) — это строитель-

ный материал для создания модели, представляющей свое общество и свое время. Так, собственно, и рождались белинковские прототипы. В книге о сдавшемся интеллигенте (погубившем свой талант уступками власти), прототипами становятся Юрий Карлович Олеша, Евгений Евтушенко, Виктор Борисович Шкловский и даже литературный образ из "Трех толстяков" учитель танцев Раздватрис. Если читатель отвлечется от исторических контуров, то увидит, что в статье о декабристах Пестель становится прототипом того, кем бы он стал и кем обычно становятся вожди народа после захвата власти. Белинков ведет себя на равных с теми, о ком пишет, с кем отправляется в "прогулку"... Иногда мы наблюдаем как бы снижение образа (великого ли Пушкина, милого ли Олеша). Но происходит это потому, что автор знает больше, чем его персонажи, он привносит свой личный опыт и опыт всего своего поколения. Если Гоголь только боялся, что его похоронят заживо, Синявский знает, что того нашли повернувшимся в гробу. Как установил А.Белинков, декабристы, готовясь к восстанию, не могли и подумать, что они будут прокляты современниками.

Эфрос, Белинков, Любимов, Синявский — были представителями поколения 60-х годов. Это было время первой советской оттепели, когда и ожили надежды, и происходила ревизия истории. Им на смену пришло демократическое движение. А затем — долгие годы застоя. Но прошли и они. И снова оттепель, снова лопаются почки в ожидании весны...

Когда журнал "Время и мы" решил представить своим читателям статью А.Белинкова (поскольку исполнилось 15 лет со дня ее публикации), — эти пятнадцать лет мне показались лишь внешним доводом, особых оснований для перепечатки я не видела. Но затем подумала: а если снять исторические контуры? Если приложить закономерности истории к сегодняшнему дню? Если читать внимательно? Вспомним еще раз Аркадия Белинкова:"

"Декабристам не на кого было опереться в борьбе и не с кем было делить победу. Победе грозило достаться только победителям, то есть тем, кто захватил власть. Другим людям, живущим в этой стране, пришлось бы довольствоваться лишь ливнем поднимающих на новые ратные и трудовые подвиги фраз... Другие люди, живущие в этой стране, касательства к тем, кто для них добывал победу, не имели".

Аркадий РУМАНОВ

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ : ВИТТЕ, РАСПУТИН И ДРУГИЕ

Имя Аркадия Вениаминовича Руманова сегодня уже мало кому известно. Между тем, в начале 20-го века это был один из самых блестящих журналистов Петербурга. Руманов был глубоко верующим евреем, что не мешало ему поддерживать дружбу со многими членами царской фамилии и прежде всего с великим князем Александром Михайловичем. Блестящий организатор, человек тонкого литературного вкуса, Руманов в отношениях с людьми был щедр и великодушен. Среди его друзей мы видим — Блока, Мережковского, Куприна, Розанова.

После революции, в 1920 году, Аркадий Руманов эмигрировал в Париж, где жил в нужде, несмотря на свои высокие связи.

Последние годы жизни он приводил в порядок свои богатейшие архивы.

Публикуемые в этом номере его короткие рассказы-воспоминания были переданы им в 1950 году журналу "Новоселье", который довольно скоро прекратил существование, так и не напечатав ни одной вещи Руманова.

И.Д.СЫТИН

Ни один министр народного просвещения не сделал для русского просвещения столько, сколько сделал И.Д.Сытин. Этот поборник просвещения не умел грамотно писать; слово "деньги" писал через "ять". Практик жизни, кулак-купец сочетался в нем с вечным мечтателем-богоискателем. Мечта гнала его к людям, у которых он думал найти вершины человеческой правды: в осеннюю распутицу через Неву — к Иоанну Кронштадтскому, в Ясную Поляну — к Толстому, к схимнику в Троице-Сергиево, к Горькому на Капри...

Эта двойственность приводила иногда к курьезам. Вот несколько записанных наудачу таких курьезов, характерных для этого самородка.

Газета "Русское слово" в первые годы переживала тяжелые дни. Сытин встал перед дилеммой: продолжать рискованное дело издания газеты или прекратить его? За ответом он с женой поехал в Николо-Угрешский монастырь, под Москвой, где в келье вел жизнь схимника косноязычный старец, совершенно неграмотный..

Сытин с серьезным видом умиленно просит его разрешить сомнение. Старец после минуты молчания вдруг промычал что-то невнятное и затопал ногами. Жена толкнула Сытина в бок: "Не велит".

Так было спасено "Русское слово".

* * *

В восемь часов утра влетает Сытин в редакцию "Русского слова". В редакции, конечно, ни души: в четыре часа ночи кончилась очередная тяжелая работа, все разошлись. В дальней комнате находит, наконец, живого человека. Это Милан Михайлович Боиович, серб, одинокий человек, основной сотрудник газеты, влюбленный в газетное дело, редактор журнала "Искра". Он и жил в редакции, можно сказать, не выходил из газетного помещения.

Сытин с трудом будит его и на полупроснувшегося Боиовича обрушивается ураган ругательств:

— Что вы натворили, погубили газету, пустили меня по миру! Как смели без спроса напечатать о краже в церкви? Духовная цензура теперь нас съест.

Сытин бешено машет перед носом Боиовича газетным листом. Боиович дрожащими руками разворачивает газету и с недоуменным ужасом:

— Помилуйте, Иван Дмитриевич, ведь это не мы, это "Московский листок".

Сытин надвигает очки на лоб, всматривается:

— И впрямь "Московский листок"... Тогда совсем другим тоном: — А вы-то что смотрите? Паршивая газета печатает новости, а у нас их нет! Плачу такие деньги! Распустились... Ужо придет Федя (зять его Ф.И.Благов), поговорю с ним...

* * *

Характерны резолюции Сытина.

Известная писательница-юмористка просит аванс от "Русского слова". К Сытину идет соответствующее письмо. Сытин карандашом отмечает на нем: "Слабо гасит", что означает, что писательница плохо погашает получаемые авансы.

На просьбу сотрудника об увеличении гонорара Сытин пишет: "Слишком аппетитно", то есть — у сотрудника слишком разгорелся аппетит.

* * *

Сытин был поистине ненасытен, ему хотелось издавать решительно все, что потребно для России,— от Библии и распоряжений правительства до прокламаций революционеров. После полосы "Посредника" в его хаотическом издательском царстве наступил известный порядок, с уклоном в сторону православия.

Близкие в это время стали приставать к нему, чтобы он прекратил печатание грубоватых сказок для народа, вроде "Еруслана Лазаревича", "Прекрасной Турчанки, умирающей на гробе мужа" и особенно "сонников", сборников толкования снов.

— Помилосердствуйте, Иван Дмитриевич, как же это вы, издатель "Посредника", друг Толстого, одурманиваете народ сотнями тысяч экземпляров ваших "Сонников".

Сытин смущенно отмалчивался или бормотал что-то несуразное.

Упреки становились настойчивее, и однажды, приехав в Петербург, Сытин вынул из кармана новую книжку.

— Ты все пристаешь... На, читай.

Это была хорошо изданная книга под заглавием "Вред "сонников" для народа". Но "сонники" продолжал выпускать... * * *

Батолин упорно добивался стать совладельцем "Русского слова", он предлагал Сытину за десять процентов паев товарищества "И.Д.Сытин" колоссальную сумму в шесть миллионов рублей. Сытина предложение соблазняло, он понимал огромную выгоду этой сделки, но побаивался своего либерального окружения, которое было против хотя бы частичного влияния банковского капитала на издательское дело.

Батолин не отставал, завтракал и обедал с Сытиным, продолжая его убеждать. Наконец, они поехали вместе в Сандуновские бани. Стали париться. Сытин любил попариться, но Батолин превзошел его, такую температуру нагнал и проявил такое банное неистовство, что Сытин не выдержал и с банной полки крикнул ему:

— Довольно, уморил меня! Черт с тобой, покупай пай!

В.В.РОЗАНОВ

Кроме основного сотрудничества в "Новом времени" В.В. Розанов много работал и для "Русского слова", где он подписывался как Варварин, по имени его жены.

Когда в "РС" стали сотрудничать Мережковский, Гиппиус и Философов, вначале они вполне терпимо относились к соседству с Розановым, — он был до известной степени их единомышленником, по "Религиозно-философским собраниям". Но с обострением политической обстановки в России это соседство оказалось для них неудобным, и они поставили Сытину условие: или они, или Варварин.

Сытин поручил своему представителю в Петербурге деликатную миссию: сообщить Розанову, что его сотрудничество прекращается и одновременно предложить ему материальную компенсацию. Произошла следующая сцена:

— Василий Васильевич, ваши фельетоны такие длинные, а "РС" так дорожит местом, что нам придется отказаться от их печатания.

Розанов в ужасе:

— Что же мне делать?

— Но первого числа вы будете регулярно получать жалованье.

— Как? Буду получать жалованье, даже если ничего не поместите?

— Да. И притом — каждое первое число в течение целого года.

Розанов так обрадовался, что запрыгал на месте.

— Варя, Варя, иди скорее, какое счастье привалило, я буду

целый год получать жалованье и могу не писать ничего целый год! — и он бросился обнимать злосчастного сытинского "вестника".

* * *

Существует особая порода мужчин — "кокетов", уверенных в своем шарме. Максим Горький считал неотразимой свою улыбку.

Властно вытягивая руку со сжатым кулаком:

— Уж если я захочу забрать человека, так заберу!

С.Ю.ВИТТЕ

Основное впечатление: он привлекает к себе. В нем не было ничего от бюрократического штампа. Часто он заставлял себя принимать облик официального лица, министра и бюрократа, но долго быть в этой роли органически не мог: неожиданно прорывался обыкновенный человек, даже обыватель, со всем теплом и непосредственностью человеческой обыкновенности. И это привлекало в нем необычайно

Все в нем было двойственно. Начиная с внешности: огромный рост, исполинская фигура, а пожатие руки вялое, бескостное, как будто ваты коснулся. Железо и вата в одном человеке. При этом — страстность природы, горячего, почти истерического темперамента. Разговаривая с журналистами, вначале он твердо помнил, что надо быть осторожным, взвешивать каждое слово, но стоило собеседнику слегка разжечь его, вызывать волнение — и сразу бурным потоком выливалось его подлинное чувство.

Разговор о государе. Витте сдержан, величествен.

— Воля государя для меня священна. Я прежде всего верноподданный. Что мне прикажет мой император, я исполню беспрекословно.

Витте искренне любил Александра III и чтил его память, мог говорить о нем часами, горячо, с увлечением.

По какому-то поводу он настойчиво советовал мне позна-

комиться с председателем Государственного совета Акимовым. Советовал поговорить с ним о П.А.Столыпине. Дал мне руководящие указания, написал Акимову рекомендательное письмо. Этой встрече он, видимо, придавал значение, слегка намекал, что оказывает мне одолжение.

— Благороднейший человек! Честнейший. Больше всего любит правду. Большой юрист. Для вас это знакомство — клад.

Через три дня я дал Витте отчет о встрече. Акимов произвел впечатление среднего бюрократа, квадратного, грубовато-узкого. Ни тени государственной мысли, ни проблеска больших идей.

— Что же я вам говорил! — заливается Витте радостным фальцетом. — Ничтожнейший человек. Мелочь первостатейная. Так скажу: в Архангельской губернии, где средним губернатором мог бы быть Столыпин, там у него, в Холмогорах, выездным председателем окружного суда мог бы быть Акимов. И не больше. Цена обоим — два ломаных гроша...

Витте говорил красочным языком, любил вставлять народные выражения. Характерно, что, увлекаясь, начинал говорить неправильно. "Они гуляют", "они делают" и т.д. "Российское государство, она никогда не допустит".

В то же время слегка подчеркивая свое знание французского языка, прибегал к галлицизмам. Слово "идея" произносил "идэя".

В разгар составления основных законов и выработки основ русской конституции Витте пригласил к себе М.М.Ковалевского для беседы на модную тогда тему об однопалатной и двухпалатной системах.

В тот же вечер Ковалевский рассказывал:

— Поразительный человек. Невежественный на удивление, но и гениальный на редкость. Начал он с того, что спросил меня в упор: "Объясните мне, как наука смотрит, что такое Верхняя палата есть или тормоз, или маховое колесо.

— Я развел руками, — продолжал Ковалевский, — ответил ему, что он этим железнодорожным образом охватил совершенно точно всю тему и что в самом вопросе есть уже и ответ. На самом деле, Верхняя палата есть или тормоз, или маховое колесо.

* * *

В свои отношения к людям Витте вносил большую страстность.

Столыпина он ненавидел. Для него П.А.Столыпин был воплощением бюрократической самоуверенности, без дара предвидения, и с неуважением к интеллигентным силам.

— Говернер, сест превиор (Витте любил щегольнуть французской фразой), а "они" этого не понимают... — Столыпин для него олицетворял целую породу, и "они" всецело относились к ней.

1907 год. На пляже в Биаррице.

— "Они" ничего не понимают. Разве можно сказать, когда произойдет землетрясение: может быть, через год, может быть, через час. Революция будет, а как скажешь, когда... От Столыпина все "бабье" в восторге, он, дескать, успокоил все, с ним можно спать спокойно. Да и держится он на женских юбках. Увидите, как вместе с этими юбками сам полетит вверх тормашками.

Уже после убийства Столыпина Витте продолжал полемизировать с ним, презрительно утверждая, что "они" губят Россию.

О В.Н.Коковцеве:

— С ним спорить невозможно. Он всегда прав. Встает человек и говорит: "Господа, для того чтобы жить, надо питаться. Основа питания — хлеб. Он бывает ржаной и пшеничный. Рожь растет так, а пшеница этак," — и жарит таким манером три часа. Пойди, поспорь с таким человеком...

Говоря как-то о государе, Витте задумчиво заметил:

— От властителя не требуется, чтобы он был умен или непременно силен. Требуется, чтобы он был удачлив. Властитель должен быть felix...

В бессонные ночи иногда думаю, не сделал ли я ошибку, настаивая на акте 17 октября... Но история всего человечества говорит, что я не ошибся, что другого исхода по историческому ходу вещей не могло быть. Или все человечество и я с ним ошибались, или я был прав...

* * *

Витте вернулся в Петербург из-за границы через несколько недель после начала Великой войны, как раз во время, когда был обнародован знаменитый манифест к полякам о восстановлении Польши.

Витте рассказывает по своему огромному кабинету:

— Ничего не понимаю. Или я стар стал, или мир с ума сошел! Представляю себе так: я — спаси Господь (и Витте крестится широким крестом), — умер. Ну, меня похоронили. Вдруг приходят и стучат в крышку гроба: граф, вставайте.

— В чем дело? — спросил бы я.

— Война.

— Как война, у кого с кем?

Между Англией и Германией.

— Ну, — подумал бы я, — давно пора. Без войны это кончиться не могло.

— Франция вошла в войну.

— Вот, подумал бы я, сумасшедшие, до чего темперамент довел. Все не могут не думать о реванше. Дорого за это заплатят.

— Россия вошла в войну.

— Как Россия? Причем тут Россия, из-за чего России воевать с Германией?

— Из-за Сербии и Польши.

— Сербия? Бог с ней, из-за этой чепухи мы воевать не стали бы, а Польша? Неужели наши болваны пошли на войну для того, чтобы уничтожить, наконец, Польшу?

— Нет, граф, для восстановления Польши. Россия объявила, что воюет, чтобы освободить поляков.

— Кладите меня немедленно обратно в могилу! В таком бедламе жить не хочу...

Очень скоро после этого разговора граф С.Ю.Витте действительно скончался.

* * *

В другой раз на тему о войне:

— Все, как в угаре... Разве отдают себе отчет, что значит вести такую войну? Вот вы, у кого шьете себе ботинки?

— У Ситнова, — отвечаю, оторопев от неожиданности вопроса.

— Сколько платите?

— Двенадцать рублей.

— Будете платить 20, 40, 80, 200. Вот тогда поймете, что значит эта война. Есть у вас золотой десятирублевик?

Роюсь в кошельке:

— Нет, граф. Но есть пятирублевик.

— Давайте его сюда.

Взял в руку и передает мне обратно со словами:

— Смотрите, смотрите на него внимательно: больше никогда не увидите! Вот что значит эта война...

Он же, по поводу закона о немецких предприятиях:

— "Они" уговаривают меня: граф, признайте, что дважды два пять. Ненадолго признайте, только на время войны. А потом дважды два опять будет четыре.

— Нет, — отвечаю, — никак согласиться не могу. Если на время войны признаю, что дважды два пять, то после войны дважды два будут сапогами всмятку...

* * *

Из маленьких слабостей Витте: он стеснялся своего незначительного происхождения. И при всяком подходящем случае любил говорить, что его родной дядя — известный генерал Фадеев, а главное, что с материнской стороны он связан с семьей Долгоруких. Целая стена в его кабинете была увешана портретами князей Долгоруких.

Об этих своих "предках" он мог говорить часами, и нельзя было доставить ему большего удовольствия, как спросить, в каком он родстве с Михаилом Черниговским (из Долгоруких), умученным в Орде.

Витте немедленно устремлялся к портретной стене и начинал с увлечением объяснять генеалогию Долгоруких.

* * *

За столом Витте ел довольно непринужденно, нет-нет, да и поможет себе пальцами. Вспомнив, с испугом взглянет на графиню Матильду Ивановну: та этого терпеть не могла и, если

замечала "непринужденность" С.Ю., смотрела на него строго-престрого. Взгляд ее выражал:

— Граф, ешь по-графски.

П.Л.Барк рассказывал мне о маленьком случае, характеризующем эту "непринужденность" Витте. У него был парадный завтрак с представителями дипломатического корпуса. Подали цыплят. Витте уплетал цыпленка и для удобства держал цыплячью ножку в руке. Он увлекся захватившей его темой и горячо что-то доказывал, размахивая цыпленком. Лакей, менявший в эту минуту тарелки, унес пустую тарелку Витте.

Кончив горячую речь, Витте с торжеством оглядел окружающих и хотел было положить обглоданную косточку на тарелку, — а тарелки нет. Не смутившись ни на секунду, он швырнул косточку под стол и как ни в чем не бывало продолжал беседу...

* * *

Витте не любил просьб. В хорошем настроении он сам шутил над этим своим свойством:

— Когда у меня просят содействия, я прежде всего даю сочувствие...

МАЙРОН ГЭРРИК

Майрон Гэррик — изумительно колоритная фигура. По одному его облику воссоздаешь целую эпоху американской жизни. Он был характерным и блистательным образцом того поколения американцев, которое создало величие американской демократии и величие ее делового гения.

Будучи американским послом во Франции, он являлся послом лучших и благороднейших черт своего народа.

Нас познакомил великий князь Александр Михайлович. Характерна была и эта дружба, между старейшиной дома Романовых и сыном американского фермера. Связывало их что-то глубоко аристократическое, в лучшем смысле этого понятия, свойственного им обоим.

Я познакомился с ним на склоне его дней, ему было уже под восемьдесят. Высокого роста, коренастый, выразительное благородное лицо, лоб мыслителя и львиный облик, — весь он был образцом той старости, к которой идут "душистые седьмы".

Редкое чувство достоинства, пуританская чистота духа и глубочайший демократизм соединялись в нем с мудрым знанием жизни.

Он понимал и ценил русских.

— В вашей культуре заложена цель: свобода духа. Вы никогда не лицемеры.

Так легко представить себе Гэррика другом Льва Толстова, Кропоткина, Герцена, Короленко...

После бурного заседания Палаты Пуанкаре подходит к Гэррику:

— Ну что, дорогой посол? Что скажет ваша Америка о моей сегодняшней речи?

— Милый Пуанкаре, все, кто прочтут ее, будут в восторге...

И после паузы:

— Но не забудьте, что в Нью-Йорке ее прочтет только часть газетчиков в редакциях газет. Ваше имя знает довольно много народу, но уже за Нью-Йорком надо объяснять, кто вы такой, а дальше на Запад само имя Франции вызывает довольно смутное представление...

* * *

Банкет в Кливленде, в честь заезжего русского гостя. Собрались все нотабли города. Майрон Гэррик председательствует и рассказывает во вступительном слове о полузабытом историческом факте из эпохи войны Севера с Югом, когда император Александр II нарушил нейтралитет и, решив в пику Англии выразить симпатии северянам, в критический момент борьбы приказал русской эскадре направиться в Сан Франциско.

Надо было слышать, как Майрон Гэррик напомнил об этом.

— Господа, я хочу вам рассказать о небольшом эпизоде моего далекого детства, когда я впервые услышал слово "рус-

ские". Было это шестьдесят пять лет назад. Я был ребенком лет семи и помню, как мать моя, сидевшая в глубоком кресле с газетой, вдруг вскрикнула: "Майрон, Майрон, мы спасены", — и обливаясь слезами, кинулась целовать меня.

— Мы спасены, русские идут нам на помощь!

— Кто такие русские? — спросил я.

— Это великий народ, они идут нам на помощь.

И на всю жизнь у меня со словом "русский" связалось благородное воспоминание о спасении, о помощи американскому народу...

СКЕТЧ В ЖИЗНИ

В.М.Дорошевич рассказывал сюжет задуманного им драматического скетча "Двое пожарных":

— Первый акт. В уютной гостиной играют в бридж. Звонок. Входит некий господин. Благообразная седина, мечтательные голубые глаза, в бороде соломинки.

— Господа, — слегка заикаясь заявляет вошедший. — Я пришел предупредить вас о важном событии: у вас в квартире пожар.

Вошедший садится в кресло с чувством исполненного долга. Гости и хозяин вскакивают, бросаются во все комнаты, ищут, нюхают воздух: никакого пожара нет.

Вошедшего довольно невежливо выпроваживают, он спокойно уходит.

Второй акт. Успокоившиеся бриджисты продолжают игру, забыв о странном визитере. Вдруг один из игроков кричит: "Господа, пахнет гарью!" Все бросаются кто куда. В кухне, верно, пожар. Переполох. Общими усилиями тушат пожар. Испачканные, пережившие ужас, партнеры опять садятся за игру и понемногу забывают о происшедшем.

Вдруг звонок. В комнату входит чинно одетый господин и уравновешенным, убежденным, уверенным голосом сообщает:

— Господа, я пришел вас предупредить, у вас в квартире пожар.

Пришедшего тоже вежливо выпроваживают.

Первый, сказавший о пожаре за пять минут до того, как он вспыхнул, — П.Б.Струве. Второй, "предсказавший" пожар через пять минут после того, как он был погашен, — П.Н.Милюков. Оба остались современниками не понятыми.

ГУЧКОВ — ТЕРРОРИСТ

А.И.Гучков рассказывал о себе:

"Мою политическую жизнь я начал с подготовки террористического акта. Мне было 12-13 лет.

Все вокруг кипело от сознания национального унижения из-за украденных англичанами плодов русско-турецкой войны. После Сан-Стефано — позор Берлинского конгресса, английский флот в Босфоре и простертая рука лорда Биконсфильда-Дизраэли, заставившая повернуть наши победоносные войска.

С молодым пылом я решил, что национальный позор можно смыть только кровью Биконсфильда. Я купил револьвер на те карманные деньги, которые мне давал отец, и в укромных местах стал учиться стрелять в цель. Всякими путями копил деньги на побег и на поездку в Англию. О самом убийстве я думал мало, оно, казалось мне, произойдет само собой.

Я твердо решил, что во имя чести России Дизраэли должен быть убит. Но не только об этом мечталось мне. О чем я мечтал бессонными ночами, что заставляло биться мое детское сердце, вызывало горячие слезы, — это радостные мысли о моей казни: вот я осужден, я на эшафоте, умираю прекрасной смертью за родину, я — счастливейший человек из смертных...

План мой я имел неосторожность рассказать брату, брат сказал отцу. Произошла экзекуция, мой план рухнул. Но до конца дней я сохраняю память о моих мыслях о красивой смерти.

Отголоски чувства ненависти к англичанам надолго остались в моей душе, и если я добровольцем пошел сражаться в рядах буров, то и это было не без влияния моих детских переживаний.

Прошли годы. Во главе думской делегации я оказался гос-

тем английского парламента, мы посетили Вестминстерское аббатство. Невольно я задержался на секунду у статуи Биконсфильда, думая:

— А ты мог погибнуть от моей руки!

М.М.КОВАЛЕВСКИЙ

М.М.Ковалевский был одной из колоритнейших фигур потонувшего мира. Русский барин, помещик, типичный интеллигент, любитель острого слова и каламбура, превосходный рассказчик, профессорская голова, начиненная невероятным количеством знаний, по иным вопросам — ходячий университет, по эпохе английского короля Георга III и Звездной палаты — непревзойденный авторитет. Любитель женского общества, женственности в тургеневском духе, он был в отношении женщин старомодным рыцарем: ни слова лишнего, ни шуточки фривольной. В этом вопросе он был невероятно застенчив. При любимой женщине, должно быть, немел.

Профессор Иванюков, близкий его друг, рассказывал про него историю, которая, возможно, была трагедией его жизни. В юности он любил одну девушку — Екатерину Павловну Леткову, впоследствии она вышла замуж за Султанова, директора Института гражданских инженеров. И Леткова, женщина тоже незаурядная, увлеклась М.М. Ковалевским. Но, в соответствии с той эпохой, в какой оба они жили, между ними не было произнесено нужных слов. Они проводили время в спорах о "меньшем брате" и "общем благе" и не рискнули объяснить по личному вопросу. И прошли они, как это часто бывает в жизни, мимо счастья.

М.М.Ковалевский остался холостяком. Последние десять-двадцать лет своей жизни он отдал случайной итальянке — продавщице цветов Джоржетте, которую он встретил где-то в Италии. Долго жил с ней в Болье, около Ниццы, затем привез в Россию. Джоржетта, типичная сицилианка, истово суеверная католичка, по-своему любила Максима Максимовича. Она немного научилась по-русски и с комичным пиететом относилась к учености "Максимума", как называла его.

— Максимум покупает книжки, а я шляпку, — зачем столько книжки?

Единственная книжка, которую она считала достойной покупки, был молитвенник, одобренный кюре. Ковалевский был либр-пансером, иронически относившимся ко всякой церковности. У него в квартире, заставленной научными книгами, резким диссонансом казалась комнатка Джорджетты, сверху донизу заполненная иконами, священными амулетами, предметами религиозного культа.

Умирал Ковалевский от мучительной болезни. Последние часы у него сидел его ученик Питирим Сорокин и по просьбе умирающего друга прочел ему Лермонтова "По небу полуночи ангел летел". И когда он кончил:

И песен небес заменить
не могли
Ей скучные песни земли,..

Максим Максимович слабым голосом прошептал: "А как еще этих скучных песен хотелось бы послушать!"

Перед самой смертью он неожиданно для всех велел позвать местного православного батюшку и причастился. Это произвело большой переполох в радикальных кругах. Зато бедная Джорджетта была счастлива: ее "Максимум" примирился с Богом.

В.Л.БУРЦЕВ

Бурцев разоблачал провокаторов, а потом кормил их...

С беспощадностью Катона готов он был "пригвоздить их к столбу", а затем, по доброте своего сердца, входил в положение разоблаченных, лишившихся благодаря ему куска горького хлеба, и начинал заботиться о их судьбе: бегал собирать гроши, хлопотал о бумагах, выкупал их чеки без покрытия и т.д.

У него создавался своеобразный питомник своих собственных провокаторов и предателей, обожавших своего грозного разоблачителя и покровителя.

Бурцев — русский тип революционера-аскета. У него было "одно виденье, не постижимое уму", виденье русской свободы, и этой Прекрасной Даме он отдавал себя целиком. Аскетизм пронизывал всю его жизнь, весь его быт.

Но и в его душе был уголок, где сосредоточивались все соблазны мира, вся чувственная слабость земли, все, в чем он отказывал себе. Это — Пушкин.

Пушкина Бурцев любил не только как пушкинист, он обожал его как человека. Он изучал малейшие детали его биографии, наслаждался всем его "приятием мира", любовно останавливался на всех его грехах. Обожал незаурядную пушкинскую активность по "донжуанскому списку" и даже по страсти его к картам. В Пушкине Бурцев благословил весь грех мира сего.

О РАСПУТИНЕ

Лицо, имевшее случай видеть близко Распутина, так говорило мне:

— Первое впечатление — его легкость, воздушность, все время кажется, что ветер гуляет по комнате. Походка быстрая, летящая, руки подвижные, весь легкий и веселый. Что-то в нем было от "камаринского мужика".

С ним сразу чувствовалось свободно, он как будто бы снимал заботы и тяготы. Сама его замысловатая, образная речь не утомляла, а поражала певучей легкостью:

— Мила-а-а-й! Ты чего грустишь, аль грех мучает? А ты о грехе не думай. Согрешил и забудь, — и нет греха... А то грех поставишь перед собой, смотришься в него, как в зеркало, оторваться не можешь! Только о грехе и думаешь! Вот это и есть грех!..

Молодая женщина, очень симпатичная, переживала тяжелую личную драму: отступилась от своих принципов, совершила грех, помышляла о самоубийстве. Подруга уговорила ее пойти к Распутину. Рассказ после посещения "старца":

— Твой грех, и великий грех, — что ты думаешь о грехе. Все забыла, только грех помнишь, оторваться от него не мо-

жешь. А это и есть великий грех. Дьявол не наладится. А ты забудь, заставь себя не думать о грехе. Бог и возрадуется. Жить будешь...

От Распутина основное впечатление — легкость, это мне и другие говорили. Движения почти танцующие. Весь ветром подбит, что-то воздушное. Только глаза становились минута-ми свинцовыми и тяжелыми.

НАШИ ГУЛЛИВЕРЫ

Великий князь Александр Михайлович рассказывал о своей поездке в Америку, когда во главе крейсерского отряда он ездил по поручению Государя благодарить американцев за помощь в голодный год. С великим князем был его любимый вестовой Карабасов, в первый раз в жизни попавший за границу.

Прошло две-три недели. Великий князь как-то утром спрашивает Карабасова:

— Ну что, нравится тебе Америка?

— Ничего себе, ваше императорское высочество, жить можно, хотя и трудно.

— Почему трудно?

— Да слободы мало, ваше императорское высочество. У нас куда свободнее.

Вот это "слободы мало" было чувством большей части наших эмигрантов в первые годы их вынужденной жизни во Франции. "Сантимники", "духовные рабы", "без полета" и тому подобные выражения так и сыпались из уст новоявленных Гулливеров, попавших в страну лилипутов.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Через несколько недель после смерти Л.Н.Толстого. Графиня Софья Андреевна, у своей сестры Кузминской, недобрым голосом говорит журналисту:

— Газеты все путают. Говорят неправду. Пишут, что в семье его называли "Левушка". Неправда! Никогда он не был "Левушкой". Всегда был "Левочкой".

* * *

Со слов Ильи Львовича Толстого:

— Мне было лет одиннадцать. Отец брал меня по утрам купаться. Ехал верхом, сажал меня на лошадь перед собой.

Несколько дней перед тем был он молчалив. Но в то утро, просветлевший, веселый, только что мы уселись на лошадь, смеясь сказал мне:

— А я нашел... нашел, как "она" вошла.

Кто "она" — все в доме знали. Толстой писал тогда "Анну Каренину", "она" была одна-единственная — Анна Каренина.

Толстой долго не находил образа: как вошла она к мужу для знаменитого разговора о разводе.

В то утро он нашел.

* * *

Поэт Леонид Семенов, внук члена Государственного Совета Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского. Блестяще одаренный юноша, в университете был учеником профессора Никольского, держался правых убеждений.

В начале русско-японской войны участвовал в патриотических манифестациях перед Зимним дворцом. Но гапоновское выступление и 1905 год подействовали на него потрясающе. Примкнул с С.-Д., изучил Маркса, быстро остыл, кинулся к социалистам-революционерам.

В 1906 или 1907 году Леонид Семенов попал в Ясную Поляну. Об этом посещении он рассказывал так: пришел к дому и стал "под деревом" ждать выхода Льва Николаевича.

Толстой вышел, остановился и спросил:

— Вы ко мне?

— Да.

— Кто вы?

— Я — революционер.

Толстой так и вскинулся:

— Революционеры дурные люди, нам не о чем говорить, — и быстро ушел.

Семенов продолжал стоять. Прошло два часа. Полил дождь. Семенов все стоит.

Толстой возвращается.

— Вы все еще стоите? Чего вы хотите?

— Хочу с вами поговорить.

Толстой ввел его к себе. Беседа продолжалась несколько часов. Семенов остался в Ясной Поляне и потом не раз возвращался туда. С Толстым у него создались необыкновенные отношения. Толстой привязался к нему и полюбил его.

И.Я.Гинзбург (скульптор) рассказывал, что, упомянув однажды о Семенове, Толстой со слезами на глазах (в последние годы жизни, волнуясь, он часто плакал) говорил о "своем Леониде".

Семенов весь ушел в толстовство. Поселился в деревне, опростился, отдал себя на служение окрестному крестьянству.

Но крестьяне не отвечали ему взаимностью. При каком-то аграрном волнении один из местных мужиков подкрался верою к избе Леонида Семенова и застрелил его из ружья...

А.А.БЛОК

Внешне Блок, как все. Он избегал подчеркивать внешностью исключительность поэта. Поражала в нем красота: он был очень красив, что-то от античного бога.

Поражала и честность мысли: он говорил медленно, подыскивая слова, которые точно определили бы его мысль. Поэту часто во время речи заикался, для слушателей это косноязычие всегда было мучительным.

"Тайна" в нем ощущалась. Всегда казалось, что он весь впереди и о главном еще ничего не сказал.

* * *

Блок задумчиво:

— Я потому Россию чувствую хорошо, что во мне много немецкой крови. Только нерусский чувствует Россию вполне.

* * *

После очень бурной ночи, в трактире на углу Садовой и Гороховой:

— Дышать тяжело. Не пройдет и восьми лет, как разразится гроза...

Было это в 1910 или 1911 году.

* * *

Его слова о Мережковском и Гиппиус:

Через них надо пройти — без этого нельзя, но оставаться там не следует...

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Вместе с великим князем я летел в Нью-Йорк продавать издателю рукопись только что законченной Александром Михайловичем книги. В рукописи она называлась "Когда я был Великим Князем."

Прилетели. Сговорились о свидании, предварительно обсудили цену книги.

— Попросим пять тысяч долларов, — предложил я.

— Не дороговато ли? Может не дать, а торговаться неудобно.

— Попытаемся. Предоставьте мне. Я же ваш импрессарио.

Магнат действительно счел цену слишком большой, но не торговался, сказав, что ознакомится с рукописью и тогда скажет, сколько сможет заплатить, попросил зайти через неделю.

Через неделю только зашли в кабинет издателя, тот прежде даже чем с нами поздороваться, протянул великому князю чек на... пятнадцать тысяч долларов! Видя наше замешательство, сказал:

— Я дал прочесть вашу книгу моей горничной, и она две ночи не спала, не могла оторваться. Если так было с моей горничной, так будет и со всей Америкой!

* * *

Я сделал предложение великому князю продать императору Абиссинии (православному христианину) "ключи от Гроба Господня". "Ключи", то есть соответствующая грамота, по традиции хранилась русским императором, а после революции и убийства царской семьи оказалась у Александра Михайловича, одного из ближайших родственников убитого государя. (Каким образом — не знаю).

Сговорились и поехали. Сколько просить за "ключи" — вопрос не поднимался. Всем было известно, что Негус — один из самых богатых африканских властителей, поэтому сам предложит и, конечно, не обидит. Приехали, добились аудиенции и явились на оную за четверть часа до срока. Царедворцы уже все знали и провели нас в тронный зал, где еще никого не было. Сели, конечно, в первом ряду кресел. Минут через десять из одной из боковых дверей, что находились по двум сторонам от трона, медленно и степенно вошли два великолепных льва и уселись по обе стороны трона. Я буквально окаменел от страха, хотя звери не обращали на меня никакого внимания и выглядели, в общем, добродушно.

Наконец, в точно уговоренный час явился и сам император. Уже не помню порядка церемонии, лишь смутно — благодарность "царя царей" (официальный титул Негуса). Она была следующего содержания: оценить такой подарок невозможно, но, конечно, "великий князь получит вознаграждение, хоть в какой-то небольшой мере соответствующее исключительному значению дара".

Полные планов и надежд, мы вернулись в отель. Не помню уже, спали ли или не спали от волнения и надежд, но утром, стоя у окна, увидели, как во двор отеля вводят множество ослов с грузом. Когда их разгрузили, весь двор был полон тяжелых мешков... соли. Выяснилось, что в Абиссинии соль очень дорога, и Негус думал действительно "по-царски" отблагодарить за подарок!

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД СУДЬБА СОВЕТСКИХ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ»

ЭТО КНИГА О ПОБЕГЕ НА ЗАПАД ВИДНЫХ СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ, ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ И ДИПЛОМАТОВ (ИГНАТИЯ РЕЙССА, ВАЛЬТЕРА КРИВИЦКОГО, ГРИГОРИЯ БЕСЕДОВСКОГО, ГЕОРГИЯ АГАБЕКОВА. АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА, БОРИСА БАЖАНОВА И ДР.), О ИХ СТРЕМЛЕНИИ ОТКРЫТЬ ЗАПАДУ ГЛАЗА НА СТАЛИНСКУЮ РОССИЮ, О ИХ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЗАПАДНЫМИ РАЗВЕДКАМИ, О ПРОИСКАХ СОВЕТСКОЙ АГЕНТУРЫ В ЕВРОПЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.

КНИГА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ЗЛОВЕЩАЯ ТЕНЬ РАСПРАВЫ НЕОТСТУПНО ПРЕСЛЕДУЕТ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ПЕРЕБЕЖЧИКА. РАНО ИЛИ ПОЗДНО РУКА СОВЕТСКОЙ ПОЛИЦИИ НАСТИГАЕТ ОДНИХ, И ПЕРЕД ВЕЧНОЙ УГРОЗОЙ РАСПРАВЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ЖИЗНИ ЖИВУТ ДРУГИЕ.

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД — ИЗВЕСТНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ — ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЮ ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНУЮ, УНИКАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОБРАННУЮ ИМ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД КНИГОЙ.

КНИГА ПЕРЕЖИЛА НЕСКОЛЬКО ИЗДАНИЙ, ПЕРЕВЕДЕНА НА МНОГИЕ ЯЗЫКИ МИРА

Цена книги - 15 долларов.

Заказы и чеки высылать по адресу:

"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
LEONIA, NJ 07605, USA
Tel.: (201)592-6155

МАСТЕРСТВО И ВКУС ХУДОЖНИЦЫ

Мы живем в стране, где любая дискриминация по признаку пола карается законом. Однако следует признать, что мы живем в стране противоречий: совсем недавно в Вашингтоне открылся музей, где выставляются только художники-женщины. Что это? Дискриминация "наоборот" или тихое признание того факта, что в любом классическом американском музее не встретишь более 2-3 женских имен?

Русская живописная традиция в этом смысле не так уж отлична от американской. Эрудит, правда, без труда назовет вам Серебрякову-Гончарову, Остроумову-Лебедеву... , но на этом список, если и не иссякнет, то, наверняка, зациклится.

Вот так и родилась у меня идея рассказать о ленинградской художнице — Наталье Копелян.

Помнится, в 1976 году на выставке в помещении Ленинградского Художественного Фонда (на Охтинской набережной) мое внимание привлекли пластичные и выразительные "поющие фигурки" из белого фарфора, в которых сочетались внешняя простота, изысканность и какая-то подкупающая недосказанность. Но самое интересное было то, что рядом с этими "ювелирными" фигурками я увидел большую настенную композицию из довольно грубого шамота, принадлежавшую той же художнице. Это и были впервые увиденные мной работы Натальи Копелян: уже тогда диапазон художницы не мог не обратить на себя внимания.

Как же складывалась ее жизнь, ее путь в искусстве?

В 1970 году закончила с медалью Мухинское училище по отделению "Архитектурная керамика и стекло". Номер "пять", стоящий на ее ме-

дали, говорит сам за себя: не так уж много выпускников удостоилось этой награды. Дипломная работа молодой художницы была послана на международный конкурс в Милан, где выставлялись работы питомцев художественных училищ со всех концов мира. Следующим этапом было участие в международной выставке, на сей раз в Вильнюсе, где происходил интернациональный симпозиум по керамике.

Приехав в Америку, художница уже через несколько месяцев показывала свои миниатюрные керамические фигурки в Сохо, в галерее "Art wear". По словам Натальи Копелян, владелец галереи дал ей необычайно практичный совет: "Вы должны отлить их из золота. Эти вещи пойдут нарасхват в качестве ювелирных украшений!" (Совет был к тому же и на редкость своевременным: автор в те дни "сидел на пособии" и едва сводил концы с концами).

Но, если всерьез, то для настоящего художника ценность материала не играет никакой роли: уже через год Наталья Копелян создает серию деревянных скульптур — "Игрушки для взрослых" — в которой, кстати, прослеживается влияние конструктивистов 20-х годов.

А в 1982 году художница получает первую премию на конкурсе художников штата Нью-Джерси, за холст — "\$ 1.99" Странное, на первый взгляд, название объясняется просто: это одинаковая цена плода манго и томика В.Набоквова, изображенных на натюрморте.

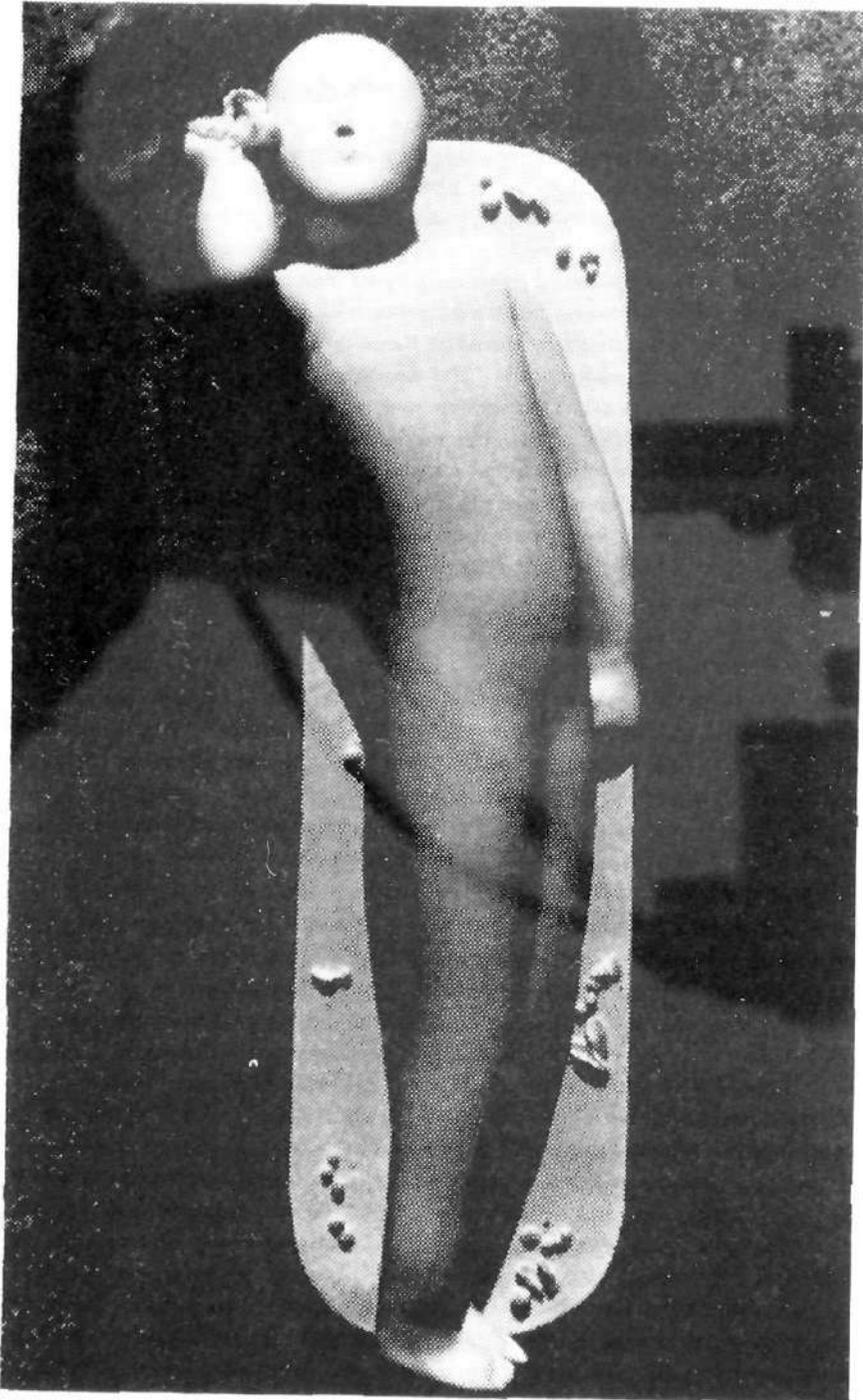
Связь со старой европейской традицией подчеркивается портретом на заднем фоне, выполненном в манере "маленьких голландцев".

Наталья Копелян не стремится просто имитировать мастеров прошлого. Во многом у нее свой собственный подход, основанный на использовании приема "tromp l'oeil" ("обмана зрения") — приема, который мы видим не только в работах крупнейших европейских мастеров, но и в живописи русских крепостных художников, а позднее ставшего очень популярным в Америке. Художница привлекает наше внимание к самым обыденным вещам, создавая при этом иллюзию абсолютной естественности деталей (в первую секунду, например, кажется, что наклейки с ценой просто приклеены на поверхность картины).

Наталья Копелян работает трудно, пишет картины очень медленно, что, естественно, не способствует коммерческому успеху. К тому же разносторонность увлечений (керамика, живопись, скульптура, костюмы для балета, графика) мешает художнице сосредоточиться на чем-то одном, но в то же время каждый ее новый холст, рисунок или скульптура несут печать индивидуальности, мастерства и вкуса.

Недавно Фонд Джеральдины Додж-Рокфеллер приобрел большое полотно художницы. И кто знает, возможно, в ближайшем будущем многие из ее работ найдут дорогу в частные собрания и музеи, и будут по достоинству оценены без скидок на "женское искусство".

А.ЩЕДРИНСКИЙ



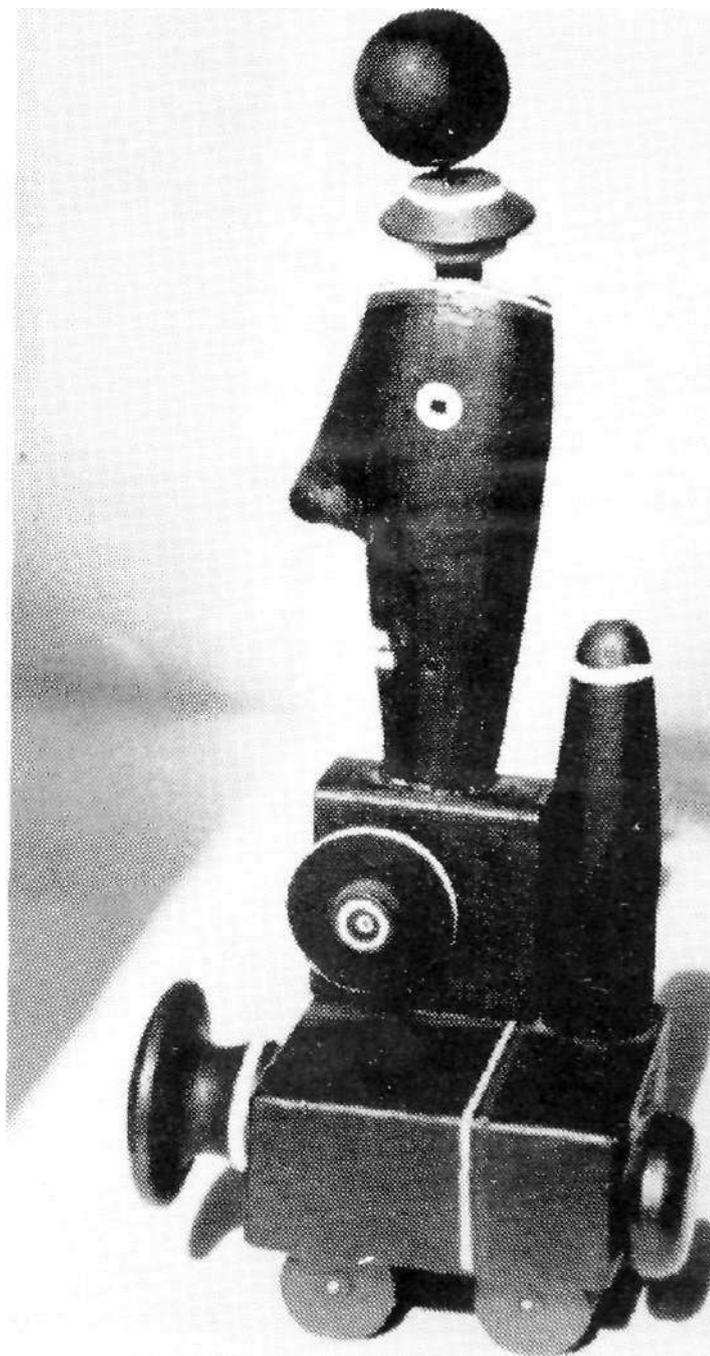
Песня раковины. Фарфор.



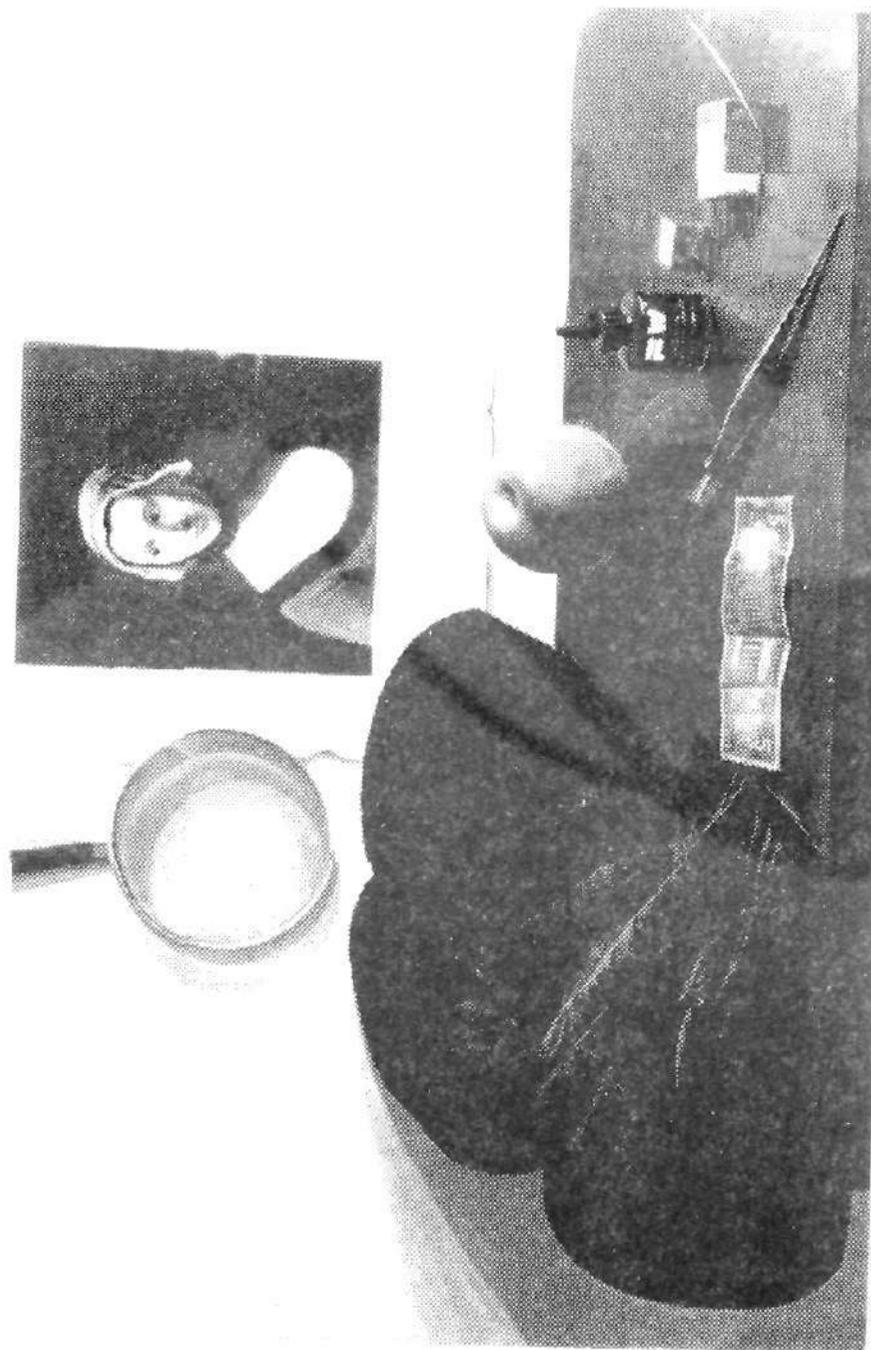
Голубой всадник. Каменная масса.



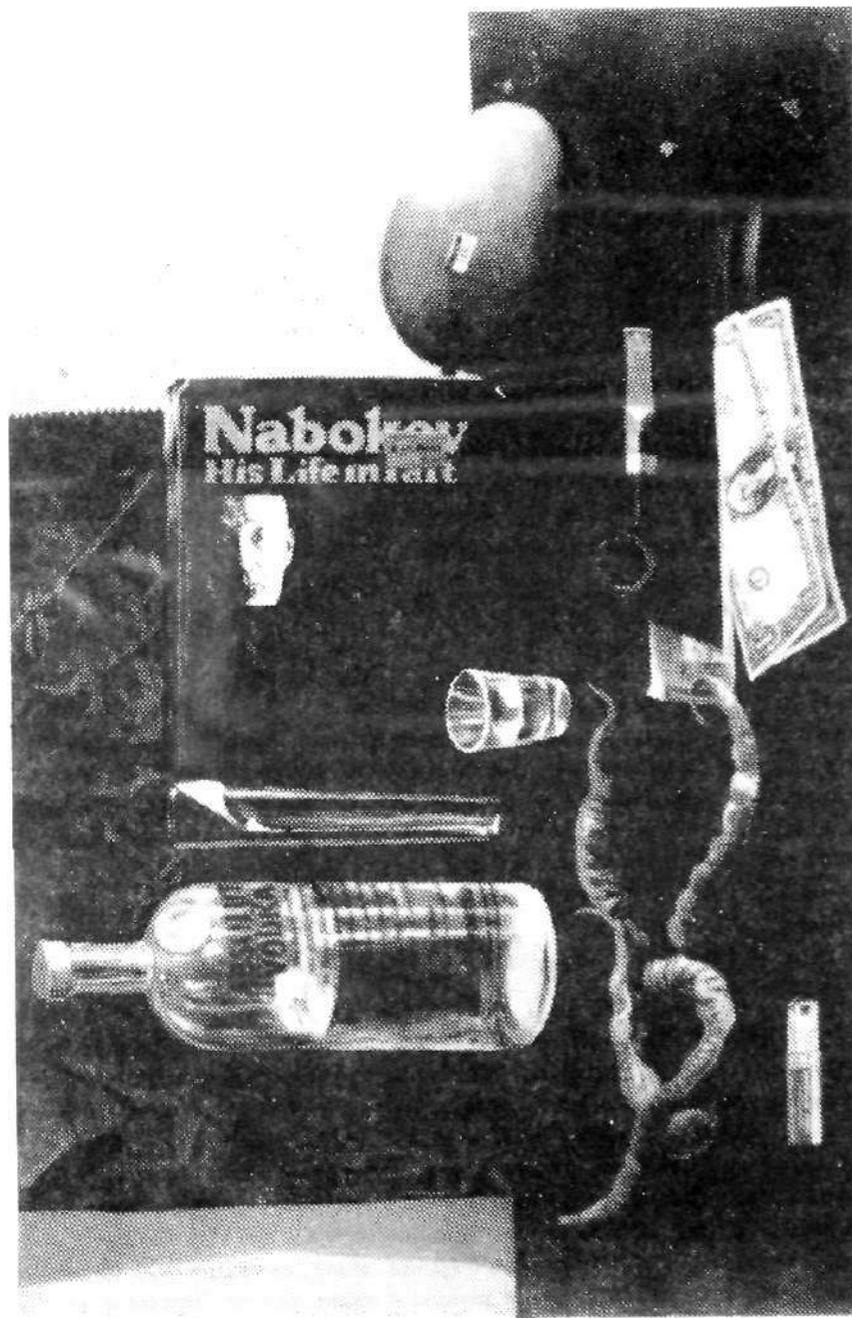
Богиня плодородия. Терракота



Жди меня. Дерево.



Зеленое яблоко и пятидолларовая купюра. Акрилик.



“Доллар девяносто девять”. Акрилик

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ГЕНРИ МИЛЛЕР — см. предисловие Нормана Мейлера к его роману "Тропик рака".

ДАВИД ФРИДМАН — родился в 1898 году, в Трансильвании, в семье небогатого еврейско-румынского журналиста. Ребенком вместе с родителями эмигрировал в Соединенные Штаты. В 16 лет стал английским редактором газеты "Джуиш дейли ньюс", издававшейся в Нью-Йорке. В 1918 году окончил городской колледж. В 1919 — получил степень магистра философии в Колумбийском университете. Используя свой жизненный опыт в еврейском районе Ист-Сайда, Давид Фридман опубликовал в 1922 г. первую часть своего романа "Мендель Маранц", который, собственно, и стал книгой его жизни. Кроме этого им написаны несколько пьес и скетчей для нью-йоркского радио. В соавторстве с другими писателями он издал несколько биографических книг, таких как "Моя жизнь в твоих руках" (1828 г.), "Фантом славы" (1931 г.), "Зигфрид, великий восхвалитель" (1934 г.). Умер в 1936 году.

АЛЬБЕРТ ЛЕИН — эмигрировал из СССР. Живет в Западном Берлине. Первая подборка стихов была напечатана в 92-м номере журнала "Время и мы".

ВАЛЕРИЙ ЧАЛИДЗЕ — родился в 1938 году. Окончил в 1965 году физический факультет Тбилисского университета, работал физиком в Институте пластмассы. С конца шестидесятых годов начинает активно участвовать в правозащитном движении. В 1968 году во время лекционной поездки В.Чалидзе в США власти СССР лишают его советского гражданства. В Соединенных Штатах совместно с Эдуардом Клейном он организует издательство "Хроника-Пресс", а также собственное издательство "Чалидзе-публикэйшен". Автор четырех книг, из которых наибольшую известность получила "Будущее России", Валерий Чалидзе — лауреат премии Мак-Артура.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ — эмигрировал из СССР в 1977 году. До эмиграции жил и работал в Москве. За выступления против цензуры и антисемитизма был исключен из Союза писателей и журналистов СССР. Совместно с женой Еленой Клепиковой создал независимое агентство печати, которое издавало бюллетень, распространяемый на Западе. В США Владимир Соловьев и Елена Клепикова работают для американских изданий. Они авторы книг: "Андропов" (изд-во Мак-Миллан) и "За высокой кремлевской стеной" (Додд, мид), переведенных на ряд иностранных языков. Последняя вышла в издательстве "Время и мы" на русском языке ("Борьба в Кремле: от Андропова до Горбачева"). Владимир Соловьев и Елена Клепикова систематически выступают в ведущих американских газетах.

МИХАИЛ ЛЕМХИН — прозаик и журналист. Родился в Ленинграде, в 1949 году. Окончил факультет журналистики ЛГУ. Эмигрировал в конце 1983 года, живет в Сан Франциско. Печатался в журналах "Континент", "Грани", "Стрелец", "Страна и мир", "7 дней"; в газетах "Русская мысль", "Новое Русское Слово", "Панорама", "Новая жизнь".

ЕВГЕНИЙ МАНИН — родился в 1936 году, в Риге. Окончил историко-филологический факультет в Тарту, по специальности истории Древнего Востока. Занимался археологическими изысканиями в Средней Азии, изучал еврейскую историю и культуру. В США эмигрировал в 1976 году. 1979 год провел в Израиле. В архивах хайфского музея изучал историю древнего искусства. В настоящее время работает переводчиком в одной из фирм Филадельфии.

АРКАДИЙ БЕЛИНКОВ — родился в Москве, в 1921 году. Окончил Литературный институт имени Горького, учился также в МГУ. Во время защиты дипломной работы был арестован и провел в сталинских тюрьмах и лагерях в общей сложности 13 лет. Из них 72 суток в ожидании исполнения смертного приговора. В СССР получил широкую известность благодаря книге "Юрий Тынянов" и распространявшейся в самиздате рукописи "Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша". В 1968 году, рискуя быть схваченным, бежал из СССР. Два года, проведенные на свободе, работал лектором Йельского университета и профессором Индианского университета. В 1972 году в альманахе "Новый колокол" была опубликована статья "Страна рабов, страна господ...", вызвавшая острую полемику по поводу оценки автором русской истории. Умер Аркадий Белинков в 1970 году, не успев осуществить многих своих творческих замыслов.

НАТАЛЬЯ БЕЛИНКОВА-ЯБЛОКОВА — родилась в Москве. Окончила МГУ и аспирантуру при литературном институте Союза писателей СССР. Диссертацию защитить не дали. Работала учительницей в школе, на кафедре классической литературы в Литинституте при СП СССР, литературным редактором журнала "Москва". В 1957 году вышла замуж за А.В.Белинкова. Эмигрировала в США в 1968 году в знак протеста против ресталинизации. На Западе работала лектором Йельского университета, выступала с лекциями и в других университетах США и Европы. Подготовила и издала книгу Аркадия Белинкова "Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша". В настоящее время преподает русский язык и литературу в Монтерее.

Summary for the 95th Issue of "Vremya i My" ("Time and we")

HENRY MILLER, "The Tropic of Cancer". (With a forword by Norman Mailer). Excerpts from the novel by the outstanding American author, published for the first time in Russian. The life in contemporary Paris, man, art, literature, love and sex.

DAVID FRIEDMAN, "Maendel Marantz". A humoristic story about the way of life in New York for emigres at the turn of the century . Conclusion, Part I, in No. 94.

VALERY CHALIDZE, "Democracy in Russia". In this article the author declares his optimism with Gorbachev's reforms, asserting that thanks to the reforms of the new Soviet leader the U.S.S.R. is on it's way to a broadening democracy.

Editorial Commentary, "So Far, Only Words". The editors argue with Chalidze, and express their views regarding the fact that there are no major structural changes towards democracy taking place in the Soviet Union.

VLADIMIR SOLOVYEV, "A Story of One Nastiness". A word about Anatoly Efros. Critical notes on the life and work of an outstanding Soviet director. A story about his persecution from the viewpoint of the authorities and official critics.

MIKHAIL LEMKHIN, "Who Are They, The Idols?" Using the development of rock music in contemporary Russia, the author discloses the role of the creative intelligencia in contemporary conditions, illustrating the great responsibility of those destined to be idols of the new generation of Soviet youth.

YEVGENI MANIN, "Paradoxes of the Jewish Ghetto". The author follows the role of the Jewish ghetto throughout all of Jewish history.

ARKAOI BELINKOV, "The Country of Slaves, The Country of Masters". A historical, critical essay about the Decembrist uprising, the repentance of the rebels, as a precursor to the repentance of the the oppositionists during Stalin's purges. The author seeks out from Russia's historical past explanations for many events in contemporary life.

NATALIA BELINKOVA-YABLOKOVA, "The Love and Hate of Arkadi Belinkov". A postscript about the life and struggle of an outstanding critic-dissident, who escaped to the West in 1968.

ARKADI RUMANOV, "Shading the Portraits of Vitte, Guchkov, Rasputin and Others". Memoirs of a famous Russian journalist at the start of this century.

Григорий СВИРСКИЙ ПРОРЫВ

Роман о судьбе эмиграции из СССР

Рецензент лондонской газеты "Таймс" Э.Литвинов так писал об английском издании романа Григория Свирского "Заложники" ("Кнопф", 1976 г.); "Горечь отверженности, разделенная многими советскими евреями, дает свой привкус каждой странице "Заложников". Похоже, что от расточительства такого патриотизма и такого таланта советское общество теряет гораздо больше, чем оно думает".

Джон Эриксон в "Сэнди Таймс": "Описание этого соединения жестокости, шовинизма и антисемитизма... как санкционированного состояния умов оставляет неизгладимое впечатление".

В новом романе "Прорыв" Свирский остается верен себе и своему таланту. Главные действующие лица — люди, чья судьба поставила перед моральной дилеммой: остаться жертвами, покорно принимающими советскую действительность, или вступить в отчаянную борьбу за право эмиграции. Суды за изучение иврита, "Самолетный процесс", "Письмо 39-ти", травля еврейских активистов — вся документальная канва еврейской эмиграции сохранена автором в романе.

Но не менее драматичными оказываются и главы, посвященные жизни героев в Израиле и на Западе. Неизбежная идеализация "земли обетованной", придававшая им силы в неравной борьбе, оказалась для многих источником мучительных разочарований при столкновении с реальностью. Чудовищная этническая и культурная чересполосица в молодом государстве, окруженность врагами, ограниченность природных ресурсов, приливы и отливы эмиграции, бескорыстный энтузиазм и цепкая коррупция — все дано автором через реальные человеческие драмы, через судьбы героев.

"Прорыв" — многоплановая эпопея, созданная пером мастера, яркое историческое полотно, посвященное одному из самых драматичных эпизодов новейшей истории: "исходу" сотен тысяч евреев (а затем и неевреев) из России на Запад.

Цена книги (560 стр.) — 18 долларов. Заказы и чеки высылать по адресу:

Hermitage Publishers of New Russian Books
2269 Shadowood Dr., Ann Arbor, MI 48104

ДОРА ШТУРМАН

"НАШ НОВЫЙ МИР"

Теория. Эксперимент. Результат.

Рукопись книги, циркулировавшая в Самиздате сначала 1970-х гг., была нелегально вывезена из СССР. Автор, выехавший вслед, издал ее в 1981 году, дополнив (спустя десять лет) новыми фактами и статистическими данными, которые убедительно показали достоверность "подпольного анализа". Новое издание расширено и дополнено материалами 1980-х гг., еще более четко подтвердившими первоначальные прогнозы.

Объем книги — 460 страниц. Цена — 15 долларов (в Израиле — 20 шекелей). Пересылка: в Израиле — 1,4 шек.; в Европу и США морской почтой — 1,7 долл.; авиапочтой: в Европу — 2,5 долл., в США — 3,5 долл. Книгу можно получить, отправив чек по адресу: S. Tictin, 422/6 Mizrakh Talpiot, Jerusalem 93802, Israel, Tel. 02/721633

Д. ШТУРМАН и С. ТИКТИН

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

В ЗЕРКАЛЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО АНЕКДОТА

Предварительная подписка на издание второе исправленное и дополненное

Цена книги — 21 доллар. Для подписчиков цена, включая доставку заказной бандеролью морем — 16 долл, авиапочтой — 17,5 долл. Некоторое повышение стоимости книги вызвано увеличением ее объема, в основном, за счет НОВЫХ анекдотов, богатых событиями 1985-1986 гг.

Чеки посылать по адресу:

S. Tictin, 422/6 Mizrakh Talpiot. Jerusalem 93802, Israel
Просьба к подписчикам сообщать свой подробный адрес.

КНИГА ВЫЙДЕТ В ТЕЧЕНИЕ 1987 ГОДА

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "АНТИКВАРИАТ"

- И. АКСЕНОВ. Пикассо и окрестности. — 12 долларов.
 М. БАХТИН. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса. — 36 долларов.
 А. БЕЛЫЙ. Христос воскрес. — 5 долларов.
 К. ВАГИНОВ. Труды и дни Свистонова. — 10 долларов.
 Е. ДУМБАДЗЕ. На службе Чека и Коминтерна. — 10 долларов.
 П.П. ЗАВАРЗИН. Работа тайной полиции. — 10 долларов.
 А. КОТОМКИН. О чехословацких легионерах в Сибири. — 10 долларов.
 П.И. КРУПЕНСКИЙ. Тайна императора. — 7 долларов.
 В.И. ЛЕБЕДЕВ. Борьба русской демократии против большевиков. — 12 долларов.
 Н. РЕЗНИКОВА. Пушкин и Соборная. — 5 долларов.
 А. РЕМИЗОВ. Пляс Иродиады. — 12 долларов.
 И. СЕВЕРЯНИН. Колокола собора чувств. — 5 долларов.
 В. ШКЛОВСКИЙ. Ход коня. — 12 долларов.
 В. ШКЛОВСКИЙ. Гамбургский счет. — 15 долларов.
 В. ШКЛОВСКИЙ. Сентиментальное путешествие. — 20 долларов.
 В. ШКЛОВСКИЙ. Техника писательского ремесла. — 10 долларов.
 Э. и О. ШТЕЙН (составители). Чтобы Польша была Польшей. — 9 долларов.

Готовится к печати:

В. КРЕЙД (составитель и автор комментариев). Георгий Иванов — Несобранное. Ориентировочная цена — 25 долларов.

Деньги и чеки присылать по адресу:

E.SZTEIN'S ANTIQUARY

594 Chestnut Ridge Rd.

Orange, CT 06477, USA.



панорама

The largest independent
American Russian publication

крупнейшее независимое еженедельное издание
на русском языке

Издается с 1980 года в Лос-Анджелесе
Главный редактор А. Половец
ПОСТОЯННЫЕ РУБРИКИ ГАЗЕТЫ

ГЛОБУС. Обзор и комментарии к событиям международной и внутренней жизни

ПУБЛИЦИСТИКА. В числе постоянных авторов газеты — обозреватель телевизионных программ ABC, бывший руководитель Информационной службы правительства США Б. Кершензон, известные журналисты русского зарубежья Т. Шуман, Пос-Анджелас, П. Вайль, А. Генис, С. Довлатов, В. Козловский, Б. Парамонов, М. Половский, Григорий Рыский (Нью-Йорк), М. Пешкин (Сан-Франциско), Д. Савицкий (Европейская ярмарка), В. Лазарис, Ю. Шаргородский, З. Коппелиович (Израиль)

ЛИТЕРАТУРА. В «Панораме» впервые публиковались отдельные произведения Василия Аксенова, Юза Алешковского, Эдуарда Лимонова, Сашы Соколова, Льва Халифа и ряда других писателей и журналистов, живущих в США и других странах

ГОЛЛИВУД. Рецензии на новые фильмы и театральные постановки, интервью с работниками театра и кино, обзоры событий в кинематографе США и других стран.

ЮМОР. В этом разделе публикуются произведения авторов, пишущих на русском языке, а также переводы юмористических и сатирических произведений с других языков.

«Панорама» имеет постоянные представительства
в Сан-Франциско и Нью-Йорке.

Стоимость годовой подписки в США и Канаде — 33,00, полугодовая — 18,00 дол.
Для оформления подписки необходимо заполнить прилагаемый ниже купон и выслать его в адрес издательства «Альманах»

ALMANAC, P. O. Box 480264, Los Angeles, Ca 90048, USA

Проще подписать меня на газету «Альманах-ПАНОРАМА» на срок: 12 мес / 33,00 дол.
8 мес / 18,00 дол.
В Европе, Израиле и Австралии стоимость годовой подписки — 64,00 дол.

Чек/мани-ордер на сумму ... дол. прилагаю.
Газету прошу направлять по адресу:

Имя: _____ Телефон: _____

Исмер дома: _____ Улицы: _____ Город: _____ Штат: _____ Зип-код: _____



American
Russian
weekly

Overseas Publications Interchange Ltd

Илья ЗЕМЦОВ
СОВЕТСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК

Словарь-справочник. В нем проанализированы основные механизмы советского языка и, следовательно, советской пропаганды.
431 стр. — 8 ф.ст.

Дора ШТУРМАН и Сергей ТИКТИН
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ЗЕРКАЛЕ
ПОЛИТИЧЕСКОГО АНЕКДОТА

Самый полный сборник анекдотов, когда-либо изданный в Зарубежье. Статьи в этой книге (вступительная ко всему материалу и затем перед каждой из глав) дают анализ картины, возникающей в анекдотах
470 стр. — 12.50 ф.ст.

В.Д.НОСОВ
"КЛЮЧ" К ГОГОЛЮ

Опыт художественного чтения
Вступительная статья Бориса Филиппова

Апология Гоголя как религиозного мыслителя и проповедника. (Серия "Самиздат").
140 стр. — 3.50 ф.ст.

Юрий ЛЮБИМОВ
СЦЕНИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ "МАСТЕРА И
МАРГАРИТЫ" М.А.БУЛГАКОВА

Вступительная статья Анджея Дравича

Сделанный Юрием Любимовым в Московском театре на Таганке спектакль был событием в советской театральной жизни, а сегодня стал уже легендой
Текст инсценировки печатается впервые.
104 стр. — 3 ф.ст.

Overseas Publications Interchange Ltd 251

М.И.ВОЛОДАРСКИЙ
СОВЕТЫ И ИХ ЮЖНЫЕ СОСЕДИ ИРАН И
АФГАНИСТАН (1917 - 1933)

Предисловие С.Могилевского

Книга повествует о событиях, которые отдалены от нас 50-60 годами, но эти события по сей день привлекают к себе самое пристальное внимание. Методы шантажа и провокации, дезинформации и открытой агрессии, к которым СССР прибегал в те годы, остались неизменными
242 стр. — 6.50 ф.ст.

Михаил ХЕЙФЕЦ
ВОЕННОПЛЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Повесть о Паруйре Айрикяне

Увлекательная книга о лагерном товарище автора, руководителе Национальной Объединенной партии Армении, который сыграл важнейшую роль в истории армянского сопротивления, "внеся в него правозащитные элементы демократии в национальной борьбе".
238 стр. — 4 ф.ст.

Марк ПОПОВСКИЙ
ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ

Он, она и советский режим

"Я пытаюсь разобраться, как извечные отношения мужчины и женщины деформируются под влиянием советских законов, идеологии, советских традиций и судебно-лагерной системы".
(Об этой книге).
458 стр. — 9 ф.ст.

Валерий ФЕФЕЛОВ
В СССР ИНВАЛИДОВ НЕТ!..

Жизнь и судьба инвалидов в СССР и на Западе
163 стр. — 5 ф.ст.

Виктор КОНДЫРЕВ
САПОГИ — ЛИЦО ОФИЦЕРА

312 стр. — 8 ф.ст.

Книга удостоена премии им. Даля за 1985 год

Бранко ЛАЗИЧ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

"Никита Хрущев, Доклад на закрытом заседании
XX Съезда КПСС"

Перевел с французского А.Юссен

Никита Хрущев

Доклад на закрытом заседании XX Съезда КПСС

"О культе личности и его последствиях"

164 стр. — 4 ф.ст.

САХАРОВСКИЕ СЛУШАНИЯ

Четвертая сессия

Редактор-составитель Семен Резник

"Четвертые Сахаровские Слушания проходили в Лиссабоне с 12 по 14 октября 1983 года. (...) Все выступления свидетелей и членов жюри записывались на магнитофон. Эти магнитозаписи легли в основу настоящего издания. (...) На Слушаниях рассматривалось четыре основных вопроса:

1. Положение А.Д.Сахарова в его бессрочной ссылке в Горьком. 2. Нарушение интеллектуальной свободы в СССР. 3. Положение в Польше. 4. Положение трудящихся в СССР".

Как известно, 10 и 11 апреля 1985 года в Лондоне состоялись очередные, Пятые Сахаровские Слушания. Их основная тема: Права человека в СССР — ситуация после Хельсинки. В Приложении к книге приведены: программа заседаний, текст резолюции, а также статьи, опубликованные в газете "Новое русское слово" и в еженедельнике "Русская мысль".

380 стр. — 5.40 ф. ст.

OVERSEAS PUBLICATIONS INTERCHANGE LTD

8, QUEEN ANNE'S GARDENS, LONDON

W4 1TU, ENGLAND

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

ДЖОН БАРРОН "КГБ СЕГОДНЯ"

Большинство наших читателей знакомо с именем Джона Баррона — автора нашумевшей книги "КГБ", переведенной на многие языки мира, в том числе и на русский.

Книга "КГБ сегодня" — новейшее исследование того же автора, рассказывающее о самых зловещих сторонах и тайных пружинах деятельности советской секретной полиции в наши дни.

На примерах подрывной деятельности КГБ в Соединенных Штатах и Японии Джон Баррон рисует широкую картину политического бандитизма, инспирируемого Москвой во всех странах мира.

В книге подробно раскрывается механизм деятельности КГБ. Джон Баррон рассказывает о том,

КАК ДЕЙСТВУЕТ КГБ СЕГОДНЯ — И В СССР, И, В ОСОБЕННОСТИ, ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ,

КАК ГОТОВЯТСЯ КАДРЫ БУДУЩИХ РАЗВЕДЧИКОВ И ВЕРБУЕТСЯ АГЕНТУРА НА ЗАПАДЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ СРЕДЫ САМЫХ КРУПНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ.

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КРАЖА ПЕРЕДОВОЙ ЗАПАДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ,

КАК КГБ ВЛИЯЕТ СЕГОДНЯ НА ВНЕШНЮЮ И ВНУТРЕННЮЮ ПОЛИТИКУ ЗАПАДНЫХ ГОСУДАРСТВ И О МНОГОМ ДРУГОМ

Объем книги — 432 страницы. Цена — 22 доллара.

Заказы и чеки высылайте по адресу:

"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE

LEONIA, NJ 07605, USA

Tel.: (201)592-6155

ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ" — 1987

УСТАНОВЛЕНА СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 48 долларов; с целью экономической поддержки редакции — 55 долларов; для библиотек — 69 долларов. Заказы и чеки высылать по адресу:

"TIME AND WE"

409 Highwood Ave, Leonia, NJ 07605. USA. Tel: (201) 592 6155

Цена в розничной продаже — 12 долларов

Стоимость подписки в Израиле устанавливается израильским отделением журнала "Время и мы". Заказы и чеки высылать по адресу отделения: Иерусалим, Талпиот Мизрах, 422/6 (зав. отделением Дора Штурман-Тиктина).

Подписка из Франции, Германии и других стран мира может осуществляться как через главную редакцию в Нью-Йорке, так и через представителей журнала.

При подписке в главной редакции чеки высылаются только в американских долларах (т.е. это должны быть чеки американских банков или иностранных банков, имеющих в Нью-Йорке отделения).

При подписке через представителей журнала (или его отделения) стоимость подписки:

— во Франции — 450 франков; для библиотек — 650; с целью экономической поддержки журнала — 650 франков;

— в Германии — 150 немецких марок; для библиотек — 200; с целью экономической поддержки журнала — 200 марок.

Подписка авиапочтой — 96 долларов.

ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ" — 1987

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия

Имя

Адрес

Подписной период

Прошу оформить подписку на журнал "Время и мы" на год. Высылать с номера
Журнал высылать обычной /авиа/ почтой по адресу

Подпись

Примечание редакции: чек выписывается по-английски на имя журнала "Время и мы" /**Time and We**/.

Из Германии, Англии, Франции и других стран чеки могут высылаться либо непосредственно по адресу главной редакции, либо в адрес представителей журнала.

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, и высылается по адресу "Time and We"

409 HIGHWOOD AVENUE, LEONIA, N J 07605, USA
TEL: (201) 592 6155

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

MAIN OFFICE: 409 Highwood Ave, Leonia, NJ 07605. USA
Tel: (201) 592 6155

Набор на композере Аллы Маневич

OCR и вычитка — Давид Титиевский, июнь 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

**На четвертой странице обложки:
Наталья Копелян "Поющие и слушающие"**

